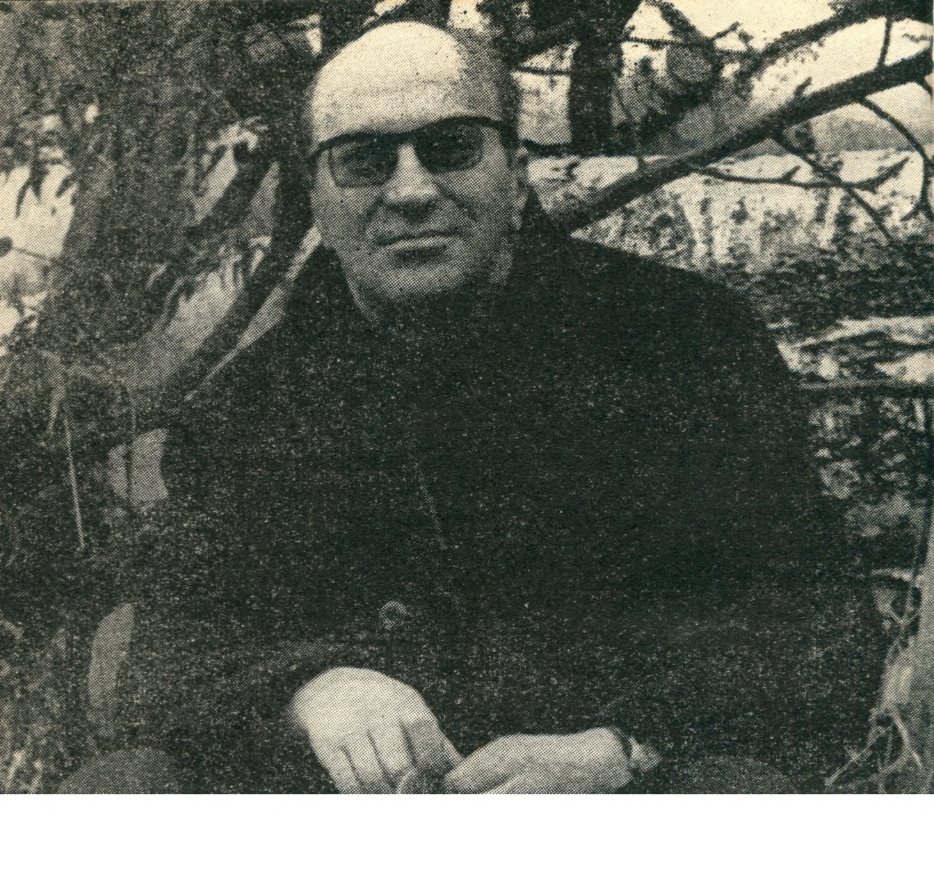
Юрий
Казаков



Северный дневник


МУРМАНСК
МЕЗЕНЬ
КИМЖА
ПИНЕГА
АРХАНГЕЛЬСК
КЕМЬ
5. 10. 15.


ПО ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ



ЮРИЙ КАЗАКОВ

СЕВЕРНЫЙ ДНЕВНИК

● ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» ●
МОСКВА — 1973

Р2
К14

Казаков Ю. П.
К14 Северный дневник. М., «Сов. Россия», 1973.
368с.

«Северный дневник» — поэтическое документальное повествование о поездках писателя на Север, о труде и быте архангельских и мурманских рыбаков, о мужестве, силе и красоте людей, живущих там.

7—3—2
52—73 Р2

К ЧИТАТЕЛЮ

Первая часть «Северного дневника», с которой начинается эта книга, была написана Юрием Казаковым в 1960 году.

Он уже был широко известным тогда как автор рассказов, тонких, поэтических, психологически точных, созданных с бесспорным вкусом, без малейшего насилия над логикой образа.

Спокойная, ненавязчивая манера письма Юрия Казакова, удивляющегося бесконечности человеческих возможностей и неожиданности их проявления, завораживала своим острым художническим зрением.

Он сразу заявил о себе как о поэте и художнике в прозе, у которого обычные слова, поставленные в каком-то своем порядке, переставали быть обычными, создавали волшебную игру звуков, линий, света.

Во всем, что попадало в поле его зрения, писатель, казалось, избегал броскости, авантюрной увлекательности, удобных в обиходе рецептов житейской мудрости. Ему всегда импонировало спокойное скрытое мужество и незаметная тихая красота.

Видимо, поэтому душой писателя так завладел суровый Север, таивший в себе загадочные неисчерпаемые богатства красок, ощущений, характеров, населенный «тихими героями, всю жизнь противостоящими жестокостям природы».

В первой части «Северного дневника» Юрий Казаков описывает свое путешествие от Пинеги до Мезени на пароходе «Юшар».

«С тех пор,— пишет он,— эти два места казались мне физически удаленными от нашего всего человеческого... Было в то же время кругом что-то грозное, затаенной мощью напоминавшее о себе, что-то подкрадывалось, вставало вокруг и не позволяло успокаиваться, на-

оборот, настораживало, как звук, все повышающийся до тончайшей бесконечности, как шепчущий голос: «О! О! Смотри, смотри!..»

Да, писатель заболел Севером. Можно так сказать, и это не будет преувеличением. Потому что именно здесь, на Севере, он понял, что силы, способности, красота человека беспредельны. Там же, в первой части своего «Северного дневника», он говорит: «Когда-нибудь люди станут выше ростом, вообще все люди, и тела их будут совершенными, как и их дух».

Казаков благодарен Северу, что здесь с особой силой почувствовал любовь к человеку, и это стало для него главным. Именно на Севере он остро ощутил, что степень душевной причастности человека своему делу — это одновременно степень его причастности гармонии окружающего мира и мерило нравственного достоинства.

Казаков удивляется тому, что он никогда не слышал слова «подвиг», так полюбившееся нашим литераторам, от людей, творящих эти самые подвиги!

Они, эти люди, «никогда не рассказывали, как о подвиге, о своей трудной работе, полной иногда смертельных опасностей».

Много раз после 1960 года Юрий Казаков отправлялся на Север, уходил на рыболовных сейнерах из Архангельска и Мурманска, уходил и вновь туда возвращался. В результате этих поездок из-под пера его появлялись новые главы «Северного дневника», печатающиеся в книге впервые: «На Мурманской банке», «Калевала», «Отход», «Белые ночи», «Какие же мы посторонние?» и другие.

Очерки «Долгие крики», «Белуха», «Тыко-Вылка» написаны Юрием Казаковым в 1972 году. Таким образом, «Северный дневник» создавался писателем в течение двенадцати лет. Казаков не только впитал глазами лики севера, он вник в душу его, радостно узнал родственные черты — вот почему так подлинно, так точно все в «Северном дневнике».

При внешней сдержанности повествования внутренне писатель всегда сосредоточен и целеустремлен. Он делает для себя все новые и новые открытия не как сторонний наблюдатель, а как гражданин, которому есть до всего дело. Но обо всем Юрий Казаков продолжает

писать в свойственном ему ключе. Зорко всматриваясь, например, в психологию своего героя Нестора («Нестор и Кир»), писатель не навязывает авторских оценок и от этого еще убедительнее раскрывает озлобленную, звероватую, враждебную ему натуру Нестора.

Прямо противоположен «Нестору и Киру» очерк «Тыко-Вылка», заключающий книгу. Это документальный рассказ о талантливом ненецком художнике, который также стоит в ряду «тихих» героев Казакова.

Вся жизнь этого даровитого художника и бесстрашного человека была отдана освоению Севера. «Много мужества, повторяю, нужно было иметь, чтобы жить на Новой Земле,— пишет Казаков о Тыко-Вылке,— и не только охотиться, кормить детей и себя, и жену свою, но еще находить силы для того, чтобы заботиться о других, постоянно объезжать все становища и избушки, не пропуская ни одной, и каждому приходить на помощь».

Скромность Тыко-Вылки восхищает Казакова, он говорит о нем: «Как просто, какими немногими обыденными словами рассказано о десятках случаев смертельной опасности!»

Нарочито спокойной манерой изложения Казаков в этом очерке достигает большого эмоционального эффекта — создает гимн человеку, которой отвечает своему назначению на земле.

А. Сконечная



СЕВЕРНЫЙ ДНЕВНИК

1

Пишу в носовом кубрике при свете ламп и зеленоватых потолочных иллюминаторов. Мы выходим сейчас из устья реки Мезени в море. В этой узкой горловине небольшие морские покатые волны сжимаются, дробятся, шлепают по скулам нашего сейнера, и кубрик заметно потряхивает.

Иногда, как птица, я прикрываю глаза, прислушиваясь к себе. Но нет, ничего, пока терпимо, и я снова берусь за тетрадь.

Напротив меня сидит радист с широким серьезным лицом, неторопливо, задумчиво обедает. Стол в кубрике липок и грязен. На краю стоит алюминиевая миска с беломорской селедкой, горой лежит хлеб, сахар, стоят кружки пустые и с недопитым чаем.

То и дело над головой начинает грохотать, в узкой и низкой двери на почти отвесном трапе показываются сапоги, потом в кубрик, нагибаясь, входит кто-нибудь, щупает чайник, наливает в первую попавшуюся кружку, пьет, перекидывается с радистом несколькими словами, и снова стук по трапу, опять сапоги, на этот раз поднимающиеся,— уходит на палубу.

Этот рейс у сейнера как бы ненастоящий: вместо рыбы и грузов везут только нас, везут из Мезени в Койду — большое поморское село, за сто десять километров. Сейнер только что разгрузился в Мезени, почти половина команды поэтому осталась на берегу, осталась и повариха, прибрать некому, да и не хочется, по-видимому, не то настроение — хочется поговорить, выпить, поспорить, показать и объяснить нам как можно больше.

Хорошо писать под разговоры, под гомон быстрой северной речи, в табачном дыму, в запахе рыбы, острого рассола... Можно слушать и не слушать, можно бросить недописанную фразу на полдороге, чтобы прислушаться к другой, можно захлопнуть тетрадь, выпить водки и самому взяться за горячий спор, почему банка Окдена называется банкой Окдена.

И покуда ровно, едва сотрясая корпус, гудит в корме дизель, покуда слегка поваливается вниз и так же взмывает кубрик, покуда вокруг меня все прибавляется матросов, все усиливается и учащается говор, покуда я слушаю и смотрю вокруг — на лица, на одежду, на койки, на трап, на потолочные иллюминаторы, стараясь все это запомнить,— мысли мои гуляют далеко, пока наконец я не потрясаюсь вдруг радостью и удивлением, что я здесь, на Белом море, в этом кубрике, среди этих людей.

Когда-то в детстве знал я одного человека странной,

темной тогда для меня судьбы. Был он сух, костист и как-то пронзительно, часто до неприятности даже, остер, стремителен. Черные глаза его во хмелю горели фанатическим огнем человека, потрясаемого дивными воспоминаниями. И ничего не помню из его слов, помню только, что не давал он никому слова молвить, кричал, стучал маленьким костистым кулачком и открыто презирал всех. А презирал потому, что прошел и проехал когда-то от Пинеги до Мезени.

«От Пинеги до Мезени! — говорил он шепотом, зажмуривался и крепко стукал кулачком.— А? Эх, ты!.. Понимаешь ты это? От Пинеги до Мезени прошел я весь Север!»

С тех пор эти два места казались мне мифически удаленными от всего нашего, человеческого. Разные другие места, города и деревни были как-то понятны мне, они были где-то рядом со мной, но вот Мезень... Даже позже, когда я учился в школе и мог в подробности рассмотреть на карте эти места, они все равно представлялись мне недостижимыми.

И вот несколько дней назад на пароходе «Юшар» мы пришли в Мезень, и ходу было всего два дня от Архангельска...

Весь июль стояла на Севере противоестественная жара. В Двине купались ночью. В Нарьян-Маре ненцы заболевали от жары. Где-то на огромных массивах за Полярным кругом горели леса и тундра. Солнце, едва склонившись за горизонт, тотчас восходило с обновленной страстью. И весь день потом заливало робкую землю нестерпимым светом.

В один из таких ослепительных полдней пароход «Юшар» — старый, узкий, домашний — отвалил от пристани в Архангельске и пошел вниз по Двине, к Белому морю. Все в этой нашей поездке было знойным,

ленивым, южным. Белое море было прозрачно и спокойно, как спокойны бывают вечерами наши деревенские прудки. Пароход вспарывал, раскидывал на стороны белоснежные хлопья воды. Перед нами и вокруг нас было два неба — вверху и внизу, и трудно было найти линию горизонта.

И капитан «Юшара» Юрий Жуков совсем не походил на северного капитана, а скорее на капитана какой-нибудь тропической экспрессной линии — так он был смугл, изящен, такие были у него щегольские усики, такая свежая рубашка с закатанными рукавами и такой галстук!

И зной, царивший на пароходе, в его каютах, в его столовых под красное дерево, блеск медных частей, рубка, на которую больно смотреть, загорелые матросы — все, все было южное, дремотное, привыкшее к ошеломляющей роскоши тропических дней и чернобархатным провалам ночей.

Но было в то же время кругом что-то грозное, с затаенной мощью напоминавшее о себе. Что-то подкрадывалось, вставало вокруг и не позволяло успокаиваться, нежиться — наоборот, настораживало, как звук, все повышающийся до тончайшей бесконечности, как шепчущий голос: «О! О! Смотри! Смотри!..»

Время шло, вот исполнилось восемь, вот десять, вот одиннадцать... А небо все так же сияло, и море сияло, и становилось еще продолжительней, дальше и ниже, а мы — на высоком носу, раскидывавшем ледяные хлопья пены,— как бы все повышались, повышались и вроде летели уже — туда, где за горизонтом стояло невидимое нам, но видимое небу, и морю, и спящим птицам солнце.

А справа от нас то уходил за горизонт, то приближался, восставал мрачный пустынный берег с ниспа-

дающими в море тяжелыми каменными вертикальными складками. И от воды дышало иногда таким глубинным, таким тысячелетним холодом, что сразу на память приходили готовые, «законвертованные» речные суда, баржи — десятки, сотни, которые должны идти через Ледовитый океан в Обь и Енисей и которые стояли на рейде в Архангельске, потому что лед в океане еще не разошелся. Север, Север!..

Так встретило нас Белое море, Полярный круг, остров Моржовец, в виду которого простояли мы чуть не полсуток, дожидаясь прилива, чтобы идти в Мезень с приливной водой. А ночная Мезень встретила нас футбольным матчем, о котором стоит рассказать поподробнее.

Во время стоянки возле острова Моржовца мне понадобилось послать радиограмму в Москву. Я поднялся на мостик, разыскал радиорубку, вошел и был мгновенно очарован обилием раций, амперметров, переключателей...

Радист при мне стал передавать радиограмму. Радиограмма принималась Архангельском. Та-ти-тии-та-та-та...— молниеносно выстукивал радист. Та-ти-тии-та-та-та...— так же молниеносно повторял Архангельск, и вместе с этими быстрыми и высокими звуками беспрестанно вспыхивала наверху рубиновым огнем лампочка.

В открытую дверь рубки веял свежий ветерок, светило солнце, торопиться нам было некуда, пароход, посапывая паром, дыша жаром из утробы, неподвижно стоял на якоре. Мы разговорились, зашла речь о футболе, у радиста — худощавого, нервного — дрогнули ноздри, глаза загорелись, и я узнал о предстоящем матче. Команда парохода «Юшар» готовилась к футбольному матчу с командой Каменки. У них была уже одна

встреча, выиграли футболисты Каменки — теперь моряки намеревались взять реванш.

Потом мы встречались с радистом на палубе, на трапах, в столовой, где он совещался о чем-то с моряками, и, увидев меня, каждый раз дрожал ноздрями и улыбался, и говорил весело вполголоса:

— Порядок!

Это относилось, разумеется, к футболу.

Была минута волнения, когда выяснилось, что пароход опаздывает против намеченного и что команда Каменки может разойтись, не дождавшись. Но в Мезень тотчас была послана радиограмма, которую передавал все тот же радист, и я воображаю, как он стучал и как предвкушал при этом будущую свою игру!

А едва «Юшар» бросил якорь против Каменки — от пристани отвалил и полным ходом пошел к нам буксирный катер. Он причалил с левого борта, в него сразу стали прыгать моряки с чемоданчиками, и я, хоть и был болен, тоже прыгнул— так хотелось посмотреть мне на этот матч.

И еще не отошла от пристани баржа, которая должна была принять пассажиров с парохода, мы были уже на берегу и поднимались все выше и выше по деревянным уступам, по крутой деревянной дороге. А на всех этих уступах было несметное количество людей, вышедших встречать пароход,— принаряженных, веселых, еще молчаливых приготовившихся обнимать родных и друзей, вскрикивать от радости и слушать, как смеются и вскрикивают другие.

Мы шли мимо них быстро, как только было можно, и кто-то из шедших впереди бережно нес мяч — и на нас поглядывали мельком, понимая, что мы не те, кого они так ждут, что у нас футбол, что это интересно, но

это потом, впереди, а теперь они не этого ждали тут, на берегу, при свете белой ночи.

Так мы прошли мимо лесозавода, под погромыхивающей эстакадой, по мосту через длинный бассейн, забитый бревнами, свернули направо, между домов, по деревянным мостовым, мимо огородов,— и вышли на стадион.

Уже видны были ворота — те и другие, уже слышны были сильные тугие удары по мячу, уже пестрели на поле желтые майки команды Каменки...

Разделись и моряки «Юшара», разделись и оказались в большинстве своем легкими, поджарыми ребятами, у которых только шеи и кисти рук были загорелыми. И моряки тоже немного потренировались, немного размялись, но как-то торопливо, неловко — надо было начинать игру, шел десятый час.

И началась игра! Признаться, когда я смотрел на раздевшихся моряков, когда увидел их поджарость, их усталые после вахты лица, заметил их нестройность, несобранность, выражавшуюся даже в пестроте маек и трусов, я втайне с грустью предрек им поражение. Мало того, я не надеялся даже увидеть спортивную игру, я думал, что этот матч будет из тех, когда голы в те и другие ворота забиваются десятками.

Но игра началась, фигурки рассыпались по полю, мяч стал подниматься и опускаться — и, как всегда, поначалу казалось, что фигурки передвигаются не торопясь, а мяч взлетает и опускается слишком медленно.

А что было за поле! На нем не было ни боковых линий, ни штрафных площадок, ни центра... Все оно было усыпано щепками, опилками, покрыто торфяными кочками. По полю в разных направлениях задумчиво перебегали собаки. Иногда они садились и, не обращая

внимания на игру, следили за другими собаками, приближающимися к ним с противоположной стороны.

Не было и болельщиков, только ребята ездили скособочившись, подсунувшись под раму, поднимаясь и опускаясь на педалях,— ездили по полю на велосипедах, следя за игрой.

А игра между тем налаживалась. Она приобретала осмысленность и наливалась тем нервным током, который до конца позволяет игрокам выдерживать высокий темп. И было все, что бывает, когда играют мастера: были прорывы, молниеносные броски, были прекрасные точные передачи, удары головой и комбинации. Правда, было все это не на том уровне, на каком бывает у мастеров, но что из того! И еще была та корректность в игре, то безусловное и мгновенное осознание своих ошибок, которые редко можно встретить у мастеров.

С изумлением оглядывался я и видел белую ночь, поле, засыпанное щепками, которые хрустели у игроков под ногами, собак, велосипедистов-ребят, все прибавляющихся болельщиков. И слышал уже такие обычные крики их и свистки, слышал тот невнятный тревожный и короткий гул: «У-у!» — который рождается и тотчас смолкает во время острых моментов возле ворот.

Ввиду опоздания парохода решено было сперва играть по тридцать минут в тайме. Но потом игроки разошлись, пришлось увеличить время до нормального. Пришел вскоре на стадион и капитан «Юшара» Жуков и даже в лице менялся — так болел за свою команду. Но когда во втором тайме Жуков сменил судью на поле, когда мне как-то и смотреть на него стало неловко — так уверен был я, что он станет «подсуживать», то и это опасение мое быстро развеялось: первым же

свистком он назначил штрафной удар в сторону своих ворот.

Игра закончилась со счетом 4 : 3 в пользу команды «Юшара». Футболисты все вместе разделись, стали купаться в бассейне, тела их бронзово просвечивали сквозь чайно-коричневую воду, а кругом еще не остыл жаркий дух разогретого дерева, небо было светло и от высочайших облачков казалось перламутровым, на реке раздавались короткие крики буксиров, постукивая, побрякивая, шел по транспортерам лес...

Лет пять назад я сотрудничал в газете «Советский спорт». Я писал очерки о чемпионах и мастерах спорта.

И вот, когда я смотрел на полночный матч в Мезени, мне вспомнился вдруг один легкоатлетический сбор под Москвой.

Среди палаток по полянам, под деревьями ходили, бегали, прыгали люди такого роста и такого сложения, что я — молодой крепкий парень — показался себе в тот день ничтожным и слабым. Их было много, они были собраны в одно место, и это место на берегу водохранилища, залитое летним солнцем, было как бы страной будущего, и, глядя на высоких смуглых обитателей этой страны, я думал тогда с восхищением: вот каким может быть человек!

Наверное, многие из тех бронзовых богов установили потом на Олимпийских играх в Мельбурне и теперь в Риме свои фантастические рекорды и многие вошли в историю — в прекрасную историю роста человеческой мощи.

Но разве менее прекрасным было то, что происходило в июльскую ночь в Мезени? И разве меньшего восхищения заслуживают эти ребята, бегавшие по щепкам на торфяном поле, возле Полярного круга?

Когда-нибудь люди станут выше ростом, вообще все

люди, и тела их будут совершенными, как и их дух, и они будут жить иначе, чем живем мы. И я думаю, не для себя, а для тех людей бегают сейчас по щепкам ребята с парохода «Юшар», и ребята из Каменки, и ребята с тысяч пароходов, из тысяч деревень и городов, и для того прекрасного времени, а не для себя устанавливаются рекорды на Олимпийских играх.

Вот что я думал в ту ночь в Мезени, глядя на игру, на глухо дышащий лесозавод, на призрачное небо, на худенького пьяного в широчайших штанах и пиджаке, как он дергался, семенил вдоль боковой линии, не спуская глаз с мяча, как он навзрыд болел за Каменку и поддавал ногой воздух и кричал: «Гол!» — хотя никакого гола еще не было, как он замирал с протянутой вперед и ввысь рукой и топотал ногами, когда гол все-таки был.

А еще через два дня мы поднимаемся на борт сейнера «Белужье», который должен доставить нас в Койду. И едва всходим мы на сейнер, как нас охватывает устойчивый свежий сильный запах рыбы. Царство леса, в котором мы были до сих пор, кончилось, мы вступаем в царство рыбы и моря.

На палубе, на солнце, в запахе рыбы, жмурясь от дыма папиросы и от света, сидит лоцман. Он из Койды и едет теперь домой, страшно довольный, что не нужно дожидаться парохода.

Сидит он вольно, положив ногу на ногу, выставив острую коленку, покачивает рыбацким сапогом. Губы у него оттопырены, глаза невнятны. Он говорит присевшим возле матросам, хотя, скорее всего, речь его обращена к нам:

— Ладно... Первое, я говорю, для моряка — практи-

ка. Конечно, сейчас все по науке. Ладно... У нас в Койде кругом все кошки. Но когда надо, я всегда проведу. Вот раз ночью бота проводил. Кто на компас глядит, кто по карте мерит. А я веду по папиросе. Закуриваю папиросу. Ладно...

Он скашивает глаза на папиросу с намокшим мундштуком, сосет ее пересмякшими губами. Папироса потухла. Долго отвлеченно хлопает он себя по карманам, ищет спички, прикуривает, смотрит через борт на приближающегося к сейнеру на шлюпке капитана и переводит глаза на матросов.

— Ладно. Закуриваю, гляжу на папиросу. Полпапиросы скурил, говорю: «Давай лево!» Идем левей, а я себе покуриваю. Ладно...

Его бесконечные истории, в которых варьируются кошки, ветры, приливы и отливы, его хвастовство, ленивая самоуверенность похожи на обыкновенное пьяное бахвальство. Но слушают его серьезно и даже с некоторым почтением. Может быть, потому, что он из рода Малыгиных — славных мореходов? Или потому, что не может человек, доживший на море до пятидесяти лет, действительно не знать всех этих банок, кошек, приливов и отливов?

С нами едет еще Игорь Попов — судовой механик из Мурманска. Родом он из Койды, но в Койде никого у него нет, и сам он не был там уже восемь лет. А родина все тянула его, и вот он не выдержал, прилетел самолетом в Мезень. Должен был он ждать несколько дней рейсового парохода — вдруг внезапное счастье, попутный сейнер, и он с нами на палубе, он тут свойский, ходит, покрикивает, сыплет неимоверно быстрой речью, которую с непривычки даже и понять трудно, бежит на нос поднимать якорь.

Включают лебедку, заносят на нос канат с крюком,

вдевают крюк в якорную цепь. Попов отвинчивает тормоз и радостно вопит:

— Вирай!

Мокрая блестящая цепь ползет вверх.

— Майнай!

Снова заносится вперед канат и опять:

— Вирай!

Наконец:

— Чист!

И сейнер трогается.

На палубе не убрано, и чего только не наставлено здесь! Ящики, тара, корзины, канаты, вытащенная шлюпка, брезент в рыбной чешуе, пустые бочки... Но палубу не убирают, говорят, перед выходом в море нельзя — такой обычай.

Нельзя так нельзя, мы садимся на задраенный трюм, запихиваем рюкзаки под брезент. Игорь Попов раскрывает чемодан со сдобными булками, приносит селедку, еще малосольную, пахнущую свежестью, розовую на разрезе, моряки собираются,рассаживаются кто на чем, вскрывают банки консервов — все это на трюме, на палубе, под солнцем, как на широчайшем столе. Глаза всех горят от предвкушаемого наслаждения, лица беспечны и разбросаны, как планеты,— выше и ниже, потому что мы сидим выше и ниже, на палубе, на трюме, на ящиках, на корточках, а вокруг нас еще снасти, рубка, борта — как целый мир!

Начинается внезапный крупный и короткий дождь, закуска засовывается под брезент, покрытый рыбьей чешуей, мы прячемся в рубку, и настроение еще лучше: дождь перед выходом в море — добрая примета. Сразу все исчезает, закрывается, зачеркивается сплошными нитями воды, смутно виден только нос впереди,

мокрые черные мачты, снасти, видна залитая палуба со вскакивающими и лопающимися пузырями.

Дождь проходит, уволакивается в сторону Мезени, берега реки раздвигаются, по носу начинаются короткие частые шлепки, мы снова на палубе, закуска опять на трюме, еще блестящем от сырости, и палуба чиста. Чисты, блестят все снасти, а ветер свежеет, ветер говорит, напоминает нам о неотступном Севере — зной, марево, дымка от пожарищ остались на берегу. Море по цвету такое же, как все моря в мире, только еще нежней, еще слабей, и оно здесь всегда прохладно, потому что тут проходит Полярный круг, потому что тут вместилище всего свирепого и ледяного.

Мы сопротивляемся Северу, но недолго... Через час мы уже надеваем рубахи и пожимаемся от ветра, а потом и вовсе бежим в душный, тесный, но теплый кубрик.

Тянет теплом из камбуза. На плите беспрерывно греется чайник, и кто ест, кто пьет чай и говорит, а кто и спит. Сейнер вышел на глубину, капитан передал штурвал вахтенному, спустился в кубрик, все подвинулись, дали ему место, и вот он сидит — маленький, коренастый, в круглой кепочке с коротким козырьком,— хлебает суп, а я расспрашиваю у него о работе. Говорит он стеснительно, с запинками, но я не отстаю, и кое-что мне удается выспросить.

Капитана звать Георгием Артемьевичем Поташевым. Плавает он с четырнадцати лет, а теперь ему тридцать один. Семнадцать лет на море, семнадцать лет чувствовать под ногами проседающую палубу — немалый срок! Образование у капитана небольшое — семь классов, затем архангельская мореходная школа юнг, потом мореходный учебно-курсовой комбинат по повышению квалификации...

Свой сейнер Поташев называет МРТ, то есть малым рыболовным траулером. На сейнере этом и в самом деле есть траловое приспособление. Водоизмещение сейнера двести тонн, двигатель стопятидесятисильный. Команда состоит из восьми человек: капитан и помощник, первый и второй механики, боцман, радист, матрос и кок. Капитан тут же добавляет, что по штату на его МРТ положено одиннадцать человек, а их всего восемь, с работой они справляются хорошо, и, следовательно, с этой стороны они коллектив ударный.

С мая почти до половины июля «Белужье» промышляет у Канина Носа, ловит акул на ярус. Ярус — длинный прочный канат, который выметывается в воду и устанавливается на буях. К основному канату прикреплено несколько сот коротких поводков с большими крюками. Крюки наживляются тюленьим салом.

В позапрошлом году старик хозяин рассказывал мне в Нижней Золотице о том, как промышлял он на Мурмане в тридцатых годах. Поморы выходили в океан за тридцать верст в шняке — иначе «ёла» (норвежское) и выкидывали ярус на треску до девяти верст длиной. Выкидывали и ждали «воду», то есть от прилива до отлива или, наоборот, от отлива до прилива. За один раз вылавливали до двухсот пудов трески. Народу при таком способе ловли гибло много, так как погода на Мурмане неустойчива, часто налетают шторма, шняк же открытый, без палубы, легко заливался. Иногда, по словам старика, после шторма на берегу выносило до сорока рукавиц с одной руки, то есть до сорока жертв. Утонувших считали по рукавицам...

Помимо ловли акул, «Белужье» выходит еще в Баренцево море на лов трески тралом. База его в Мезени, но когда ловят в Баренцевом море, рыбу сдают в Мурманск.

В июле — августе, то есть во время перерыва на рыбных промыслах, «Белужье» используется как грузовое судно. Оно перевозит готовую продукцию — сельдь, семгу, треску — и промысловое вооружение: акульи снасти, тралы для ловли трески, дрифтера и кошельки для селедки. Ну и, конечно, всевозможные грузы, которые только понадобится доставить куда-нибудь. Грузоподъемность судна — тридцать тонн.

— Пиши, пиши,— быстро и несколько пренебрежительно говорит мне Игорь Попов.— Пиши все по правде, а то писатели все про морюшко пишут дак... Морюшко, поморушко! — передразнивает он кого-то.— Вот у нас тут жила, может, слыхал, старуха Марфа Крюкова? В Нижней Золотице...

— Знаю,— говорю,— хорошая старуха, сказочница.

— А! — Попов машет рукой.— Во-во, сказочница! Вот такие-то дак все и пишут: морюшки, поморушки... А про то не знают, что как в море уйдешь в Атлантику да на семь месяцев, да зимой, да тебя штормит, да руки язвами от соли идут, да жилы рвутся, да водой тебя за борт смывает, да другой раз по пять суток на койку не приляжешь — это да! А то морюшки, поморушки...

Наверху свежий, прохладный ветер по-прежнему, но волны совсем нет, зато нет и того зеркального спокойствия, в котором мы шли из Архангельска на «Юшаре».

Мы еще бродим некоторое время по палубе, но первое оживление спало, смотреть не на что, кругом море, вода, солнце высоко, небо светлое, ровное, горизонт чист, изредка покажется далекая точка лесовоза или тральщика.

Ровный звук двигателя, ровный ход, ровный ветер — все это успокаивает, усыпляет... Спит боцман Миша, спит лоцман Малыгин, заснул и Попов, капитан снова в рубке, механик и радист спустились в кормовой кубрик.

Я пытаюсь представить себе жизнь моряка, для которого такой вот легкий приятный рейс, относительная свобода и отдых — редкость. Я думаю, что такие яс-



ные, чистые небеса и море, обилие света, ночное солнце — только три месяца в году. А в остальное время ночи, как и у нас, черные и даже более черные, более холодные и ветреные.

Белое море мелко. Я видел штурманскую карту этих мест: обычная глубина двадцать пять — сорок метров, не больше, чем глубина Северной Двины в устье. Видел я и шторма здешние — свирепые, но мелководные. Мне говорили, что в Атлантике, в Ледовитом океане волна гораздо выше, огромнее и круглее. И может быть, океанскому лайнеру здешний шторм нипочем...

Но ведь здешние моряки не ходят на океанских лайнерах! Они работают на крохотных суденышках — на шхунах, мотоботах, сейнерах, на малых рыболовных траулерах. Как же бьет море эти суденышки и какими мужественными должны быть все эти люди!

По-моему, есть один очень простой способ представить себе степень мужества, закаленности, физической выносливости и отваги, потребную для той или иной жизни. Нужно постараться представить себя на месте этих людей и вместе с ними.

Я вспоминаю шторм, который разразился у этих берегов, когда я два года назад жил на тоне возле Вепревского маяка. Был конец сентября, дни стояли тягостно спокойные, прозрачные, берег был красен и лилов от осеннего леса, от обилия брусники. Тихая штилевая погода была тем более невероятна и непонятна, что давно наступила пора штормов. Шторма должны были быть, но их не было. Каждый вечер вызванивала внизу по песку и камням шелковая волна, каждый вечер солнце садилось в море, а не в тучи, и было при этом клюквенного цвета, потом высыпали звезды, ветер был горний, слабый и теплый. Но рыбаки беспокоились и на ночь обязательно вырывали тайники.

И вот в полночь однажды заполыхало молчаливое северное сияние, в полночь грянуло с неба обилие фантастического света, все засветилось, озарилось красным, лимонным и зеленым огнем.

— К шторму!— в один голос сказали рыбаки. И в ту же ночь пал шторм.

Ночь наполнилась ревом и воем. Телефонные провода визжали. Свет маяка был страшен. Избушка наша вздрагивала — казалось, кто-то злобный и сильный беспрерывно тряс ее снаружи. Вот выписки из моего тогдашнего дневника — привожу их без изменения:

«Днем. Снова ходил по берегу. Накат страшный, мутно-бело-желтый. На песке кучами лежит пена. Она дрожит от ветра, похожа на желе, на воздушный желтоватый крем. Ветром от нее отрывает комки, с молниеносной быстротой катит по песку.

Песчаный берег от наката стал горбатым. Волна, разбившись внизу, медленно всползает на горб, переваливает его и растекается большими лужами. В лужах отражается свет от зелено-голубой полосы над горизонтом под мутными тучами, они одни ярки, стеклянно чисты и гладки на всем темном. В море свет не отражается, оно грязно-лохматое.

Очень скучно. Рыбаки плетут сети. Настроение у них плохое, поминутно ругаются матом. Под окном на земле, прижатый бревнами, лежит черный просмоленный перемет, и, когда боковым зрением замечаешь, как он шевелится, бьется от ветра, кажется — это тень, чья-то нервная тень.

Под вечер. Ветер усилился необычайно. Шторм двенадцать баллов. Трудно выйти за дверь. Провода уже не стонут, не звенят, а визжат, все повышая тон, и неизвестно, где он оборвется, хватает за душу.

С маяка днем еще заметили оторвавшийся от бук-

сира лихтер. Буксир ничем не мог помочь и ушел. Лихтер выбросил оба якоря, чтобы его не снесло на кошки. Но и с двумя якорями его проволокло уже несколько миль.

Море в бинокль ужасно, даже на горизонте видны беспрестанно встающие горбы. И по-прежнему чист, но уже смугло-ал горизонт — неширокая полоса под синевато-коричневым в тучах небом. По этому смуглому, розовому поднимаются в необыкновенной дали из-за горизонта холодные пепельные облака фантастических грозных очертаний.

Избу продувает, и мы беспрерывно топим печку. Быстро темнеет. Сегодня буду спать на верхних нарах под потолком.

Я не писал еще о маяке. Маяк здесь с проблесковым огнем. Вращающаяся установка с чередующимся зеленым и красным огнем. Лучи света захватывают и часть берега, так как сектор маяка градусов двести пятнадцать — двести двадцать. Принято считать, да я и сам видел, что на море свет маяка успокаивает, придает бодрости и т. д.— значит, кто-то помнит о тебе, посылая во тьму свет. Это, так сказать, моральное его действие, помимо чисто технического, навигационного.

Здесь же, на берегу, совсем не то ощущение. Когда видишь мертвый зеленый свет, лучом бегущий по лесистым угорьям, когда видишь вырастающие на секунду из тьмы мертвые, неестественные, как при свете беззвучной молнии, деревья и потом, когда луч, глянув и тебе в глаза, перескакивает на море и, как меч, бежит по волнам, по водяной пыли,—делается неприятно, неуютно, жутко. Хочется скорей в избу. И тут же, вслед за зеленым, в глаза тебе заглядывает на мгновение сияющее красное око — луч его еще призрачнее, еще невещественнее. И так всю ночь кругами ходят

немые лучи и по очереди устремляются в бушующее море...»

Взволнованный воспоминаниями, я поднимаюсь в рубку, чтобы спросить, как переносит шторм этот сейнер.

— О! — говорят мне оживленно.— Волны выше рубки идут!

— Неужели выше?— сомневаюсь я.

— Выше, выше! А после шторма палуба гола, волна не шутит, волна что ни есть на палубе — все смоет, как ни крепи. Считай, одни снасти и остаются.

— Ну, а подолгу ли длятся шторма?

— А когда как. Смотря потому, какой ветер. Ветер худой, шалоник, норд-вест то есть, так долго — неделю или помене. Ну, а горний ветер, южный значит, тот полегче, тот поприятней будет...

Миновав банку Окдена, Воронов маяк, мы бросаем якорь против Койды, далеко в море.

У боцмана Миши в Койде родня. Мысль о том, что Койда рядом, что он может побывать там, встретиться со своими,— мысль эта всю дорогу не давала ему покоя.

— Ну, ребята! — шептал он нам.— Вы скажите капитану-то, пусть, мол, в Койду зайдет дак, а?

И тут же преисполнялся радостной энергии, бегал куда-то, что-то делал, а потом снова и снова напоминал нам, чтобы непременно мы требовали зайти в Койду.

Нам тоже приятно было бы прийти в Койду на сейнере, а не пересаживаться в мотодору, да и все как-то ждали чего-то и поглядывали на нас с надеждой.

Мы спускаемся с капитаном в кормовой кубрик, до-

стаем таблицы приливов и отливов, долго рассчитываем, сверяем, перебираем друг друга, возвращаемся к прошлым цифрам и наконец устанавливаем, что полный прилив будет в двадцать три часа: значит, зайти можно. Лоцман Малыгин берется провести нас, хотя мысль, что он будет вести, руководствуясь чутьем и папиросой, как-то нам не особенно улыбается.

Но зайти в Койду — значит задержаться там до следующего прилива, то есть до утра, тогда как капитан имеет твердый приказ, который нам и показывает: «Взять корреспондентов, с отливом выйти в море, доставить корреспондентов в Койду и с той же водой вернуться».

Сходимся на том, что, если председатель колхоза вышлет мотодору, мы идем в Койду на ней, если нет, тогда совесть у капитана будет чиста — не высаживать же нас, как робинзонов, на пустынный берег! — и он идет с нами на сейнере.

Только мы так решили, как показываются одновременно две доры. Одна сверху, то есть от реки, другая снизу — со стороны моря. Та, которая идет со стороны моря, оказывается ближе к нам, но подвигается почему-то быстрее вторая. Мы все стоим на палубе, смотрим на ту и другую, передавая из руки в руки бинокль, и гадаем, почему та, которая мористее, подвигается медленнее.

— А она плот буксирует, лес в колхоз тянет,— спокойно замечает лоцман. Он теперь в зимней шапке, потрезвевший, молчаливый и даже вялый какой-то.

Опять смотрим в бинокль.

— Не лес, а карбас сзади чем-то груженный сильно! — поправляют лоцмана. Тот равнодушно закуривает.

Между тем вторая дора с зеленой будкой быстро



приближается, подходит к нам с левого борта, но ей машут руками, чтобы обошла: на левом борту лежит шлюпка, неловко будет спускаться. Дора обходит с кормы и стукается о правый борт.

Боцман Миша, будто не он только что страстно хо-

тел попасть в Койду на сейнере, суетится, собирает всю команду, выстраивает на палубе, мы снимаем моряков на кинопленку, прощаемся, прыгаем в дору.

Отвалив, разворачиваемся, машем шляпами, руками, платками, нам отвечают... Сейнер, к которому мы попривыкли и который казался нам уже порядочным судном, едва мы отошли, сразу тушуется, превращается в маленькое суденышко, так что даже удивительно, как на таком можно бороздить моря и выходить в Атлантику.

— Долго ли до деревни?— кричим мотористу.

— Часа полтора! — отвечает он нам.

Пока мы прощались, пока пересаживались в дору, другая, та, что шла с моря, обогнала нас и теперь поплевывает дымком и паром впереди. Лоцман был прав: на буксире у нее два плота, поэтому она так медленно идет.

Лоцман совсем дремлет, не смотрит ни на что и ни на кого. Зато Попову не сидится на месте. Он машет капитану нашей доры, чтобы он подвернул к той, с лесом — там едут какие-то его знакомые, которых он узнал еще с палубы сейнера.

Мы подворачиваем, догоняем, идем несколько секунд бок о бок. Попов перетягивается через борт, подает руки, ему в ответ тоже суют руки, все смеются, перекрикиваются, даже лоцман слегка оживляется.

Потом мы обходим их, вырываемся вперед, успокаиваемся, усаживаемся поудобнее, пониже, хоронясь за бортом от холодного ветерка.

Солнце садится. Садится оно медленно и все краснеет, краснеет... Оно окружено облаками, которые багровы, прозрачны, с огненными краями и напоминают вздыбившиеся волосы рыжей женщины. По мере того как садится солнце, море темнеет, становится ультра-

мариновым, почти черным. Мрачный голый берег тянется справа от нас, вытягивая сзади черные мысы все дальше в море, все ближе подбираясь к низкому шару солнца,— мы входим в залив, в устье реки Койды.

Время десять, потом четверть одиннадцатого, потом половина, потом без двадцати... Солнце, кажется, остановилось, а берег за нами крадется все дальше в море, вот-вот закроет солнце, и нам хочется, чтобы оно скорее село. Но оно все не садится, и берег наконец закрывает его, и мы видим теперь только черную плоскую полосу берега под зеленовато-алым небом и облака — внизу огневые, ярко-красные, выше — желтей и совсем высокие серебристые облачка, которые будут так стоять всю ночь, не теряя своего белого цвета.

Смотрю вперед и вижу, что противоположный правый берег бухты приблизился, красно освещен и так же ровен, плосок, как и задний,— вода мутнеет, мы входим в реку.

Еще полчаса ходу, и вот показывается то, что мигом выводит нас из оцепенения. Показываются первые сизые постройки, высокие амбары на берегу, очень редкие, одинокие, со съездами, по которым можно вкатывать бочки и даже въезжать на телеге на второй этаж. Возле амбаров стоят свежеотесанные желтоватые колья от ставных неводов. Колья высокие, метра три с половиной, составлены в пирамиды и напоминают издали индейские вигвамы.

Дома, избы серые и черные от времени, с белыми наличниками окон в два этажа, все чаще. На отмелом берегу видны уже следы людей и коров, уже чернеют первые вытащенные на берег карбасы, а впереди видна церковь без креста, частота построек, деревянные тротуары, изгороди, перечеркивающие все это зеленое и серое, глухие длинные бревенчатые стены складов

и домов, виден причал, бот возле причала, доры, моторки на якорях — все повернутые носом против течения. А на берегу дикий, громадный, неожиданный здесь крест — покосившийся, поддерживаемый только проволокой, натянутой от земли к телефонному столбу...

Стук мотора обрывается, с журчанием все медленней подходим мы к мотоботу, причаленному возле пристани, слабо стукаемся о его борт, перелезаем на него, шагаем по ящикам, по бочкам, сложенным на палубе, выбираемся на причал. Половина двенадцатого. Светло. В деревне почти никто не спит. Ребята и девушки гуляют по мосткам, или стоят возле изгородей, или сидят на крыльце. Нас встречает председатель колхоза.

Мы в Койде.

2

Избы в Койде стоят, как корабли на покое. Все они повернуты окнами на юг, на лето, все длинны и высоки, с глухими стенами по бокам, с полукруглыми воротами сзади наверху, с бревенчатыми подъемами, которые называют здесь съездами.

В этих домах пахнет прошлым веком — старым деревом, старой одеждой, многолетней пылью... Почти все они выстроены семьдесят-сто лет назад, некоторые еще древнее, но все стоят, и крепко, и сносу им нет.

В домах пахнет еще морем: рыбой, сухими водорослями, старыми сетями, сапогами, сшитыми из тюленьей кожи.

Убранство большинства домов старинное — широкие деревянные кровати, шкафы, сделанные прадедом или привезенные из Норвегии, такие же старые стулья и лавки, древние медные рукомойники, древние

фаянсовые тарелки, покрытые густой сетью трещин.

Но есть и новый стиль: обилие вышивок, никелированные кровати с горкой подушек, диваны, зеркала на стенах, комоды, крашеные полы в половиках, при-



емники и открытки, приколотые где только возможно.

В этой деревне вот уже лет триста или четыреста живут поморы — «койдена», как они сами себя называют. И жизнь каждого из них столь же сложна, наполнена трудом, разнообразными занятиями, мыслями и чувствами, как вообще жизнь любого человека на земле. Жизнь этих людей поэтична в самом изначальном значении этого слова.

Впрочем, поэзия имеет много кругов, а этой ночью я не хочу пускаться на дальние. Мне как-то не хочется сейчас представлять жизнь этих людей во всей ее многообразности, во всей совокупности традиций, наследств, заветов отцов, новых ростков, которые знаменуют новое время, экономики, всех тонких постоянных взаимоотношений, которыми спаяно это маленькое человеческое общество, живущее в тундре, на берегу моря, отделенное внешне от всего мира, но в то же время связанное и с миром, потому что живет и работает оно не только во имя себя и своих детей, но и во имя неисчислимых других людей.

Бывают минуты, когда кажется, что живешь ты здесь веки вечные и впереди у тебя еще больше времени, и вовсе не нужно жадно пускаться в изучение, а может быть, самое важное сейчас — просто посидеть и посмотреть.

Я сижу и курю у открытого окна. В комнате светло. Живу я у старой, высокой, сухопарой женщины. Скотины она не держит и не работает. Раньше работала на почте: зимой и летом, в морозы и дожди носила и возила почту.

Три года назад тоже на Белом море — только на Летнем берегу — жил я на тоне у рыбаков. Раз в два или три дня на солнечной светлоте берега, на грани воды и земли, появлялась одинокая фигурка женщины.

Приближалась она медленно. Следы этой женщины, если посмотреть потом, были частыми и усталыми. Она волочила ноги и ступала нетвердо. Следы скоро заравнивало водой, а старуха, молча, хмуро, отдав почту рыбакам, уходила дальше и скоро скрывалась за голубым крутым мысом. Ходила она из Лопшеньги в Летний Наволок. Расстояние между этими деревнями было тридцать пять километров.

Жизнь человека полна подвигов, и это слово очень полюбилось нашим литераторам. Но, странно, я никогда не слыхал его от людей, творящих эти самые подвиги. Они никогда не рассказывали как о подвиге о своей трудной работе, полной иногда смертельных опасностей.

И вот в то лето я стал думать о старухе почтальонше. Я воображал ее болезни. Ее старческую немощь. Я думал о том, как одиноко ей живется, как тяжело просыпаться ей по утрам, пройдя накануне несколько десятков километров.

И еще я думал, что она никогда не жалуется, не плачет, не надоедает людям своими недомоганиями. И что она прожила большую жизнь, и, когда молодая была, наверное, работала наравне с мужиками, и, наверное, любила в свое время страстно, и детей вырастила... И что, конечно же, не только эти невнятные следы, которые каждый день смывают волны, останутся от нее в мире. Что она живет и делает все то, что должен делать человек на земле. И если жизнь ее шла своим тихим чередом, несмотря на все несчастья, если она все-таки продолжалась наперекор всему, то как же не восхититься этим человеческим мужеством, этим тихим постоянным мужеством, я бы сказал!

Я хотел написать о ней грустный, но героический рассказ. Рассказ этот долго мне не давался, а потом не-

ожиданно для себя я написал совершенно другой рассказ о почтальонше — молодой девчонке Маньке.

Теперь, в Койде, я как бы вновь встретился с давней своей героиней, перед которой я в долгу еще. И теперь я сижу у окна, а она сидит у другого, и мы молча смотрим на улицу.

Туман... Он волнами идет с моря, и где лето, где тепло, куда девалась июльская истома? Будто кто-то там, на Севере, наклонил слегка исполинскую чашу с холодом, и холод полился, потек по островам, по морю, по тундре...

Из клуба расходятся люди. Они разговаривают, перекликаются негромко, и голоса их, усиленные полночной тишиной, отдаются от деревянных стен. Лошади со звонким топотом табунками бегают по мосткам — рыжие лошади, которые всю ночь пасутся по деревне, скубут траву, трутся о потрескивающие изгороди.

К хозяйке приходят женщины, коротко оглядывают меня и садятся тоже к окну. Молчат. Спросят о чем-нибудь друг друга и молчат.

Потом все выходят в другую половину.

Смотрю на часы — половина первого ночи. Светло. Дом в тумане с синими тенями. Хотя это не тени, конечно, просто одна сторона— северная, светлее, а южная синее, сизее.

Открывается дверь, в комнату с топотом входит парень. Мутно смотрит на меня, проходит, заглядывает за печь. Затем происходит следующий диалог:

— Е аатка-то дак, а?— Это произносится молниеносно, как вообще вся здешняя быстрая речь, а означает: «Где божатка-то дак, а?»

— Чего?

— Аатка-то, оою, дак де? (Божатка-то, говорю, дак где?)

— Хозяйка, что ли?— пытаюсь догадаться я.

— Ну-ну, ояйка, не аиаешь, дак, что ли! (Ну-ну, хозяйка, не понимаешь, дак, чо ли!)

— Наверно, у себя...

Долгая тупая пауза. Парень покачивается, изумленно смотрит на меня.

— А исее! А иссее? (Как из себе?)

— Чего?

Тогда он поворачивается, машет на меня рукой и выходит, громко пробормотав:

— А! Яны осем дак, алакат не ат чо! (А! Пьяный совсем дак, балакат не знат что!)

Немного погодя выхожу на улицу и я. Сизый покосившийся крест, поддерживаемый проволокой от телефонного столба, теперь черен на фоне зари. Возле рыбкоопа целая гора всевозможных товаров и материалов. Здесь и бочки, и ящики, и новые кровати, упакованные в рогожу, и стекло, и части от сельхозмашин, и бочки с горючим, и пустые картонные коробки из-под продуктов... На крыльце сидит сторожиха в большом тулупе. Дремлет. Но, едва заслышит шаги, поднимает голову, долго провожает взглядом человека — и опять дремлет.

Отлив. Река ушла, обнажив широкие отмели и острова из желтого песка. Мотобот у причала лежит на боку на суше. Карбасы и моторки, стоявшие в прилив на якорях, теперь все лежат на дне.

Реки здесь странные. Шесть часов они текут в море. Следующие шесть часов под напором прилива вода идет вспять. Приливы здесь высокие, до четырех метров в полнолуние, и приливная вода заходит в реку на десятки километров. Вода в реке в это время соленая.

Побродив, я возвращаюсь в дом, помедлив на пороге, посмотрев на реку, на деревню — трудно уйти

от белой ночи, трудно заставить себя спать, все время кажется, что пропустишь что-то очень редкое, счастливое.

Хозяйки нет, пришли сказали, что ее крестник, тот самый, который приходил к ней час назад, еще выпил и буянит теперь в другом доме, видном из нашего.

Снова я сажусь к окну. Вот вижу — растворяется дверь на крыльцо в том доме, какие-то люди показываются, возятся некоторое время и снова скрываются. Я беру бинокль, навожу, очень хорошо все видно, стекла окон отливают глухим блеском, стены сизы, дом как бы спит, но я знаю -- внутри что-то делается, и от этого дом становится сразу таинствен, я чего-то жду и не могу оторваться от бинокля.

Через минуту на крыльцо выскакивает моя хозяйка с какой-то женщиной, обе оправляют платки и волосы, обе тяжело дышат и что-то говорят или кричат в темную внутренность распахнутой двери. Потом дверь опять кто-то захлопывает изнутри, и хозяйка с соседкой остаются на крыльце.

Они спускаются вниз, заходят за угол и останавливаются, прячась почему-то, осторожно выглядывая и прислушиваясь к тому, что делается в доме. Проходит еще несколько минут, женщины успокаиваются, разговаривают друг с другом.

До дома метров двести, и ничего не слышно, но видно все прекрасно. Женщин одолевают комары, они отмахиваются, потирают шеи и щеки, но в то же время как бы и не замечают комаров — настолько любопытно им происходящее в доме.

Не выдержав, они на цыпочках поднимаются на крыльцо. Вид у них, как у девчонок, захваченных игрой,— жуткой и веселой. Соседка осторожно приотво-

ряет дверь, просовывает внутрь голову. Хозяйка моя переминается сзади. Вот соседка совсем скрывается внутри. Хозяйка остается на крыльце одна. Вся фигура ее, длинная, сухая, выражает сильнейшее любопытство и некоторую обиду на то, что она осталась на улице,— и раздумье, и нерешительность...

Ей, видно, очень хочется быть там, внутри, чтобы принимать участие в происходящем. Но и домой нужно, поздно уже, а в то же время нельзя оторваться, хотя дольше стоять на крыльце вроде и неловко, могут увидать, и она все оглядывается, машинально отмахиваясь от комаров.

В доме, кажется, все стихает, хозяйка спускается с крыльца, заходит опять за угол, слушает некоторое время, подняв ухо, потом машет рукой и решительно направляется в проулок.

3

Колхоз держит коров своих на отгонном пастбище, километрах в пятидесяти вверх по реке. Мы собрались поехать туда, и вот часов около двенадцати ночи приходит к нам председатель Воронухин, одетый по-дорожному, в телогрейке и сапогах, приходит сказать, что моторка уже готова, вода поднимается и надо трогаться.

Через полчаса мы на берегу, возле магазина. Начало прилива берега реки еще обнажены и мокры. На крыльце сидят несколько рыбаков, молча покуривают, смотрят на моторку, на нас... В моторке закрывают брезентом пустые ящики для масла, прилаживают, чтобы удобней было сидеть. Бредем к ней по воде, забираемся, рассаживаемся — мы на носу, Воронухин, моторист

и девушка-доярка на корме. Моторист лениво приподымается, дергает ногой и валится опять за борт. Мотор начинает тупо и звонко трещать, за кормой взбивается белое месиво. Воронухин ворочает румпелем, и мы выходим на середину реки.

Разворачиваясь, отдаляются избы, постройки, люди на крыльце, и через пять минут видна уже вся деревня, вытянувшаяся по берегу лицом в тундру, к югу, спиной к морю.

Берега ровные, далекие, плоские, без единого деревца. Моторка по течению, идущему с моря, бежит шибко, переходя по фарватеру от одного берега к другому, выплескивая на песчаные отмели позади постоянный жгут ходовой волны. Река скоро сужается, берега повышаются, делаются обрывистыми, начинают обрастать кустами и карликовыми березами.

Ночь облачна и поэтому пасмурна, без блеска, без яркости. Вчера весь вечер нагоняло с моря туман, туман разошелся, а облака пришли прочно, обложили небо, раза два принимался накрапывать дождь, но так и не раззадорился.

Чайки спят на песке под обрывами. Треск моторки будит их. Сквозь сон они слышат что-то мешающее им, и это что-то все близится, близится, и вот уж невыносимо больше спать, надо открывать глаза. Они открывают, видят рядом моторку, неподвижных в ней людей, разнимают крылья и неохотно летят в сторону моря, где тихо.

С нами едет девушка, примостилась рядом с Воронухиным, поджалась — милое лицо, одно из тех лиц, которые тем милее становятся, чем больше на них смотришь. Она все улыбается... Взглянешь на нее, она поймает взгляд и улыбнется, но не тебе, а как бы своим мыслям о тебе, о низком небе, о дороге, о пасмурном

свете белой ночи. Или по тому, кто остался в деревне?

А когда на нее не смотрят, она успокаивается, совсем остается наедине с собой и что-то шепчет. Я посматриваю из-под капюшона на ее губы, стараюсь догадаться, что она шепчет. Наконец я догадываюсь: она поет песню. Поет тихонько, про себя, голоса не слыхать за треском мотора, а губы шевелятся.

Что же еще делать в этом равномерном треске среди всеобщей тишины? Смотреть на приземистую природу, знать, что там тихо, воображать эту тишину?

В лодке пахнет горючим, ящиками, брезентом, и мне вспоминается Архангельск, каким он предстал нам, каким уже отошел от нас, потонув в знойных ослепительно-дымных миражах.

Каждый город многолик, точно так же и Архангельск, и каким ни назови его — задумчивым, молчаливым, странным, светлым, деревянным, все будет не так, неточно.

В Архангельске я бывал не один раз, летом и осенью, при всякой погоде, и каждый раз показывался он мне своей новой, незнакомой стороной, хоть каждый раз видел я его мельком, стремясь куда-то вдаль, в свои палестины, которые, как я думал, открыть предназначено было мне.

Архангельск в ту пору представлялся мне воротами, началом великих и загадочных дорог, ведущих бог знает куда. Будто именно в Архангельске проходила та вещая черта, которая отделяла все знакомое, испытанное от необычайного, известного нам, людям средней России, только по былинам, по сказам. И каждый раз в Архангельске испытывал я глухое мощное и постоянное волнение при мысли об обилии дорог, открывавшихся передо мною.

В номере гостиницы слышал я днем и ночью паро-

ходные гудки и рокот моторов на аэродроме на той стороне Двины, видел над крышами домов верхушки мачт лесовозов, шхун, пассажирских пароходов, траулеров... Я смотрел на карту Архангельской области, и названия островов, рек, сел, становищ завораживали меня — куда поехать?

Можно поехать в Кую или в Зимнюю Золотину. Или в Лопшеньгу. В Пушлахту, на остров Жижгин или на Соловецкие острова. Или, может быть, в Кандалакшу? А дальше к северу названия становились еще заманчивей — остров Моржовец, Мегра, Чижа, Шойна, Канин Нос, Чёшская губа и мыс Святой Нос, остров Колгуев, Топседа и острова Гуляевские Кошки!

Но мне почему-то всегда хотелось пожить не на временных становищах, не на полярных зимовках и радиостанциях, а в деревнях — в местах исконных русских поселений, в местах, где жизнь идет не на скорую руку, а постоянная, столетняя, где людей привязывает к дому семья, дети, хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и кресты на могилах отцов и дедов.

Так каждый раз приходил ко мне Архангельск на короткий миг морским причалом, бортом парохода, громом лебедок, зевами трюмов, прощальной суетой на палубе, прощальным же долгим гудком.

Но на этот раз мы решили узнать о нем побольше, посмотреть на него попристальней. И первое, что довелось нам увидеть, был лесокомбинат имени Ленина.

Мы долго ехали к нему на обкомовских машинах, от нас уходили улицы, старые и новые каменные дома, причалы, склады на берегах Двины, и начинались новые, отличные от прежних постройки, как бы один рабочий поселок, растянувшийся на многие километры. Деревянные мостовые, заборы, новые стандартные де-

ревянные же дома коричневого цвета с белыми наличниками окон, опилки, опилки, столовые, магазины, малолюдство, но зато обилие грузовых автомашин, обилие стрел подъемных кранов за заборами, обилие строек, кирпичных фундаментов, бетономешалок, обилие лозунгов на деревянных стендах и надписей громадными красными буквами: «Не курить», «No smoking», «Не курить»...

Была у меня минута волнения, когда входили мы на комбинат,— будто встретил старого друга, будто звучно пришло и встало передо мной прошлое. Тот же запах свежих опилок, те же звуки шипящего пара, музыкально оседающих сизых, накатанных досок под ногой, визг пил, стук сбрасываемых досок, весь этот шум, гул большого завода, многих машин... Когда-то так много времени провел я среди рабочих лесозавода на глухой реке, среди ее блеска, обилия леса в запани, среди до черноты загорелых людей, направляющих баграми лес в бассейны, к бревнотаскам!

И вот в жаркий полдень входим мы на комбинат и идем, идем по деревянной улице, по горячим, сизо сияющим доскам, мимо цехов, гудящих изнутри, под паропроводами, в сладком запахе пара, мазута и свежего дерева.

Потом в глаза нам ударяет сверкающий, свеже-голубой от неба простор Двины, разом показывается все то множество кораблей, что стоит на рейде и двигается вверх и вниз, а внизу, под нами, открываются длинные мостки, боны, переходы над водой, над воротами, над бассейнами, куда идет и идет мокрый лес с черной и темно-коричневой блестящей корой.

Главное здание комбината — лесопильный цех — стоит вплотную к воде, поворотясь к ней своей торцовой кирпичной стеной, с низвергающимся водопадом

нескольких рукавов лесотасок, по которым лес, однако, идет не вниз, а вверх, из воды.

Транспортеры лязгают, сдвигаются и замирают, из дуговых труб над каждым транспортером бьет белопенная вода, направляемая на бревна, омывающая их и порождающая радуги.

Внутри лесопильного цеха беспрестанно гудит, визжит — так что даже мостки, на которых мы стоим, ощутимо дрожат. А здесь дует свежий ветер, пахнущий рекой, смолой, таинственным духом сырого дерева, колеблется вода в бассейнах, сортируются, кружатся бревна, подталкиваемые с роковой неумолимостью к белым крюкам транспортеров.

По трапу, по полукруглой дороге, ведущей вверх вдоль транспортеров, поднимаемся и мы во второй этаж, ныряем в низкую фанерную дверцу и останавливаемся со свету, пораженные ненасытным яростным ритмичным гулом, острым запахом скипидара и сумерками огромного помещения. Рядом с нами то отъезжает, таща за собой резиновый шланг электрокабеля, то медленно, терпеливо и упорно подает в пасть лесорамы зажатое бревно рабочий на длинной машине, похожей на автокар. И когда он стремительно откатывается назад, к стене, транспортер приходит в движение, очередное бревно подвигается, встречает на своем пути косо направленный, смачно блестящий, затертый железный бортик, тяжко низвергается вниз, в желоба длинной машины, которая тут же влечет его к лесораме, едва успевшей поглотить предыдущее бревно. И лесорама вновь начинает неуемно и яростно визжать и выть, и новое бревно так же беспомощно дрожит в ее зубах, как и предыдущее.

Опиленные бревна идут затем далее, на другую лесораму, там вновь распиливаются уже на доски, затем

мчатся по ленточному транспортеру к обрезным станкам, и там циркульные пилы коротко и горячо рявкают, отсекая, отшвыривая от досок торцы, а доски — теперь аккуратные, ровные, медовые,— стремительно проезжают по эстакаде, сваливаются вниз, в сортировочную, и там медленно плывут, влекомые цепями, и там по ним ходят и бегают работницы, раскладывая, переворачивая, сортируя, пока наконец доски не оказываются на улице, на площадке, где их разносят по кучам и откуда лесовозы увозят на биржу сушиться.

Очарованные, слегка оглушенные движением леса, стуком досок, похожим на хлопанье кнута, ревом деревдробилки, лесорам, обрезных станков, торцовых пил, то бешено несущимися, то едва влачащимися транспортерами,— мы отдыхаем, курим в курилке, в то время как сопровождающий нас секретарь партбюро комбината говорит о производстве, называет цифры, объясняет нам сущность потоков, называет сорта досок.

Под его объяснения хорошо думается о городе, воображаются десятки лесозаводов, колоссальные биржи сырья, лесовозы всех стран, бороздящие моря, беспрерывные вереницы составов, идущие из Архангельска на юг, бесконечные плоты, буксируемые вниз по Двине...

Лес, лес — то, что так ценно, так необходимо всем, что так дорого в южных безлесных местах, что попадает к нам в виде шпал, мебели, досок, крепежной стойки, карандаша, лыж, фанеры,— здесь в таком изобилии, так переполняет город, что, куда ни глянешь, всюду одно и то же: штабеля, штабеля, штабеля по пять, по десять тысяч кубометров, штабеля, выкаченные на берег про запас на зиму, штабеля желтых досок, деревянные тротуары, мостовые, дома, даже сама земля, десятки

лет засыпаемая опилками,— деревянная, упругая, пахнущая скипидаром!

Мы выходим опять на жаркий воздух, идем по территории завода, лавируя в лабиринте между уложенных досок, в каком-то душистом маленьком городе с улицами и переулками, с движущимися вагонетками и лесовозами, проходим под погромыхивающими, постукивающими эстакадами, мимо надписей «Не курить», мимо ярко-красного пожарного инвентаря, заходим в мебельный цех с его беспрерывным стуком, заглядываем в цех тары, заваленный плотными пачками ящичной доски, и выходим опять к Двине, на пирс, к которому швартуются морские лесовозы.

Они здесь, эти иностранцы бежевого, молочного, сливочного цвета,— длинные, с современными закругленными надстройками, с невысокими толстыми мачтами, с путаницей лебедочных стрел. Их борта вровень с пирсом, палубы их завалены досками, имена их коротки и звучны. Норвежцы, датчане, немцы, шведы, французы,— флаги и трубы их пестрят красным, синим, желтым, крестами, каймами, квадратами, треугольниками.

Среди матросов много негров и много бородатых. Почти все обнажены по пояс, кофейно-загорелы. Негры работают, тонко жужжат лебедки, пачки досок поднимаются в голубое небо, стрелы полуоборачиваются, доски повисают над трюмами, изнутри, из шахтной темноты, раздается гулкий крик, спина стоящего на краю трюма склоняется, рукавица предостерегающе издета, доски идут вниз, потом напряжение троса слабнет...

На борту стоит и с презрительным любопытством посматривает на нас боцман. Он брюхаст, в коротких штанах, с жирными ляжками и толстыми руками. Ро-

зовое лицо его кажется небольшим под широким козырьком смятой, сбитой на сторону морской фуражки. Он курит. Он у себя на борту. В своей стране. Ему чужд, не нужен город, в котором нет ночных кабаков и публичных домов.

А сверху по деревянной дороге все катят и катят лесовозы, заворачивают направо и налево — высокие, похожие на гигантских насекомых, цепко держащих внизу, под брюхом, пачки досок. Подкатив к борту, они останавливаются на секунду и отъезжают, оставив после себя доски, как насекомое — яйцо на песке.

Покуда я писал все это, не обращая внимания на треск мотора, на остановки, когда на винт наматывалась трава и моторист засучивал рукав и лез под корму очищать, а Воронухин, виновато улыбаясь, закуривал — и я мельком хорошо понимал его виноватую улыбку: ведь он сидел на руле и этим как бы отвечал за фарватер реки, за все ее камни, мели и водоросли,— покуда я думал об иностранном боцмане — что бы еще о нем написать? — и об Архангельске, на корме совещались, крича друг другу в ухо, и решили наконец пристать к берегу.

Я бросаю своего боцмана и вылезаю вместе со всеми на берег. Белая ночь перешла в рассвет. Может быть, и солнце встало, но его не видно за тучами.

Очень тихо, только росистая трава хрустит под нашими сапогами и кедами. Мы все сразу закуриваем, прохаживаемся среди розового иван-чая, который нам по пояс. Река неподвижна, моторка приткнулась к берегу. И берега неподвижны. Так редко это видишь — этот рассветный час в лесу, на реке.

Вот пролетели кулики над рекой. Вот сделали два

круга над нами утки, и был слышен звук от их крыльев. Как они ловят здесь границу ночи и дня?

Вон стоит избушка — пустая. Здесь, говорят, жил рыбак, ловил хариусов в реке. И я думаю уже, как он на рассвете в такой тишине по росе шел вниз с удочками. И постукивал в лодке, перекладывая удочки и весла, и как тихо ехал потом на перекат, как тихо опускал в воду якорь и налаживал потом свои удочки. А небо разгоралось, и хариусы начинали брать. И он вытаскивал их — одного за другим, и они, побившись, засыпали у него в лодке.

А потом он возвращался и топил печь. Дым шел из трубы, вон из той самой трубы, и если ветерок нажимал сверху, то дым сваливался с крыши и уходил в лес. В лесу тогда далеко пахло березовым дымом, и это нюхал лось где-нибудь у себя в чаще.

Короткая минута отдыха, озябшие лица и руки, потопывания, попрыгивания, торопливые затяжки, короткие тихие слова и тихие улыбки — слова и улыбки о здешнем: о сенокосе, о комарах, о реке, о рыбе, о коровах, которые в эту минуту пасутся, лежат и стоят неподвижно где-то там, в лугах, выше по реке. Последние взгляды кругом, последнее наслаждение тишиной, и мы опять в лодке, опять трещит мотор, окружающее сразу испуганно уходит от нас, и можно снова вспоминать Архангельск.

На рыбокомбинате нам не повезло. Разгрузка рыбы кончилась, рыба прошла обработку, была вымыта, засолена, забита в бочки, укачена на склад...

Возле причала стояли два траулера с мокрыми и скользкими от рыбы палубами, еще возбуждающе пахли свежестью моря и водорослей, а их уже окаты

вали из шлангов, везде по бортам звенела и журчала вода, а уж по сходням спускали вниз ящики с продовольствием, уж подъехала и стала на краю пирса автомашина-хлебовоз, и из нутра ее тепло дышало ржаным духом, и нам покрикивали снизу, с палубы:

— Эй, корреспонденты! Вот опишите-ка в «Крокодиле»... Эй, слышь! Как погрузочка идет! Вручную! Эй, корреспонденты, давай не гнись, катай их всех в «Крокодил»!

И опять нам открыта Двина, вернее, кусок ее, нечто вроде затона, набитого траулерами. Черные, бокастые, со вздернутыми тупыми носами и круглыми кормами, они стоят так тесно, так родственно-крепко прижавшись друг к другу, что мачты и снасти их переплелись в нечто туманное, заштрихованное, и кажется, что по всем этим траулерам можно ходить, перешагивать с одного на другой.

Заходим мы и на двор, где под солнцем ослепляет нас рассыпанная соль и где от бочек, ящиков, канатов, от широчайших брезентовых роб девушек еще головокружительней пахнет морем, бродим по пустому темному и тихому цеху рыбообработки. Здесь тоже журчит вода, все омывается, все мокро и глянцевито поблескивает — пол, желоба, тачки, носилки, транспортеры, моечные машины, отовсюду каплет и попахивает дезинфекцией.

Здесь люди ходят не торопясь, здесь все как бы расправляет плечи в блаженном отдыхе, здесь все дышит, но дыхание уже спокойное, посапывающее. А я воображаю внезапно, как тут все кипит, снует, работает с точностью часового механизма, когда с траулеров идет, выкачивается и валится сюда сверху рыба, с шелковистым шуршанием мчится по желобам, от машины к машине, от рук к рукам, моется, переворачивается,

шкерится, распластывается, солится, наливается соленым вкусом, чтобы упокоиться потом в плотной темноте бочек! И как напряжены тогда все руки, и глаза, и тачки, и вода, и желоба, какой, верно, сырой, мягкий, липкий шум стоит здесь от одновременной обработки неисчислимого множества рыбьих тел!

Зато в коптильном цехе застали мы оживленную работу. Между чанов с розоватой мутной водой стояли работницы в резиновых сапогах, в фартуках и шкерили, мыли, прополаскивали и обвязывали бечевкой морских окуней и треску. Здесь тоже были влажные и скользкие решетчатые настилы, и здесь журчала вода и раздавались постоянные вязкие звуки. Но не это было главное, а главное было где-то рядом, за стенами, и совершалось оно в тайне и тишине, и о нем настойчиво напоминал нам только слабый синеватый дымок, наполнявший и пропитывавший здесь все, и запах паленого.

И нас повели в глубину, в чрево, в сумрак здания — проходами, комнатами, пока наконец мы не вошли во что-то темное и смутно большое. Мы остановились перед рядом высоких железных дверей, а когда для нас отворили одну из них, стала видна дымная глубина, и там, в глубине, медленно разворачиваясь, развеваясь, полыхал винный пламень. Дым в высоте камеры, неровно и смутно освещаемый с исподу, казался изумрудным, и в дыму этом на рамах висели и многие дни коптились бесчисленные черные ряды рыб...

Об Архангельске можно писать бесконечно. Он разнообразен и контрастен. Он стар, но по существу строиться начинает только сейчас. Есть города, для которых все в прошлом. У Архангельска — все в будущем.

Много ли веку у дерева? Деревянный дом стоит пятьдесят-сто лет. Потом на его месте строят новый, и этот новый часто совсем не похож на старый. Я видел снимки Архангельска середины прошлого века, с жадностью старался отыскать на них знакомые мне улицы, знакомые дома — и не мог.

Как понять душу города?

Можно свернуть с улицы Павлина Виноградова, пойти по любому переулку и через двести метров очутиться как бы в глубокой провинции и в прошлом веке. Деревянные тротуары, между досок лезет трава, возле ступенек крылец цветут одуванчики, заборы заваливаются внутрь или наружу. Дома — одноэтажные и двухэтажные, с высокими крышами, с наружными лестницами, напоминающими трапы; и в этих домах, в их фигурных башенках со шпилями, с петушками в их антресолях, в маленьких окошечках есть что-то милое, давно забытое, чуть ли не голландское. А во дворах — трава, и колодцы, и старые ивы, и мостки, и сараи...

Можно сидеть в белую ночь на таком дворике под ивой за врытым в землю старым столом, пить чай из самовара, лениво брать из вазочки прозрачный мед, вздыхать, покуривать — и о внешней шумной жизни напоминать вам будут разве что гудки пароходов на реке да звук садящихся и взлетающих за Двиной самолетов.

Можно выйти поздним вечером к Двине у центра города, и тогда — о! — тогда поражаешься сиреневому цвету огромной массы воды, обилию света, нисходящего на город с океана, с норд-веста, и всему северному горизонту, являющему собой широчайший световой экран, прорезанный кое-где только тугими завитками черного дыма из пароходных и заводских труб.

Это перед глазами. А за спиной — пространства пло-

щадей и скверов, фронтоны каменных громад с колоннами, здания почтамта, пароходства, театра — все как бы незавершенное, как бы остановившееся на минуту,— начало, истоки какого-то невиданного ансамбля, который когда-нибудь будет закончен, и тогда всем явится новая Северная Пальмира.

А по сторонам набережная — прибежище любвей, свиданий, радостей и скорбей. Женщины ходят по ней, и женщин обнимают сильные руки сплавщиков и моряков. Здесь знакомятся — иногда на всю жизнь, здесь расстаются на рассвете, отсюда уходят с угрюмыми лицами и сигаретой в углу рта, крепко прикушенной зубами. Здесь проводят последние ночи перед уходом в море, здесь стоят часами, облокотившись на парапет, плечо к плечу, изредка только взглядывая друг на друга, а больше блуждая глазами где-то, вздыхая и неестественно усмехаясь. Тут трудно быть одному. Один — тут начинаешь думать о себе плохо, потому что сам не можешь стоять или идти обнявшись.

И тут ходят еще иностранные моряки — по двое и по трое. Они даже в походке отличны от наших моряков. Они в узких брюках и пиджаках с разрезами сзади и с покатыми плечами. Рубашки их накрахмалены до невозможности, а узлы галстуков тверды так же, как их скулы. На руках их желто мигают обручальные кольца, и фотоаппараты, перекинутые через плечо, небрежно локтем сдвинуты к спине.

Но лучше всего смотреть на Архангельск днем со стороны Двины. Четыре часа ездили мы на катере по Двине — от Исакогорки до Соломбалы, четыре часа город шумел и двигался перед нами, поворачиваясь к нам самыми оживленными своими сторонами.

Мы увидели титанические шевеления портовых кранов у причалов Бакарицы, мы увидели океанские суда

с красными ватерлиниями, стоявшие под погрузкой. Мы прошли мимо Арктического причала, который громоздился грузами для всего побережья Белого моря и Ледовитого океана, для всех становищ, сел, факторий, радиостанций, маяков, зимовок и на котором было упаковано и готово в далекий путь все — от каких-нибудь пяти килограммов пороха для промыслового охотника в верховьях Енисея до тракторов и локомобилей.

Причальные стенки, затоны, доки, корабельные кладбища, склады, лесозаводы, огромные и прозрачные опорные мачты на берегах и опоры для строящегося железнодорожного моста через Двину, уходящие под воду на десятки метров и возносящиеся к небу, буксиры, в разные концы тянущие баржи, шхуны и мотоботы, выложенные камнем набережные и тундровые острова, судоремонтный завод и корабли возле него с кровавыми пятнами грунтовки на бортах, многочисленные рукава и речки, втекающие в Двину и разделяющие ее на дельту, наконец десятки иностранных кораблей, высоких и низких, стройных и пузатых, современных и старых, скученных на якорях в Корабельном рукаве, напоминающих издали эскадру, флот, беспрерывный шум и стук погрузки или выкатки леса на берег, бесчисленные лесотаски, биржи сырья...

Таким предстал для нас Архангельск, и это было его главное, основное лицо, это была панорама города, который начинает жить и у которого все впереди.

...Интересно следить за говорящими в моторке. Мы на носу, они на корме, между нами мотор. Девушка говорит с Воронухиным. Он ей что-то объясняет, палец его приходит в движение. А она закидывает голову, смотрит на него снизу вверх. Это потому снизу вверх,

что она облокотилась на борт и почти лежит. Потом к ним тянется моторист, на лице его усмешечка, что-то он кричит им такое, от чего с Воронухина сразу слетает деловитость, а девушка вскрикивает и с наигранной яростью замахивается на моториста. Он откидывается к своему борту и хохочет, довольный.

В двухстах метрах от стана Воронухин все-таки не углядел, налетел на камень, — нас тряхнуло и сломался винт. Мы все вылезли на берег и, разминаясь, пошли по тропе, вытоптанной скотиной, к стану.

4

Опять белая ночь без теней, без звуков — она мучительно непонятна, хотя и бродишь душой где-то на пороге тайны ее, и кажется, что вот-вот все поймешь, все откроешь и тогда спадет бремя с души.

Все спят на стане — кто в доме, кто в сенях под пологом. Перед сном долго возились, бегали из дома в сени ребята, мяли под пологом девушек, те, задыхаясь от смеха, тузили сопящих ребят, полог колебался: ребята крепились, но не выдержали и гоготали: га-га-га!..

Весь день жужжал сепаратор, доярки били масло, носили молоко в бидонах, заквашивали творог. Теперь угомонились... Только молодой пастух взял гармошку, небрежно пошел в луга, заиграл там что-то свое, несложное, курлыкающее, и все коровы и телята, собравшиеся было к стану, к поскотине, разом подняли уши, повернули тупые жующие морды в луга, потом медленно, одна за другой, двинулись в сторону пленительных звуков, пошли на ночную пастьбу.

Не спит и старый пастух. Он сидит на лавке в зимней шапке, в телогрейке, с голубой косынкой на шее.

На воле он надевает косынку на голову, завязывает по-бабьи — от комаров. Курит, смотрит за окно, слушает радио.

А радио — батарейный приемник — плохонькое, батареи сели, расходуют их экономно. Но пастух не выдержал, включил тихонько и слушает теперь джаз. Печально и хрипловато на низах, зловещим черным серебром на верхах звучит труба, тускло, с синкопированным опозданием вторит ей саксофон, и музыка эта, донесшаяся сюда из какого-то ночного города, полна великой печали.

Не спит еще девушка — низенькая, крепенькая, приятно пахучая от телят, от молока,— сидит на улице, вяжет березовые веники. Потюкает топором, смолкнет, быстро-быстро перебирает прутья. Или вдруг поднимает глаза, засмотрится в лес, задумается, положив ручки на колени, и опять вяжет. Веники у нее тоже маленькие и пухленькие.

Первый раз мне вдруг в тягость стал этот беспрерывный матовый свет и страстно захотелось настоящей черной ночи. На улице тлели остатки костра, я вышел, подсел к фиолетовым углям, подбросил еловых лапок, чтобы пустить дымок на комаров, закурил и внезапно вспомнился свой приезд на Зимний берег в позапрошлом году.

Черный борт парохода со спущенным трапом казался в ту ночь огромным, как стена дома. Внизу была толчея карбасов, мотодор и катеров. Ветер холодный, но слабый, волна спокойная и медленная. Мы то проваливались в пучину, то вздымались к самым иллюминаторам, горящим во тьме желтым светом.

Все было готово, тюки и ящики спущены, чемоданы

свалены в нос, катер наш наполнился и первым отошел со стуком мотора во тьму. Берегов не было видно.

Мы шли покачиваясь, осыпаясь иногда водяной пылью из-под скул катера, десять, и пятнадцать, и двадцать минут. Потом я спросил:

— Далеко ли до берега?

— Километра два,— помолчав, отозвались мне.

Один раз мотор внезапно смолк, и пока моторист, поминутно дуя на руки, возился с ним, мы беззвучно качались под слабым светом луны, и ближайшие к нам волны слабо поблескивали своими гранями.

Мотор заработал, и мы опять пошли, с шипением разваливая волны, как вдруг море, и катер, и лица людей осветились мрачным гранатовым светом. Я поднял глаза — все небо охвачено было ужасным космическим светом. Только в зените зиял над нами черный провал, все остальное от горизонта до горизонта сияло, перекатывалось валами беспрестанно меняющихся цветов.

Мотор опять заглох, моторист, чертыхаясь вполголоса, полез вниз что-то подкручивать, остальные молчали, видны были поднятые лица с темными кругами глаз.

Мы качались в совершенной тишине, пароход был еле виден. За бортом от прикосновения к катеру вспыхивали в глубине зелено-синие пятна величиной с блюдце и медленно отходили в сторону, вытягиваясь и постепенно потухая.

Наверху был уже настоящий пожар. Сияние превратилось в тысячи лучей, распухающих и утончающихся, с невероятной скоростью передвигающихся по небу, образующих грозный нимб вокруг черного провала в зените. Луну окружал зловещий ореол, свет звезд был красен и мутен.

Мотор опять начал стучать, и это как бы расколдовало нас, все начали двигаться, говорить.

— К холоду, к холоду,— то и дело повторяли в катере.

Через минут десять вошли в устье реки, обозначенное во тьме слабыми мигалками, сияние ослабло, но еще перекатывалось, меня пробирал озноб, и я почти видел, как из арктической черноты шел на нас густой холод.

Но вот морской запах, к которому я успел привыкнуть, сменился береговым. Запахло деревом, землей, сеном и деревней. По правому берегу начали показываться какие-то темные постройки. Потом впереди вырисовалось еще более темное скопление загадочных зданий, и мы подошли к причалу. В нос сразу крепко и остро ударил запах смолы от скучившихся карбасов, на причале переступали, переговаривались люди, невидимые во тьме. Ударил по нас слабый красный свет электрического фонарика, раздались радостные приветствия, десятки рук потянулись к нам, стали принимать чемоданы, узлы, тюки, ящики, стали помогать выбираться на причал женщинам...

Вылез и я, осмотрелся, заметил сурово-высокую стену амбара на сваях, подступившего к самой воде, и еще какие-то дома с поветями, с крутыми бревенчатыми съездами.

— У кого бы остановиться? — неуверенно спросил я.

— А вот у Пахолова... Один с бабой, ступай к нему... У него хорошо, чисто, тихо... У него сей год две экспедиции жили!

Нашелся и провожатый, молча повел меня в кромешной тьме по мосткам среди изб. Было поздно, но деревня, возбужденная приходом парохода, не спала.

Встречались нам темные фигуры, шаркающие голенищами сапог, кто-то перекликался, в черных стенах изб, высоко вознесенные, желто сияли окна.

Вот и дом Пахолова. Провожатый мой торопливо ушел, видимо спешил на причал встречать кого-то, а я постучал, меня впустили в сени и оттуда — в озаренную лампой кухню. На столе на подносе шумел самовар, красные угли сыпались из-под решетки. Начались расспросы: «Кто? Откуда? Зачем?», начались покрикиванья: «Живи, живи! Места хватит! Вон тебе комната, вон и печка!»

После чая я не выдержал, вышел на улицу, стал бродить по деревне, уже притихшей, но еще светящей окнами, еще с разговорами в домах.

Северного сияния больше не было, зато какие выступили звезды, какой дымный, огромный был Млечный Путь, какая белая луна, какая темнота и какие тени по земле, по мосткам от амбаров, от изгородей!

Первая ночь в незнакомой деревне... Так была богата она радостными предвкушениями и так черна, так черна!

5

Двухквартальный план по семге в колхозе «Освобождение» был перевыполнен, и председатель со спокойной душой снял рыбаков с тоней на сенокос. Рыбаков ждали, он и приехал сюда, чтобы встретить их и на месте распределить по сенокосным угодьям и сообща решить, что и как.

И вот, когда день стал меркнуть и стихать, вдали послышались крики. Я сидел на берегу реки, примерно в километре ниже стана, когда еще ниже послышалось далекое и мощное, но непонятное:

— У! У-у, у!

Я забыл совсем о рыбаках и не мог никак понять, что бы значили эти невнятные далекие крики, как вдруг из-за поворота реки вышла большая, длинная ладья с высокой мачтой и, чуть накренясь на правую сторону, шибко стала подвигаться вверх. За кормой у ладьи было два или три карбаса поменьше. Она шла легко и быстро, и не было видно весел, никто не греб. Я было подумал о моторе, но и мотора не было слышно.

С изумлением смотрел я на странный караван, все близившийся. Но вдруг наверху раздвинулись кусты, показался всадник на лошади.

— А ну! А ну! А-а!.. — сипло и весело кричал он.

На лошадь надет был хомут, тонкая бечевка тянулась от хомута к верхушке мачты. Чуя близкое жилье, лошадь налегала изо всех сил, всадник был весел и нетерпелив.

Караван поравнялся со мной. В ладье понуро стояла лошадь, привязанная к мачте, небесно голубела сенокосилка, на брезентах, прикрывающих что-то большое, многочисленное, сидели и лежали девушки, ребята, старики, женщины...

Глухой стук копыт наверху, на обрывистом берегу, шорох каната по кустам над моей головой, крик: «А ну! А-а-а!» — все это как видение древности, когда так же, наверное, шли из варяг в греки, миновало меня.

Но тотчас из-за поворота выказалась еще одна ладья с карбасами за кормой. И пошло, пошло — ладья за ладьей, хруст веток, топот копыт, журчание воды под карбасами, запах пота, дегтя, кожи, дерева, запах рыбы, моря наполнили эту глухую речку.

Медленно пошел я назад к стану. И в то время, как сзади все подходили новые ладьи, все кричали на разные голоса погонщики, пели и гомонили на ладьях,

стояли, расставив ноги, на кормах и правили по фарватеру, передние уже пристали у стана, уже выбежали все из дома на берег, на кручу. А навстречу выбежавшим лезли вновь прибывшие, и гомон голосов все усиливался, шел скачками, как скерцо в оркестре. В человеческие голоса, протяжные и скорые, в быстро сыплющуюся местную речь входили наплывами голоса телят, коров, фырканье, нутряное игогоканье лошадей, стук и тренье карбасовых бортов.

Через полчаса стан представлял собой огромный бивак, на том и на этом берегу забелели пологи, которые натягивали от комаров собирающиеся спать на воле. Возле дома жарко трещал огромный костер, над которым висело сразу пять или шесть чайников. Запах молока на стане перебит был дымом махорки, запахом брезентовых роб, пропотелых рубах и сапог. Дверь поминутно хлопала, народ входил и выходил. Под окнами уже сидели на чурбаках за низкими столиками и пили чай, отмахиваясь от комаров.

Мужики были в красных и голубых женских косынках, ребята пересмеивались, девушки быстро сыпали словами, взвизгивали, приходили все разом в движение, отпрыгивали, увертывались, прятались друг за друга...

Иные, постукивая веслами, перебирались на карбасах на ту сторону, разводили отдельные костерки, сидели возле них семьями. Над пологами поднимались в небо многие дымки. К обрыву приткнулись теперь уже все карбасы и ладьи. Одни были зачалены за берег, другие стояли на якорях. Мачты, прекрасные изгибы бортов отражались еще в воде — все удваивалось и засыпало на неподвижной реке.

На самой круче разведен был еще костерок, постлан платок, разложен хлеб, и сахар, и рыбники, и сидел

возле костерка картинный старик, разметав белую бороду по груди, не спеша, отирая пот, любуясь флотом, пил чай.

А за скотным двором была особая группа. Здесь молчали. И молча, с серьезными лицами глядели, как сутулый старик с сивой бородой, в брезентовых штанах, с ножом на поясе тащил на веревке корову. Корова упиралась, приседала, расставляла ноги. По бокам, с поджатыми хвостами провожали ее две собаки, а немного впереди шел еще рыбак, помоложе, в бордовой рубахе, с непокрытой жестковолосой головой.

Близ поскотины, в тупике, он вдруг нагнулся, легко поднял с земли колун, полуобернулся и, припадая на левую сторону, хакнув, ударил корову обухом в лоб — хрясь!

Корова, подогнув колени, покорно стала валиться вперед и на левый бок, собаки вздрогнули, отскочили, потом опять посунулись к корове, а старик, натужившись, держал веревку, задирал ей морду, чтобы ловчее было опять ударить. И тот, с колуном, успел еще два раз хряснуть, прежде чем старик бросил веревку и перерезал ей горло...

К стану собрались телята, смотрели влажными черными с голубизной глазами на огонь костра, на людей, слышали запахи дыма и молока и взмыкивали, а между ними ходили телятницы, гладили то одного, то другого, ласково покрикивали:

— Ну что плачешь так порато?

Вышел пастух Анатолий, молодой парнишка, с удовольствием залез на одну из привезенных лошадей, поехал прочь, наигрывая на гармошке, и телята, не выдержав, пошли за ним.

Время стало позднее, а гомон все не стихал. Председатель то сидел в доме за столом, что-то высчитывал,

выписывал и подписывал, споря с колхозниками, то выходил — и начинались на улице разговоры про сенокос, про рыбу, про погоду.

Я сидел у костра: подошел председатель, подсел на корточки, закурил и засмотрелся в огонь.

— Что-то не спят все ваши,— заметил я.

— Белая ночь влияет,— подумав, сказал председатель.

Утром караван уходит дальше вверх по реке. Снова шум, крик, сборы, пьется чай, курятся папиросы и махорка, снова трещит большой костер, кивают головами, фыркают лошади. Потом раздаются вчерашние крики на лошадей: «А ну! А ну!» — и долго еще перекликаются уходящие и остающиеся на стане. И разом все обрывается, стихает, и снова на стане пахнет только молоком. Жизнь, взбудораженная на одну ночь, опять идет своим чередом. Жужжит сепаратор, оседает в чанах творог, заколачивается в ящики масло.

Денек хмурится. Бык Байкал — приземистый, грудастый, с кольцом в носу — порыкивает печально в лугу. Вчерашняя забитая корова, говорят, была его любимицей. Он скучает, реветь начинает чаще, тоскливее...

Люди смотрят на него издали, из-за поскотины. А он гребет передними ногами землю, швыряет себе на спину и медленно, с остановками, подвигается ко вчерашнему роковому месту. В бинокль хорошо видны его налитые кровью сумрачные глаза. За ним идет крохотный теленок, носом к его хвосту, шаг в шаг, и тоже пытается тосковать. Но беспокоят его клещи, и он, забыв тут же о тоске, начинает оживленно чесать задней ногой у себя за ухом.

Наконец бык приходит туда, в тупик, долго нюхает,

ссутулившись, и ревет еще безысходнее. Крик его одиноко отдается в лесах, беспокоя коров, телят, да и людей...

— Байкал! Байкал! — кличут его, стараясь отвлечь от воспоминаний. Но он не слушает.

Уезжаем назад в Койду мы ночью, и нас, так же как утром караван, провожают доярки и телятницы со стана, долго стоят на обрыве, долго кричат приветственное и машут платками.

Небо заволочено тучами, река петляет, ветер дует то навстречу, то в корму, то с бортов. Снова на винт наматываются водоросли, мотор глушат, моторист засучивает рукав, лезет под корму очищать винт, а у председателя, который опять сидит на руле, появляется смущенная улыбка. Тишина обступает нас в эти короткие минуты, лодка беззвучно плавится по течению.

Ночь по цвету глухая, много облаков, и все серые, темные, низкие. Только кое-где на северо-западе и на севере в тучах разрывы. И в эти разрывы видны высочайшие облака, отделенные от нижних огромной голубой массой воздуха. Они озарены солнцем, которое стоит сейчас неглубокое за горизонтом. И уже в разрывах между теми облаками на неимоверной высоте сияет нежное голубовато-розовое небо.

Я смотрю на эти ослепительные пятна вдали и вверху, одни дающие свет земле и воде, и мне чудится в них что-то непорочно чистое, снежное, как бы Северный полюс, предел всего, что есть на земле, прозрачный солнечный чертог, что-то необыкновенно отдаленное от меня, от моих мыслей и чувств,— то, к чему мне надо идти всю жизнь и чего, может быть, так никогда и не достигнуть.

6

В дорогу, в дорогу! Я хочу говорить о дороге.

Отчего так прекрасно все дорожное, временное и мимолетное? Почему особенно важны дорожные встречи, драгоценны закаты, и сумерки, и коротки ночлеги? Или хруст колес, топот копыт, звук мотора, ветер, веющий в лицо,— все плывущее мимо назад, мелькающее, поворачивающееся?..

Как бы ни были хороши люди, у которых жил, как бы ни было по сердцу место, где прошли какие-то дни, где думалось, говорилось, и слушалось, и смотрелось, но ехать дальше — великое наслаждение! Все напряжено, все ликует: дальше, дальше, на новые места, к новым людям! Еще раз обрадоваться движению, еще раз пойти или поехать, понестись — неважно, на чем: на машине, на пароходе, в телеге, на поезде ли...

Едешь днем или ночью, утром или в сумерках, и все думается, что то, что было назади, вчера,— это хорошо, но не так хорошо, как будет впереди.

А как коротки и грустно-сладки прощания, когда хозяин или хозяйка выходит на порог и ты пожимаешь им руки и торопливо говоришь: «Даст бог, свидимся!»— хотя знаешь, чувствуешь сердцем — где уж, велика земля, далека дорога!.. Попрощался и забыл, забыл, поглощенный дорогой, но не совсем забыл — все потом вспомнится, придет и вновь захватит жаждой новых встреч и прощаний.

«Агой»! — «Прощай!» — говорили в старину моряки земле.

«Агой! Агой!» — говоришь и ты, взбираясь на подножку вагона и последний раз оглядываясь на станцию. «Агой!» — говоришь, садясь верхом, умащиваясь в сед-

ле, уже чувствуя под собой перекатывающиеся мягкие толчки нетерпеливо переступающих лошадиных ног. «Агой!» — твердишь, видя отходящую пристань, людей, машущих тебе шапками и платками, слыша в глубине пароходного корпуса непрерыную мощную дрожь двигателя.

Какими только не бывают дороги! Тяжелые, разъезженные, грязные, пыльные, гладкие и чистые — блистающие сухим глянцем асфальта широкие шоссе, каменистые тропы, отмелые песчаные берега, где песок тверд и скрипуч, дороги древние, по которым еще татары скакали, и новые, с крашенными известью километровыми столбиками, дороги полевые и лесные, сумрачные даже в солнечный день.

И как трудно бывает в дороге! Сидишь скорчившись в кузове трясущейся машины между бочками с горючим, проводишь ночь на твердом вибрирующем сиденье речного катера, бьешься до синяков в телеге, задыхаешься от жары в металлическом вагоне, ночуешь на лавке при тусклом свете на какой-нибудь захолустной автобусной станции...

Но все проходит — усталость, злость, бешенство, нетерпение и тупая покорность от дорожных трудностей, не проходит вовеки только очарование движения, память о счастье, о ветре, о стуке колес, шуме воды или шорохе собственных шагов.

Мы уезжаем из Койды. День, как нарочно, отменно хорош, солнце светит в полную силу, с моря дует легкий ветер, идет прилив, река наливается, мутнеет и тужеет.

Моторист крутит ручку, мотор хлопает и начинает биться ровно и приятно по тону. Как хорошо слушать

его после того, как два раза мучил нас по восемь часов оглушительно-звонкий треск моторки!

На мотодоре есть рубка — будочка ядовито-зеленого цвета, есть компас и штурвал. Капитан — мальчишка лет восемнадцати, курносый, с круглыми глазами — забирается на свой насест над мотором. Моторист идет на нос, берется за якорный канат. Мы ему помогаем и втаскиваем на борт мокрый черный якорь. Потом моторист идет на корму, и мы трогаемся.

Опять плывут мимо, теперь уже в обратном порядке, избы, склады, колья для неводов, карбасы, кресты на кладбищенском бугре... Тянется по обеим сторонам низкий и ровный, будто срезанный сверху ножом, берег, все раздаваясь в стороны, открывая постепенно взгляду море.

Нам нужно пройти морем тридцать пять километров до Малой Кедовки, оттуда — берегом четыре километра до Большой Кедовки, где нас должна ждать машина. Приливы и отливы чередуются здесь каждые шесть часов, и вот во время отлива по песчаному берегу уходит машина с рыбоприемного пункта.

Погода установилась окончательно, ветер нам ходовой — всток, и помогает еще сильнейшее в этих местах отливное течение. В Мезенской губе вообще очень сильные приливы и отливы — до четырех метров. Рейсовые пароходы простаивают по многу часов возле острова Моржовец, так как идти против течения в Мезень — значит сжечь лишних тонн тридцать угля.

Море гладко, на горизонте какой-то лесовоз, мотор наш мягко постукивает, поплевывает паром, капитан сидит в своей будочке, а мы устроились на спутанных канатах на носу, теснясь из-за маленького карбаса, который вытащили на борт перед отходом.

Часа через три мотор стих, капитан плюхнул в воду

якорь, на крошечном карбасике нас свезли по очереди на берег, дора вновь застукала и пошла обратно, а мы остались одни на пустом влажном и ровном песке, обнаженном отливом.

Вода, бывшая там, где мы идем, какой-нибудь час назад, заровняла, загладила все следы, и кажется — мы первые люди на этом диком берегу, пустынной полосой тянущемся в обе стороны. Одни чайки взлетают при нашем приближении, начинают кругами сопровождать нас, зловеще крича, скашивая на нас круглые головки с длинными клювами.

На широкой полосе песка показывается на горизонте точка, быстро растет и через минуту превращается в мчащуюся автомашину-грузовичок. Грузовичок останавливается, мы радостно забираемся в кузов, машина делает широкий разворот и мчится назад, в сторону Майды.

С гулом и свистом пролетаем мы мимо голых кольев от ставных неводов, мимо пустых тонь, перескакиваем через оставшиеся после отлива лужи, через ручейки, часто забирая то налево, то направо, наискось по всему огромному пространству отмелого берега.

Справа — море с темными полосами обнажившихся кошек, с чайками, грузно сидящими и лениво взлетающими. Слева — берег, все повышающийся, обрывистый, голый, с угрюмыми стариковскими складками, с белыми пятнами лепящихся на обрывах цветов, похожих отдаленно на одуванчики.

Скорость великолепная, ход гладкий, как по хорошему шоссе,— движение стремительно и необычно, неожиданно здесь, на Белом море. И в то время, как машина, минуя мысы, тони, колья от неводов, несется все вперед, оставляя сзади черный резкий след на металлической влажности песка, невольно начинаешь ду-

мать о горькой нужде всех берегов Белого моря в хорошей, настоящей, асфальтированной дороге.

Главная особенность всех этих мест — отсутствие быстрой и удобной дорожной связи с центром. Можно жить в ста километрах от Архангельска и чувствовать себя совершенно отрезанным от всего остального мира. Сообщение морем крайне ненадежно и непостоянно. В шторм пароходы не останавливаются, не приворачивают, как говорят здесь, и карбасы в море не выходят. Едущим в какую-нибудь деревню на Зимнем берегу приходится делать иногда по три конца, то есть идти до Мезени и оттуда опять до своего места. Если же шторм продолжается, то приходится ехать до Архангельска, а из Архангельска со следующим рейсом опять в свою деревню.

Нужно еще учесть, что море спокойно месяца три в году. В остальное время — весной и осенью — погода неустойчива, а шторма здесь затяжные, по неделям и более.

Вот выписки из моего дневника осенью 1958 года:

«*7 сентября.* Вчера и сегодня на море шторм. Ходил вчера по берегу, мело песок, как поземку. Мутное море, низкое осеннее небо — больше ничего. Ветер Ю-З. Не знаю, сколько баллов, но сильный. Вечером вчера усилился чрезвычайно, бил в стену дома, где я живу. Стекла звякали, трясся пол и стол, лампа мигала...

8 сентября. Сегодня погода разошлась, солнце, но ветер не утих, и море по-прежнему бушует. С утра на тони должны были идти доры, но не пошли, и я опять в деревне.

10 сентября. Рано утром шел сильный снег и потом град. Рыбаки томятся дома, председатель хмурый — несколько дней уже нет никакой связи с тонями, ни карбасы, ни доры не ходят. Прошел из Мезени паро-

ход. Два катера было попытались к нему выбраться, но дошли только до устья реки. Говорят, смотреть страшно. Все люди вернулись, будут ждать следующего рейса через неделю.

19 сентября. Пароход опять прошел мимо, по деревне стон стоит, и я решил идти в Архангельск пешком. Но на море еще волнение, и доры не выходят, уехать нельзя, а мне нужно доехать на доре до тони Спасской (20 километров) и оттуда уже продолжать путь пешком, чтобы в первый же день дойти до Зимнегорского маяка.

20 сентября. Я все еще в деревне, погода не устанавливается, доры не ходят. Заведующий рыбоприемным пунктом сказал, что, мол, если взводень опадет, то доры пойдут, а не опадет — и не пойдут. А если неделю не опадет?

— Ну дак что ж, и неделю не пойдут...

На рыбоприемном пункте чисто и тихо. Давно никто не доставлял сюда рыбу».

Итак — дорога! Из-за отсутствия дорог жизнь теплится здесь только по берегу моря. В глубь материка никто никогда не ходил из-за болот, а дорог нет. Громадное количество леса на материке гибнет напрасно, перестаивает, засыхает, падает и гниет. В лесах громаднейшие буреломы, через которые трудно перелезть, прорвавшийся из Двины лес и выброшенный морем по берегам тоже большей частью пропадает. В лучшем случае им пользуются местные колхозы. Да и то — собрать и отбуксировать его на дорах очень трудно и сложно.

Уже на Оке, перебирая литературу о Севере, я наткнулся на интересную книгу А. Жилинского «Крайний Север» (1919), выдержкой из которой я и закончу свои заметки о дороге:

«Бездорожье — первая главнейшая причина неорганизованности Канинско-Чёшских промыслов и ничтожности их современных уловов в сравнении с имеющимися рыбными запасами. Если проследить затраты промышленника на проезд и другие расходы, сопряженные с промыслами при настоящих условиях, то получается, что на дорогу уходит значительная часть заработка промышленника, а одновременно ему приходится претерпевать бесчисленные мытарства.

Необходимо безотлагательно оборудовать новый прямой путь от Мезени до Архангельска параллельно Зимнему берегу Белого моря. Протяжение этого пути достигает всего 200 верст, взамен ныне существующего кружного неблагоустроенного пути около 500 верст. Об устройстве нового пути Мезень — Архангельск население Мезенского и Печорского уездов тщетно ходатайствует уже около тридцати лет. В 1906 году этот путь был даже временно открыт для движения, однако вскоре по нему прекратилось всякое движение, вследствие полной неблагоустроенности. Путь до сих пор остается заброшенным. Между тем он будет иметь огромное значение в жизни всего промыслового Севера: пройдет по местности, покрытой прекрасным лесом, бесчисленными рыбными озерами и вполне пригодной для успешного заселения, даст возможность скорой и дешевой доставки по нему к железным дорогам всевозможных продуктов северных промыслов на внутренние рынки.

Развитие рыбных и звериных промыслов Канинско-Чёшского района, успешность его заселения и всестороннего промышленного развития зиждется исключительно на создании здесь путей сообщения. Без них эта окраина обречена на застой».

7

Ничего здесь нет нашего среднерусского.

У нас летом сенной дух по лугам, дороги среди ржи или пшеницы, яблоки и вишни в садах, равнинные извилистые речонки, частые деревни, гуси ходят по дорогам, ночные зарницы, пыльные автомашины и комбайны, запахи клевера и ромашки...

И здесь — глянешь вдруг из окна, увидишь угол амбара, картошку под окном, дрожащий теплый воздух над щепной крышей, и дрогнет сердце — повеет нашей Русью.

Но переведешь взгляд дальше, и уже звучит деревянная музыка Севера, видишь изломанные линии изгородей, бегущих вверх и вниз, дворы, бани, дома, расположенные ниже и выше, под разными углами к тебе, старые, сизые — и новые, с висящим из пазов мхом, деревянные гати-мостовые и дощатые мостки в проулках, а дальше к горизонту — невысокая пустынная гряда холмов, почти плоская тундровая равнина и река, странно текущая вспять в часы прилива.

И пахнет здесь иначе — пахнет карбасами, просмоленными их бортами, пахнет сетями, и песком, и мохом, и рыбой, и тюленьей кожей... И о наших соловьях, землянике, о пыльных текучих дорогах, о яблоках и вишнях знают здесь только по песням.

Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим,— древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита и забыта, а здесь отдается еще, как эхо, или белые ночи и море, раскинувшееся за холмами?

Да и то сказать, у нас земля, здесь море, глушь, редкие поселения, порядки, заведенные еще прадедами... И экономика здесь не та, что у нас, на ином стоят, другим живут.

Давно хотелось мне выяснить экономическую основу здешних колхозов, и вот представился случай. Мы сидим в правлении — председатель колхоза, бухгалтер, несколько колхозников, все курят, громко говорят, перебивая, поправляя друг друга, поминутно ныряя в пухлые папки ведомостей, справок и отчетов. Я сухо передаю сейчас то, что записал тогда среди гомона, курения, обсуждений и поправок каждой цифры в ту или другую сторону.

После недавнего укрупнения в колхоз «Освобождение» входят две деревни Койда и Майда, отстоящие друг от друга на шестьдесят километров по берегу моря.

В колхозе 200 хозяйств, примерно 110 в Койде и 90 в Майде. На эти 200 хозяйств приходится 379 трудоспособных от 16 до 55—60 лет: 159 мужчин и 220 женщин.

«Освобождение» — рыбацкий колхоз, но есть и животноводство (коровы и олени). Оленей пасут в тундре ненцы, работающие в колхозе по договору, коров на все лето отправляют на отгонные пастбища в пятидесяти километрах вверх по реке Койде. Животноводство носит здесь подсобный характер, хотя и играет в общих доходах колхоза значительную роль. Главное же, конечно, рыба — ею тут живут, она здесь основа основ, и о ней всегда особая речь.

Колхоз располагает восемнадцатью тонями по берегу и, кроме того, арендует у рыбокомбината и МРС (моторно-рыболовецкой станции) три судна — один СРТ (средний рыболовный траулер) и два сейнера. Суда уходят на сезон в Северную Атлантику и в Барен-

цево море на так называемый глубьевой лов трески и селедки.

15 колхозников работают матросами на СРТ, 16 человек — на сейнерах. На тонях занято 68 человек, остальные работают мотористами на мотодорах, трактористами, электриками, механиками и на сельскохозяйственных работах.

В 1930 году только что организованный колхоз выловил 4972 центнера рыбы. План 1960 года — 18 680 центнеров.

Вот промысловые породы рыб: сельдь, треска, палтус, навага, камбала, семга и т. д. Уловы их по плану распределяются следующим образом: 7000 центнеров сельди, 6800 центнеров тресковых, 650 центнеров наваги, 100 центнеров камбалы, 330 центнеров семги и 3730 центнеров морского зверя — тюленя, белухи, который тоже входит в план наравне с рыбой.

Рыбаки, занятые в Северной Атлантике и Баренцевом море, получают за сезон — с ноября по июль — от 25 до 30 тысяч рублей на СРТ и по 8—9 тысяч — на сейнерах[1]. Рыбаки, занятые на прибрежном лове, или тонщики, как их здесь называют, зарабатывают по полторы-две тысячи рублей в месяц.

Годовой доход, полученный колхозом, распределяется следующим образом: 1713 тысяч идет на зарплату колхозникам; 470 тысяч колхоз платит за износ орудий лова; 833 тысячи отчисляется рыбокомбинату и МРС в виде арендной платы за суда, 96 тысяч — на оплату правленческого аппарата.

Остаток в виде чистого дохода составляет 477 тысяч рублей. На эти деньги колхоз развертывает капитальное строительство, приобретает машины и т. п. За по-

---

[1] Все расчеты здесь и дальше — в старых деньгах.

следние годы, например, колхоз приобрел две электростанции, одну мощностью в 49 киловатт (в Койде) и другую в 20 киловатт (в Майде). В Койде построена больница на десять больничных и пять родильных мест и приобретена аппаратура для больницы. Построены, кроме всего, школа и клуб в Майде.

Года два уже колхоз собирается приобрести сейнер и никак не решится. Дело не в том, что сейнер дорогой (а он очень дорог: 2—4 миллиона рублей!), а в том, что колхоз не располагает пока кадрами. Для сейнера же нужны специалисты: капитан, штурман, механики, радисты. Надо думать, что сейнер будет все-таки скоро куплен, и, может быть, не один, и колхоз избавится тогда от необходимости платить арендную плату рыбокомбинату и МРС.

А вот и другая сторона здешней жизни, если продолжать в цифрах. В колхозе 23 коммуниста и 42 комсомольца. Газеты и журналы есть тут в каждом доме. «Правду» получает 21 человек, «Известия» — 18, «Правду Севера» — 36, районную газету «Маяк коммунизма» — 112. Кроме того, выписывают «Огонек», «Смену», «Крестьянку», «Техника — молодежи», «Вокруг света», «Пионер», толстые журналы.

8

«Поход сей представляет человеческому взору огромное, величественное и преузорчатое зрелище. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут вооруженным оком достигнуть пределов пространства сребровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря. Они описывают сие пространство не иначе, как пространство десятков миль, густотой сельдей напол-

ненное. Сие стадо, во-первых, окружается и со всех сторон перемешивается макрелями, сайдой, пикшуями, тресками, семгами, палтусами и многими других родов плотоядными, одна другую теснящими и сверх поверхности моря обнаруживающимися рыбами. Оная окружная черта рыб знатной широты полосу составляет. Но к умножению пространства смешиваются с нею по окружности звери водно-земные: дельфины, акулы, белухи, фин-рыба, косатки, кошелоты и другие из родов китовых. Оные огромные чудовища в смятение приводятся от собственных их мучителей, толпами их преследующих — пильщиков, палашников, единорогов и тому подобных. При таком смятении водной стихии увеличивают представление сего зрелища со стороны атмосферы тучи морских птиц, весь сельдяной ход покрывающих. Они, плавая по воздуху и на воде или ходя по густоте сих рыб, беспрестанно их пожирают и между тем разногласным своим криком провозглашают торжественность сего похода. Сверх сего множества видимых в воздухе птиц сгущается оный водяными столпами, кои киты беспрестанно выпрыгивают до значительной высоты, делают сей воздух от преломления солнечных лучей радужно блестящим и дымящимся, а совокупно от усильного шипения и обратного сих водоизвержений и обратного на поверхность моря падения, буйно шумящим. Стенание китов нестерпимым терзанием, от их мучителей им причиняемым, подобное подземному, томному, но весьма слышному реву, также звуки ударения хвостов их о поверхность моря, сими животными от остервенения производимые, представляют сии шумы странными и воздух в колебание производящими. Сей величественный сельдяной поход, каковым его вообразить возможно, представляет напротив того странный театр поглощения, пожре-

ния и мучения, на котором несметным множеством и более всех сельди истребляются».

Так картинно пишет старинный очевидец о рыбе и «водно-земных» на Белом море. О семге он упомянул мимоходом, зачислив ее в число прочих, окружающих сельдяные стада, хотя рыба эта особенная, главная на Белом море, ставшая, так сказать, гербом, девизом всего русского Севера.

Семга — великолепная, крупная и мощная рыба с темной спиной, серебристыми боками и белым животом. Ловят ее на Белом море только у берегов при помощи ставных неводов или тайников.

Не знаю, правду ли говорил мне старик Пахолов, у которого я жил некоторое время на тоне, но тайну «походов» семги он объяснял очень просто. Семга стоит в ямах, на дне моря, в водорослях, там и кормится. Но в водорослях живут клопы — особые паразиты, которые вцепляются семге под плавники и начинают мучить. Тогда семга идет к берегу и тут, двигаясь вдоль берега, трется о песок, освобождаясь от паразитов. На пути ее хода и ставятся тайники и невода.

Иногда на помощь рыбакам приходит белуха. Я видел этого зверя; он на секунду показывает из воды белую спину — выстает — и снова ныряет. Он охотится за семгой, и она, спасаясь от него, скорее заходит в тайник.

Промысел семги ведется в нашей стране только в Архангельской, Мурманской областях и Карельской АССР. Причем на долю Архангельской области падает больше половины всего улова семги.

Семга ловится по всему Белому морю — в Двинской губе, в Мезенской, Кандалакшской и Онежской губе и на Печоре. Самая лучшая, крупная и нежная семга добывается в Мезенской губе и на Печоре.

Среднегодовой улов семги, идущей на внутренний рынок и на экспорт, составлял до революции примерно 3—3,5 тысячи центнеров. Теперь среднегодовой улов на Белом море и на Печоре составляет 8 тысяч центнеров, но качество ее значительно понизилось, много семги сдается колхозами вторым сортом и даже нестандартной, так что Управление рыбной промышленности вынуждено было установить строгий лимит на семгу и, кстати сказать, на навагу и морского зверя — вещь, по сравнению с другими морями, на Белом море неслыханная!

Что же делать, картину, описанную старинным очевидцем и повествующую о великих сельдяных походах, давно уже никто не наблюдал...

Узнав, что в восемь будет полный отлив и что звеньевой Илья Иванович Титов будет осматривать невод на тоне Майдице, мы в пять выходим из Майды.

Жарко. Ветер — от полуночника к северу. Деревня лежит на берегу реки в низине, отделенная от моря грядой невысоких дюн — угорий, как их тут называют. Песок, торф, кочки, лакированные жесткие кустики брусники и кустики побольше, с узкими, с серебристой изнанкой, листьями — карликовая ива...

Долго поднимаемся тропой с дюны на дюну и выходим наконец к обрыву. А когда выходим, видим под собой широкую быструю реку с отмелями и ровным течением, дальше влево светлые песчаные косы с выкинутым лесом, а еще дальше море — пустынное, синее и спокойное.

Спустившись к реке, мы однотонно идем потом по ее берегу, который все левеет, левеет, пока не превращается уж в берег морской.

Отлив. Всюду слюдяно блестят мелкие лужи, песок гофрированный со следами чаек, море шипит, где-то далеко, и там над чем-то вьются чайки, присаживаются и опять взлетают.

Направо над морем, горизонт чист и блестящ от солнца. Налево, за обрывистым песчаным берегом, километрах в тридцати отсюда горят леса, и дым, похожий на облака, медленно восходит к небу и, как и облака, имеет разные оттенки — от рыжего до голубого.

Титов — пожилой, небритый, худощавый, с изможденным лицом, но почему-то довольный — встречает нас у своей тони. А тоня его — маленькая избушка о двух окнах: одно на море, другое вдоль берега, на юг. Рядом с тоней избушка еще меньше, такая, что, кажется, и повернуться в ней негде. И уже подле той избушки стоит, высоко вознесенный, покосившийся восьмиконечный крест, каких множество я видел по берегам Белого моря. Загадку их никак не мог я разгадать и думал сначала, что это могилы утонувших и отданных морем в этом месте, потом, что это нечто вроде церкви — не пням же было молиться во время долгих сидений на тонях! — но Титов тут же объяснил мне дело:

— А это, малой, в старину отцы-ти наши да деды, как пойдут, значит, зверя промышлять, только на бога и полагаются. Такая уж добыча раньше была — в море да на льдине, да еще ветер падет горний, на бога одна и надежа... Так где вынесет на берег с добычей, со зверем то есть, там, по обещанию, и крест поставят, вот и здесь поставили и часовенку сладили — вон видишь, избушечка, а у нас в ей ледник сейчас.

От самой почти тони в море уходит гряда кольев с сетью на них, и уже в море, метрах в ста от границы песка и воды, что-то сложное, заштрихованное

многими сетями — самый невод. Нам сразу хочется и осмотреть его, но Титов зовет в дом.

— Рано еще,— говорит он, радостно подмигивая.— Пойдемте в избу, поговорим, побеседуем, а как вода западет, так и самый наш час придет, никуда не денется...

В избе чисто, хорошая печка, кипит чайник, а на стол накрывает милая рыбачка, с грустной, приятной улыбкой слушает наши вопросы, ходит, прихрамывая, по избе, достает стаканы, режет хлеб, усаживает нас. Зовут ее славно: Пульхерия Еремеевна Котцова. Вообще здесь в ходу имена, которых у нас и не встретишь: Анфия, Ульяна, Евлампий, Зосима...

— Вот и побеседуем сейчас! — радостно говорит Титов и ставит на стол бутылку, и мы сразу понимаем причину его хорошего настроения.— Я ее так не люблю, а вот пуншик уважаю,— говорит Титов, подразумевая под пуншиком водку, разбавленную наполовину крепким горячим чаем.— Вы меня спрашивайте, я вам все обскажу, потом можно написать, как обскажу про наше дело...

— Как у вас тут ветры называют?— спрашиваю я для начала.

— А вот слушай! — Титов прихлебывает пуншик, двигается по лавке и закуривает. Кофейные глаза его радостно блестят.— Вот, скажем, так, начнем с севера. Север — он так и будет север. Это ветер дикой, с океана холодный и порато сильный! Дальше идет полу́нощник, это тебе будет северо-восток. Этот тоже дикой, еще, пожалуй, похуже севера. Пойдем дальше. Дальше будет всток, восток значит. А еще обедник — этот как бы юго-восток. Эти ветра ничего, хорошие... Дальше будет летний, южный, с гор идет, волон у нас возля берега почти не дает, этот тоже ничего. Шалоник,

юго-запад, тот днем дует, ночью стихает, так и знай! Запад — он и по-нашему запад. Ну и последний тебе ветер — побережник, как бы сказать, северо-запад. Тот дикой, холодный и взводень большой роет, худой ветер!

Он приподнимается и долго глядит в окно на море, на невод, на садящееся солнце.

— Солнце красно с вечера, рыбаку бояться нечего,— привычно складно бормочет он.— Солнце красно поутру, рыбаку не по нутру. Вот как у нас! Чего тебе еще рассказать?

— Вот,— говорю,— у вас плакат висит о социалистическом соревновании. Но ведь рыба-то от человека не зависит? Мы сейчас сидим вот, ждем, хорошо — будет рыба. А как не будет? Какое же может быть соревнование?

— А очень даже замечательное! — радостно говорит Титов и прихлебывает пуншик.— Конечно, рыба не пойдет, так уж тут ничего не сделаешь. А вот, скажем, пал шалоник или там полуношник, другой рыбак нерадивый сейчас тебе невод на берег выгребет и сидит, штаны сушит. Так? Ну, а, скажем, я в плане заинтересован — вон на нашу гоню пятнадцать с половиной центнеров плана, так мне надо обязательство перед государством выполнять? Ну, я штаны сушить не стану. А может, она, матушка,— закричал он,— может, она как раз и подходит в волну-то! Сам помокну, товарищи мои помокнут, да вдруг и возьмем в непогоду-то самый богатый улов! Вот тебе и социалистическое соревнование. Теперь понял?

— Понял,— говорю,— расскажи теперь про рыбу...

— Про рыбу можно,— соглашается он и опять смотрит в окно, даже бинокль берет.— Слушай про рыбу...

Но в эту минуту снаружи рождается высокий зудя-

щий звук, забирает все выше, как от напряжения чего-то, и смолкает.

— Ветер?— догадываемся мы.

— Не должно быть,— сомневается Титов и слушает.— Это, никак, машина бежит...

Он выходит, настежь оставив дверь, и тут же возвращается.

— И впрямь ветер,— соглашается он.— Не видать машины-то.

— Хорошо, что машина у вас бегает,— говорю я, вспоминая гул и свист скорости, с какой мчались мы в Майду.

— А! — рассеянно отзывается Титов.— Чего хорошего? Она ржавеет вся... Вода морская, едкая, так и проедает все части.

Внезапно он оживляется и смеется даже, берясь опять за свой пуншик.

— Этак-то было у нас две машины, да на одной работал шофером мезенский, а мезенские — пья-ницы!

Титов восторженно крутит головой.

— Так-то поехали мы раз с ним, надо было мне кой-чего свезть, сговорились за бутылку коньяку. Едем мы, он одной-то рукой правит, а другой бутылку-ти раскрутил да прямо с горлышка всю и вылупил, и мне не оставил! Жадный попался шофер, сам-от все и выпил. А дверца у него плохая была, не держалась совсем, вот мы едем, он баранку-ти свою крутит туда-сюда, лужи объезжаем, один раз так-то вертанул да из машины и выпал. Выпал, а я остался да прямо в море и поехал на всей скорости. Чего тут было!

Титов хохочет, смеется своей белозубой тихой улыбкой Пульхерия Еремеевна, смеемся мы, представляя эту картину...

— Вода через кабину, шипит кругом, мотор заглох,

она и стала. Выстал я, гляжу, шофер бежит, протрезвел, а тем временем прилив шел, так ее и залило, потом когда выташшили, так она прахом и рассыпалась, вода всю съела. А шоферу так и надо! — несколько неожиданно заключает Титов.— Не пей один, не жадничай!

Некоторое время мы молчим, потом я напоминаю Титову про рыбу, про семгу, о которой я хоть и знаю уже немного, но хочу еще послушать.

— А! — говорит Титов.— Ну слушай... Вода у нас кроткая. В Койде вода плохая, быстрая сувои страшенные, а у нас тут кроткая. В большие воды, то есть в полнолуние, быват так метра три с половиной. А в новолуние и на убыли — тогда называются малые воды — метра на два. Вон видишь невод-от? На шесть часов он под водой находится, и в эти шесть часов заходит в него рыба, да быват, и зверь заходит. А потом невод-от обсыхает, рыба-ти вся на песке оказывается, мы ее и обираем. Понял?

За семгу, котора первым сортом идет, плотят нам по десяти рублей с килограмма, а если сдаем с перевыполнением плана, то и по двенадцати. Считай, раз в десять дороже любой рыбы! Семга — рыба дивная, и я так считаю, что лучше ее нет по всей земле, так ли я говорю? Рыба она умная и знает свой закон. Так чтобы по морю без толку болтаться, это у ней нет. А идет она походами. Зимой-то у нас не ловят, и не берусь тебе сказать, как и где она зимует. А зимой леду много у берега, и тогда мы на зверобойке. На тони выезжаем в начале июня. И вот в начале июня начинает нам идти семга.

Ты небось думаешь — семга и семга... А вот и нет! Ей много разных сортов, и по-разному она ходит. Первый поход ей начинается с начала июня, и называется она залетка — это семга крупная, сильная, жиловатая.

С десятого июня и до Прокофьева дня, то есть до двадцать первого июля, идет все межень, мелкая семга. С Прокофьева до первого Спасу, то есть по-теперешнему до четырнадцатого августа, может идти, но не каждый год такая семга — черная рыба. Эта уже будет покрупнее межени. А со Спасу и до конца октября, пока лед не появится, идет осенняя семга, самая крупная и постоянная, и это называется главный поход. Понял?

Он опять берет бинокль, смотрит пристально в окно и вдруг кричит:

— Роется рыба-ти, роется!

Кто в сапогах, кто босиком, высыпаем мы на берег и почти бежим вдоль перемета на кольях к неводу. Солнце садится, воды по щиколотку, она вся гладкая, уснувшая, вдали только за кошками ворошатся мелкие гребешки, да в неводе что-то бьется, поднимая брызги, молниеносно мечется из конца в конец.

Мы пролезаем в горло невода, и тут только замечаю я в руках Титова и Пульхерии Еремеевны толстые короткие палки и понимаю значение этих палок.

— Стойте! — кричу я.— Дайте снять, не бейте!

У меня киноаппарат, вокруг меня высокой стеной сети невода, колья, заходящее солнце, море вдали, море под ногами, напряженные фигуры рыбаков в мокрых сапогах внутри невода, а в мелкой воде кругом — кипение, и плеск, и брызги в лицо.

Попалось на этот раз много горбуши и несколько крупных семг. Семги стоят спокойно, как бы недоуменно, и только, когда наклонишься к ней, она мощным ударом хвоста окатывает тебя с головы до ног и отпрыгивает на несколько метров. Зато что творится с горбушами! Они пересекают по многу раз небольшое пространство невода, вздымая темными спинами кас-

кады переламывающейся воды, они обезумели от ужаса и отчаяния, бьются и кидаются на сеть.

Я торопливо снимаю, стараясь, чтобы брызги не попали в объектив, рыбаки, не выдержав, начинают чекушить рыбу, ударяют ее раз за разом по голове, и рыба покорно сникает, но тут же из-под сапог у них вырывается другая, и разом еще живые рыбы приходят в движение, шипение и плеск стоит невероятный, и кричат хищно, и кружат, и нервно садятся на колья над нами чайки.

Оглушенную рыбу сносят и складывают на носилки и в корзину, я снимаю еще и это, потом рыбаки нагружаются, мы им помогаем, и все вместе, согнувшись, вылезаем через горло невода наружу. Пока я снимал, а рыбаки били, вода совсем ушла, и мы теперь на обсохшем дне, кругом валяются ракушки, клочки водорослей, пряно и сильно пахнет потаенностью, и солнце стало еще ниже и краснее.

С носилок шлепается на песок семга, мы останавливаемся, и Титов, пользуясь передышкой, слегка запыхиваясь, объясняет мне устройство невода:

— Эвон видишь, сам берег-от? От берега на кольях идет прямо в море стенка, по-нашему завязка, бережная завязка. Понял? Идет она к самому неводному горлу, видишь?

Показывает мне круглый, вздетый на колья невод, похожий на огромный сачок, на загородку со входом со стороны берега.

— От горла, эвон видишь, вроде как и завязка, только коротенькой, и называется левый откос. Так же и в правой стороне — правый откос. А от правого откоса, вон где чайка села, уходит в море отбой, метров сто ему будет...

Он затаптывает окурок и смотрит на горбушу.

— Горбуша у нас новая рыба, первый год ловится. Эта рыба глупая, походов у ней нету, так дуром и валит. Вкусная рыба, да вот пока не позволяют ее сдавать — и плана ее нету,— велят выпускать.

— Чего же не выпускаете?— спрашиваю.

— Так и выпускаем, когда много ее зайдет. А когда мало, так для себя берем, да и то если какая побьется или хомут себе сделает (долгое время помучится в ячее сети), куда ж ее выпускать, все одно погибнет...

(Я узнал потом, что несколько лет назад в реках Кольского полуострова была произведена инкубация оплодотворенной икры горбуши, привезенной из низовьев Амура. Мальки скатились в Баренцево море, оттуда на другой год пришли в Белое, разошлись по всем его берегам, выбирая себе места, исследуя рельеф дна. Чувствует она здесь себя превосходно, во всяком случае в той, которая попалась в невод, не было заметно ни малейших признаков вялости — наоборот, очень крепкая, стремительная и большая уже рыба.)

— Дурная она,— опять повторяет Титов.

Это он потому так говорит, что горбуша не акклиматизировалась окончательно и не выработала себе «походов», как семга.

Рыбу несут на ледник, мы приходим в дом. Пульхерия Еремеевна ставит на печку уху, окна слегка отпотевают, мы снова сидим за столом, Титов потягивает свой пуншик, отдыхает. Солнце уже коснулось горизонта и красно, красно... Чайки поднимаются над пустым неводом, держатся некоторое время неподвижно на раскинутых крыльях и тяжело садятся на колья.

Титов начинает рассказывать о зверобойке. Он уже опьянел немного, говорит, говорит, а солнце садится... Я беру бинокль и выхожу на берег. Вправо и влево бесконечная песчаная широкая полоса, резко подчер-

кнутая отодвинутым к обрыву плавником, сухим, светлым, обглоданным морем. Многие бревна стоят торчком, как после сотворения земли, и на них любят отдыхать чайки.

Навожу бинокль на солнце — оно мрачно-красное и, срезанное наполовину горизонтом, похоже на громадную каплю раскаленного жидкого металла. Капнула капля, расплылась по морю, дрожит и потихоньку тонет, окутываясь красными облаками.

Приходят мне на память рассказы о зеленом луче, ярко блистающем будто бы иногда в последнюю секунду, когда солнце совсем уходит, и я терпеливо жду — не увижу ли? Жду десять минут, пятнадцать, двадцать... И вспоминаю закаты, которые видел на Черном море,— там солнце проваливалось мгновенно, на глазах, и сразу наступала ночь со звездами.

Звенят комары, молча, без крика, летят чайки, темные на красном небе, садятся на дальнюю кошку и замирают там — засыпают, наверное?

Начался прилив. Волны шумят значительно ближе, и в неводе опять вода, скоро она совсем покроет его, и там, где теперь песок и я, ночью будут ходить семги, натыкаться на сеть, идти вдоль нее в сторону моря, стараясь ее обогнуть, и будут попадать в горло невода и кружиться, кружиться там, бессильно и настойчиво, в поисках выхода, пока вода снова не спадет и не придут рыбаки и не станут их бить и класть в корзину.

Солнце наконец садится. Долго и мертво мерцает оно последней искрой, верхним своим окончанием, и я все смотрю на него в бинокль, даже руки начинают дрожать,— и эта последняя искра коричневеет и гаснет. Остается одно остывающее небо на том месте, гряда прозрачных облаков и широкая краснота. Остается космический свет над головой, остается белая ночь с ти-

шиной, с безветрием, со слабым ропотом волн приближающегося моря.

Я иду в избу. Все полегли на лежанках, накрылись чем-то, хотят заснуть, но не спят еще. А у светлого окна сидит Титов с уже остывшим пуншиком и, завидев меня, начинает опять говорить про зверя и этим самым как бы и про свою жизнь, прошедшую на этом берегу.

— Тюлень,— бормочет он сонно.— Тюлень... тюлень... Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится,— это тебе зеленец. Зеленец это... зеленец...

А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белёк, тоже маленький, белёк-то, а глаза как луковица, большие да черные дак...

А потом белая шерсть сходит, показывается черная, а так еще вроде серая она, шерсть-ти, серая, и называм мы его хохляк... Хохляк, сказать тебе...

Потом пятнышки идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас серка, серочка... И это все происходит на первый год круговращенья.

А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-ой... И называется серун... А? Ха-ха-ха... Серун... А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? Не серун — лысу-ун! Лысун, а самка — утельга. Утельга...

Длится ночь, давно спит Пульхерия Еремеевна, и милое во сне у нее лицо, давно спят все, дальние кошки заливаются водой, и чайки, совсем черные на светлом, сонно поднимаются, и летят к нам, и рассаживаются на обрывистом берегу, на торчком стоящих бревнах, и снова засыпают.

— Я не сплю ночью-ти, не сплю! — говорил нам раньше Титов.

— Не спит, не спит! — подтверждала и Пульхерия Еремеевна.

— На час глаза смежу и опять все гляжу, какая погода, ветер какой — говорил радостно Титов, вроде бы гордясь такой своей способностью.

И когда мы все разлеглись и места не было где лечь, но мы все-таки предлагали ему:

— Ложись, дядя, ложись! — Он в ответ бормотал:

— Спите, спите... Я не сплю, я так посижу, пунщик вот у линя... Пятеро нас на тоне-то, да сейчас квартальный план перевыполнили, покосы начались, рыбаков всех сняли дак, вдвоем мы теперь с девушкой вот, с Пульхерией Еремеевной, вдвоем... Какой сон, не сплю, сижу у окна, на море все гляжу...

А теперь и он заснул, тяжело, голову на стол, лицо беспомощное, похрапывает, тепло в избе, свет из окон. Беспокоит это, думается о чем-то. А Титов спит крепко и сны, наверное, видит. Какие ему сны снятся?

Утром опять солнце, опять мелеет море и уходит, обнажая песчаный берег, и невод. И в неводе снова плеск и шум, солнечные брызги, и среди брызг и плеска — рыбаки в мокрых одеждах, с мокрыми палками в руках. И бьют, бьют, чекушат, усыпляют рыбу, стаскивают в корзины, на носилки...

А еще через час заходит в дом ранний гость, глухонемой с лицом Иванушки-дурачка, с прелестной радостной улыбкой, от которой расплывается у него нос. Жестами, мычанием, лицом, на котором горечь и боль утраты, показывает, как горят и горят леса где-то на юге, и как дым застилает солнце, и как самолеты летают тушить, но неудачно.

Потом заходит небрежный парень-возчик с холо-

дильника, с рыбоприемного пункта. Его угощают семгой, морошкой, но он где-то раньше, наверное, наелся, ковырнул только, посидел, пошутил. И начали грузить на лошадь выловленную рыбу, недавно так яростно бившуюся, прошедшую перед этим тысячи миль, побывавшую в каких-то глубинах, в тайне, а теперь беспомощную, мертвую, но еще гибкую и свежую, которая через какой-нибудь час успокоится в чанах с рассолом, во тьме, на льду. Через час вынут у нее жабры, сделают на брюхе два «кармана», осмотрят, ощупают, взвесят, запишут за этой тоней, за Титовым и Пульхерией Еремеевной. А потом она будет солиться, плавать во тьме, будто бы в родной своей стихии, выдерживаться твердой, как полено, от холода, пока не уложат ее и тысячи ей подобных в огромные бочки килограммов по триста-четыреста тесным рядом, кругом, спиной книзу, брюхом кверху, не забьют и не погрузят на пароход и не пойдет она в Архангельск, где ее снова пересортируют и снова забьют, чтобы отправить дальше, в Москву и сотни разных городов — наших и иностранных. И будет, наконец, лежать она в витринах гастрономических магазинов, освещенная люминесцентными лампами, чернея спиной, серебрясь боками и нежно рдея срезом, сочась янтарным соком за прохладным стеклом.

Лошадь привычно трогает, идет рысью по песку, возчик так же привычно кричит что-то непонятное, смотрит поверх дуги в море, вперед на берег, на небо, на все, что перед его глазами, двухколесная тележка бодро катится, отбрасывая короткую тень, превращается постепенно в точку, пока совсем не скрывается за поворотом.

А Титов на прощание говорит, что где-то здесь, между Койдой и Майдой, будут строить аэродром и начнут потом прилетать и опускаться тяжелые брюхастые са-

молеты, и семгу — не соленую, а свежую — будут отправлять на самолетах в Москву и Ленинград.

Представляя себе эту будущую картину быстроты, садящиеся и взлетающие взревывающие самолеты, мы уходим с тони и опять идем по пустому берегу, поглядывая на две четкие колеи и четкие следы копыт, оставленные уехавшей лошадью.

9

Редки деревни на Белом море, и каждая резко отлична от другой — расположением своим и народом. Одни стоят, выбежавши, на самом берегу моря, другие, спрятавшись за увалами — возле реки. Одни больше, другие меньше, погрязнее и почище, повыше домами и пониже... И народ в одних поприветливее, пословоохотливей, в других поравнодушней, как бы попривычней к приезжим.

И каждый раз, входя в новую, неизвестную тебе деревню, глядишь во все глаза, слушаешь и нюхаешь, подмечаешь все мелочи, архитектуру, выражение народа, населяющего этот уголок, напитываешься сразу, все принимаешь к сердцу, чтобы потом вечером равнодушно лечь спать или, наоборот, выйти и ходить, ходить в надежде снова очароваться и с охотой говорить с хозяевами или с соседями, которые зайдут, с удовольствием слушать их, вникать в их жизнь и по возможности понятнее объяснять им свою и зачем ты здесь появился.

И потом, когда уедешь и пройдет год, и два, и три, все будет охватывать слабое волнение при одном звуке той деревни, при воспоминании о ней и хотеться вновь туда, опять увидеть тех людей и узнать все но-

вости. А другие как-то и пропадают вовсе, будто и не был там, не жил...

В Майду входили мы вечером, и едва увидели ее из-за холмов, еще от моря, едва сапоги наши зазвенели по бревенчатым настилам и мосткам, едва вошли мы в первую улицу, как были покорены спокойствием и уютом, излучаемым этой деревней, и уже радостно переглядывались... А нас на первом деревянном перекрестке поджидала группа народу, вглядывалась в нас, а когда мы подошли, все наперебой стали спрашивать, как доехали и не видели ли того-то и не везли ли на машине таких-то вещей. И, поговорив, наглядевшись на нас, стали показывать, как найти заместителя председателя, и советовать, у кого бы лучше остановиться, и говорить нам: «Ну спасибо, вот спасибо-то!» — будто мы бог весть каких радостей и подарков навезли им.

Мы пошли далее по улице, по бревнам, и они музыкально, как ксилофон, звучали под нашими шагами, а по сторонам были изгороди, и огороды, и дома, и прекрасный клуб наверху, и радио играло на столбе возле клуба, был теплый розовый вечер, и раздавались частые удары топоров в разных местах — в деревне строили два или три дома, а новые дома всегда веселят сердце.

Заместитель председателя Бурков налаживал косы, с ним был еще кто-то, и все — на улице среди дивного ансамбля изб, поветей, и съездов, и мостков, и изгородей, и зеленой травы между всем этим деревом — они были озабочены косами, мыслями о сенокосе и деловито совещались о чем-то.

Увидев нас, Бурков одернул розовую рубаху, выслушал нас, поздоровался, тихо улыбнулся и пошел говорить с кем-то, и было похоже, что он — молодой — пошел куда-то к отцу посоветоваться, где бы нас поме-

стить, а мы остались ждать его со своими рюкзаками на траве, курили и осматривались с наслаждением, и нас тотчас окружили ребятишки — тоже особенные какие-то в этой деревне, огромноглазые, со слабым золотистым загаром на тонких ликах.

Бурков скоро вернулся и сказал, что идти можно и что лучше всего остановиться нам у Евлампия Александровича Котцова.

Прекрасный это и старый был дом! В нежилой половине его, служащей как бы преддверием повети, сложены были сырые кирпичи и навалены кучи сухого мха и пахло почему-то очень отчетливо сиренью. Мы вошли направо, в кухню, и застали чаепитие в разгаре. При нашем появлении встала с места и хорошо на нас посмотрела женщина средних лет, а в дальнем конце стола сидел высокий прямой старик и тоже смотрел, улыбаясь, как мы снимаем рюкзаки.

Семьдесят лет было ему, как мы потом узнали, семьдесят лет, но на вид и пятидесяти нельзя было дать — такие густые сивые волосы валились ему на лоб, такое красное здоровое лицо было у него и такое веселье и хозяйственность играли постоянно на этом лице!

Повел он рукой, показывая на комнату позади себя, и мы начали переносить вещи туда, а он тут же приказал нести и самовар к нам и вдруг сам вошел — не вошел! — вполз к нам на коленях, и больно было смотреть, как этот красивый старик, мужественный и веселый, ползает, шуршит и постукивает культяпками своими в бахилах. А он, внимательно и вопросительно посмотрев на нас, тут же выполз и скоро вернулся с полной тарелкой квашеной семги и потом ползал с невероятной быстротой, несмотря на наши протесты, носил стаканы, блюдца, сахар, а женщина — она ока-

залась падчерицей его — тоже бегала и ставила на стол что-то еще и еще...

Чуть свет на другой день уехал он на реку доставать какие-то ремни, которые он утопил. И доставал, и нырял там, и полоскался в ледяной воде чуть не до полдня, вернулся огорченный неудачей, но попутно успел и рыбы наловить. А едва рассортировал рыбу и приказал хозяйке наварить ухи, взялся за косу и часа три постукивал на улице, потюкивал топором и молотком и сделал прекрасную косу-горбушу и тут же наточил ее до остроты бритвы.

На другой день с веселым упорством опять уехал вылавливать ремни, а потом целый день не был дома, работал где-то для колхоза, а приползя домой, и дома работал, постукивал кругом избы.

Пришла к нам жаловаться женщина и поставила нас в тупик. Многодетная мать, она хотела накосить сена для себя, не дожидаясь окончания колхозных покосов, так как двое или трое детей ее работали на пожнях, косили для колхоза, а колхоз все равно, справившись со своими делами, разрешал потом всем косить для себя. Правда человеческая была вроде на ее стороне, и мы уже хотели было поговорить с заместителем председателя, но тут не вытерпел Котцов.

Он слушал, слушал и не вмешивался, так как женщина пришла к нам. Видно было, что он решил быть во всей этой истории нейтральным, но, заметив нашу растерянность и нерешительность, вдруг взвился и заговорил и сказал именно то, что должны были бы сказать мы и что должен был бы сказать на его месте государственный человек.

Во всей речи его колхоз выставлялся на первое место. Он ругал эту женщину, но ругал мягко, он убеждал и доказывал, и приводил примеры, и пускался

в экономические подсчеты. Весь он раскраснелся, не выдержал, сполз со стула и стал перебегать на коленках по кухне, волосы свалились ему на лоб, и вся картина была тем более интересна, что женщина не просто слушала его, и соглашалась — нет, она спорила и тоже очень здраво, но только в ее доводах перевешивала сторона личная, человеческая а в его — государственная, колхозная.

А какая осведомленность во всем, как быстро и уместно напомнил он ей о всех ее достатках, об овцах и корове и о сыновьях, работающих в Атлантике и прекрасно зарабатывающих, и как очевидно становилось и нам и ей, что живет она хорошо, а сейчас просто поторопилась, пожадничала... «Белеюшка!» — называл он ее, тогда как в речах его был яд и была страсть,— «Белеюшка!» — и ни одного грубого, обидного слова не было сказано в их ожесточенном споре, и женщина долго потом сидела у него, и говорили они уж о другом, и ушла она веселая.

Шутник был этот Котцов, веселейший краснолицый старик, выпить любил за компанию необычайно, но совсем мало, и тогда оживлялся еще больше, беспрестанно посмеивался, похохатывал, радовался жизни, радовался, что живет в Майде, что работает в колхозе, что крепок и ясен, несмотря на свои семьдесят лет.

И все не мог я спросить у него про ноги, неловко было, хотя и хотелось. Но однажды за вечерним чаем, накануне отъезда, выбрав хорошую минуту, я раскрыл тетрадь и попросил:

— Расскажи, Евлампий Александрович, как ты ноги потерял.

Он ворохнулся, посмотрел на тетрадь, поправился, укрепился на стуле и начал охотно, будто доклад делал:

— Пиши! Пиши, значит, что Котцову Евлампию Александровичу сполняется в этом самом одна тысяча девятьсот шестьдесятом году семьдесят лет. А рождение его будет двадцать третьего октября...

— Погоди, Евлампий Александрович, ты уж не так официально,— попросил я,— ты уж давай попросту...

— Ага! — Котцов на секунду смешался, потом захохотал и заерзал на стуле: — Попросту? Ну, можно попросту, тогда валяй пиши просто...

Он минуту подумал.

— Это событие произошло такое. Сполнилось тогда мне двадцать лет от роду, парень я был крепкий, хороший, сказать тебе, парень. И все делал как следовает быть. Пошел я раз на зверобойный промысел Белого моря...

Почувствовав, что опять впадает в торжественность, но запнулся на миг, улыбнулся и окончательно сменил тон:

— Пошли мы обыдёнкой... Обыдёнка, сказать тебе, товарищ, это когда утром уходишь, а вечером домой ворочаешься. И вот ушли мы в море далеко, и пал на ту пору ветер горний. А как пал — зашлось у нас сердце, а потому зашлось, что на гору (на берег) попасть мы не могли никак... Унесло, понимаешь, кругом-то море да льды плавают, и сказать тебе, берега уж не видно. Вот как, милый товарищ. А утром встали, уж земли нашей и совсем след пропал! Находились мы потом, сказать тебе, в тонкой разнилатке...

Разнилатка-то? А это, к примеру, тонкой лед, сантиметра так три. А от берега стали мы по всем нашим расчетам километров за двадцать, не мене. Погоревали мы, погоревали, кушать совсем нечего и стали, понимаешь, домой пробиваться. Стал я на коргу лежать, на брюхе, ноги свесивши наружу и вперед. Корг — это,

тебе сказать, будет нос на лодке. Дальше? А дальше так было, что товарищ мой гребет, а я на коргу лежу да ногами лед разламываю.

Этим путем мы трое сутки попадали до берега. Сказать тебе, товарищ, смерть возле нас стояла и глядела на нас, как мы копошимся. А мы все ж копошимся, потому, понимаешь, что ничего иного не остается нам делать. Трое сутки ломался я на коргу, разламывая ногами лед и уж боле ничего не понимал, где у меня руки, где ноги, а где голова.

Дальше? Не торопись, я тебя подожду. Дальше попали мы, попали на гору, но не в деревню, а, сказать в пустое место, в двадцати километрах от деревни нашей к югу. Хорошо! Вытянули мы лодку на берег и пошли пешим порядком в сторону Майды. Идти плохо можем, ноги, понимаешь, чувствуют ненормальность. Отошли так километра три, ну в крайнем случае четыре, так сказать, избушка. В этой избушке живут люди койдена (из Койды), три человека, их ребяты.

Дальше, понимаешь, заворотили мы в эту избушку. Нас приняли. А мы голодные, холодные, пятеро сутки не едали никого. Приняли хорошо, обули, одели, накормили, худо ли, хорошо, по-местному будем говорить — приятно сделали для нас. Вот вы были в Койде-то? Так есть там старичок такой Артемий Васильевич, а его отец был в те поры капитаном. То есть капитан шхуны, или, сказать тебе, лодьи.

Ноги-то мои примерзли к голяшкам (кожаные сапоги). Он раздел голяшки, дал мне пимы. «Я, говорит, пойду за конями, обратно спушшу вас». А пошел под вечер, в три часа, приехал назад в двенадцать часов ночи на лошадях. Так... приехали, нас забрали и привезли сюда.

Дальше что получилось... Дальше получилось такое

событие, что стали ноги у нас разбаливаться. А у товарища одна: он на коргу лед не ломал дак. Болят и болят и что ни день, то все сильней и прямо, понимаешь, ступить нельзя — так болят! А помощи медицинской тогда не было, сторона наша была порато глухая и неизвестная. Дело дошло до того, что сам собой сидеть не мог. Как малого ребенка ложили и поднимали.

Хорошо. Решили везти меня в Мезень и поехали на лошади. Трое сутки ехали, а январь, так и метет, и мороз порато сильный на те поры был. Ну что ж... Привезли меня в Мезень, там в больницу представили. Врачей не было, одни фершала, народ слабый, в медицине мало понимали.

А у меня уж, простите за выражение, на ногах внизу от кости отвалилось. Дальше. Дальше медицина все это сразу отрезала. На одной ноге с пяткой, на другой одну ступню, а пятка цела осталась. Смертельное дело мне приходило, товарищ ты мой! Даже в смертельную камеру выносили не один раз. Не пил, не ел больше недели совершенно ничего. Потом почувствовал полегчение и есть захотел. Лежал больше месяца, пить-есть стал, стал домой проситься. На распутице и привезли меня домой.

Год целый не ходил никуда и не ползал, не мог. А потом стал кое-как помогать отцу. Отец-то неграмотный, темный в деле письма был, а на казенной муке вахтером стоял, продавал, учет вел. Хлеб-то, тебе сказать, у нас всегда привозной, и цена ему золотая.

А потом работать стал по хозяйству, а потом революция. Я в колхозе стал работать, приспособился вот и все могу, только ходить уж не пойдешь, не побежишь. Вот жизнь-то наша северная какая, другой раз и голову загубишь и пропадешь, а ничего, живем, сказать тебе, и стихии наперекор идем!

10

Где-то в тундре, где-то за горизонтом, за озерами за карликовыми лесами живут ненцы. Где-то там ходят стада оленей и стоят берестяные чумы. Они стоят в безмолвии, среди озер и ручьев, под светлым ночным небом. И когда ненцы, мурлыкая слабыми голосами песню, уплывают в ночь на озера за рыбой, то, наверное, выходят их провожать собаки и сидят потом на берегу и, насторожив уши, смотрят и нюхают...

В тундре можно исчезнуть. Она ровна и беспредельна. И мы под жарким, удушающим солнцем идем по ней, как по Африке. Горят леса в стокилометровой дали, и дым от пожаров растекается по всей равнине, по мху и по рекам, переваливает невысокие угорья вдоль берега моря, и простирается дальше в море, и, кажется мне, уходит к полюсу.

Мы идем в голубоватом струящемся мареве по блеклой тундре, по сухому, хрустящему под ногой мху, мимо мертвых озер с торфяными берегами. Мы входим в низкий лес. Это не наш веселый шумящий лес, это что-то низкое, покорное, окаменевшее. Такие деревья бывают в театральной бутафорской, ими подчеркивают сумеречность и дикость какой-нибудь мифической преисподней. Здесь стволы их еще скручены в узлы и пригнуты к земле. Мучения и вековые пытки видны в каждом утолщении и в каждом изгибе.

Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стукают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается немного легче.

Попадается много вереска — островками растет он, плотен и жесток, и цветет сиреневым дымом. Кочки

покрыты красным, желтым и синим — везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, рвем морошку, сок которой янтарен и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.

Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются крикливые розовоперстые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.

Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать карбас, который должен где-то здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает.

— Глубоки ли у вас озера?— спрашивал я как-то в деревне.

— А мы их, прости за выражение, не мерили! — отвечали мне.

И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его как бы уложены человеком — один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой, как щупальца спрутов.

Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит

едва заметная долинка. Отсюда нужно тащить карбас по узкому каменному перешейку... Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда вытаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу.

— Ненецкая рюжа,— говорит один из ребят-проводников.

— Ихняя,— подтверждает другой.

В этой рюже видится мне внезапно призрак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека — в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.

Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски — тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте.

Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа — ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке... Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда,— вещественные и такие необходимые, гораздо необходимей всех рассказов!

Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая

и всплескивая сапогами по воде, и между камней, выстающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменистый мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.

— Вон чумы!

Мы вздрагиваем, поворачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса, чуть светлее по тону, чем берег.

Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с низкими берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега. Но на одном из них, на самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума — вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде, кроме как здесь.

Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят — вон зубчики леса! — так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда...

Мельком взглядываю я на своих спутников — и у них странные лица, и они смущены и взволнованы. Даже проводники наши и те как бы ждут чего-то.

— А-а-а-а...— проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне. Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не поймем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки.



— Аркадий Вылко это! — говорят наконец проводники.

— Чего он?

— Увидал нас, зовет, чтоб мимо не проходили.

Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумеречное восточное небо, чумы все ближе, и, когда в перерывах между гребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх — сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок пожиже, попрозрачнее из среднего чума.

Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, тянем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегаются, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки — старые и совсем щенята еще с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.

— Здравствуйте!

— Нгань дорово! Здравствуйте!

Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.

Вот чумы и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегает на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это. И мы смотрим, потому что светло и все видно.

Аркадий Вылко непохож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинны и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой,

и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем головном уборе, напоминающем красноармейский шлем, только гладкий, с отверстием для лица и надетом от комаров, похож он на бедуина, на индейца. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, смотря в землю, и молчит, будто знает что-то возвышающее его надо всеми.

А Петр Вылко — брат его — крепко сбит, низок и слегка кривоног. Стремителен и хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные нотки, когда кричит он вдруг на собаку:

— Гин! (Пошла прочь!)

И втягивает потом с давящимся звуком воздух.

Сидят возле нарт или встают за чем-нибудь еще двое, столь же резко очерченные, такие отдельные и не похожие ни на кого в мире: Алексей Назаров и Николай Горбунов. Один — пожилой, с поднятыми вверх внешними углами глаз, с кустистой бородкой, разговорчивый, смеющийся и любопытный. Другой молод и крепко попирает землю, налит чугунной силой, белозуб и, наверное, особенно лаком, особенно вкусно пахнет — комары облепляют его пуще всех, но он не замечает их.

Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом — карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них цвета неспелой клюквы.

Вон чумы, составленные из длинных кольев и обтянутые, обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты — длинные и легкие, с полозьями, будто покры-

тыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные с длинными печальными глазами и бархатными рогами

Между нарт валяются еще во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная, зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль.

Ребятишки, как приведения, вырастают из-за чумов, жадно глядят на меня — сначала один, постарше, тут же около него появляется другой, поменьше, потом еще и еще, и глаза их одинаково горят любопытством, а потом к ним на четвереньках прибавляется совсем уже крошечное существо и тоже смотрит туманно.

На горизонте, из-за угорьев, показывается широкоплоское пятно, немного бурее по цвету, чем тундра. Оно шевелится, вытягивается и сжимается. Оно растекается шевелящейся полосой по всему горизонту. Это олени.

Они ждут своего часа.

Запряженные по четыре в нарту, они помчатся, хрюкая, в снежную беспредельность. Над ними будет вздыматься тонкий хлыстообразный хорей, а нарты с грузом или с людьми будут обсыпаться снегом, наклоняться и переваливаться на сугробах. Много тысяч километров предстоит пробежать этим оленям, и многие дали обволокут их и заглянут им в глаза. А другие упадут под ножом, и кровь их напитает мох, мясо их сварится в чуме, и много малиц и унтов наделают зимой из их шкур.

Но это исполнится не сейчас. А теперь они свобод-

ны и ходят в тундре, окуная ноздри в мох, и могли бы уйти совсем, далеко от людей, на север, к океану. Они могли бы стать дикими, чтобы мчаться по угорьям и замирать на вершинах, озирая пустыню. Но чумы держат их, человек зовет их, и зов этот во сто крат сильнее зова тундры. Олени придут к людям и станут нюхать дым костров. Они идут. Шевелящееся, невнятное пятно все ближе...

Ненцы кончили починять нарты.

— Ну ребята, чай пить пойдем дак!

И между нарт, между собак и лежащих оленей мы идем к чуму Вылки. Нагибаемся и входим по очереди и сразу начинаем разуваться на мягких шкурах, снимать куртки и свитера. В чуме сумерки и верхний свет. В чуме гудит железная печь, рыба благоухает на ней и чайник кипит, и труба вздымается к дыре наверху, к той дыре, в которую когда-то выходил дым от очага, а теперь льется свет белой ночи.

Кто сказал, что ненцы не знают по-русски? Они говорят свободно и чисто, на новгородском наречии, с тем растягом и так же скоро, как везде в поморских деревнях. Нет никаких пресловутых «однако», нет медленности, скованности мысли, которые примелькались уже в литературе о ненцах. И это тем удивительней, что ненцы эти вовсе не обрусели и не оставили свой язык — между собой и с животными они говорят все время по-ненецки.

Садимся пить чай на мягкие шкуры за низкий столик. Жена Вылки, как в хорошем доме, накрывает на стол. За нашими спинами подушки. Рыба вкусна. Чай душист и крепок. Главный разговор, как у московских таксистов,— про погоду. Но здесь погода не просто приятная или неприятная, здесь она, как и у рыбаков на море, определяет ход жизни.

Больше месяца в тундре жара. Мох высох. Олени болеют копыткой, тощают и вот-вот начнут падать. В тундре нет тени и некуда деться от солнца. Даже ночью над лежащим оленьим стадом поднимается пыль от дыхания.

Из чума мне виден печальный, больной олень.

— Как будет по-вашему олень?— спрашиваю я.

Ненцы смеются.

— Ты.

— А тундра?

— Вы.

Ты и вы... Теперь смеемся мы.

— А озеро?

— То.

Взгляд мой падает на мальчугана, совсем беловолосого, примостившегося на колене отца.

— А ребенок?

— Ацакы́.

В чум, пожимаясь, пробирается собака, садится, молотит хвостом, сладостно смотрит на нас. За ее спиной на светлой полосе озера торчат уже уши другой...

— Гин! — кричит Вылко.

Собаки сконфуженно исчезают.

Печка остывает, хозяева вежливо позевывают. Нам стелют шкуры у стены, кладут подушки, опускают полог от комаров. Ноги советуют спрятать под пушистое собачье одеяло. Хозяева устраивают себе точно такую же спальню на другой стороне чума.

Плачет ребенок. Его укачивает мать, быстро говорит что-то переливающимися звуками по-ненецки. Ребенок смеется. Потом затихает в теплой темноте, за пологом.

— Спокойной ночи! — говорят ненцы-гости и бесшумно выходят из чума.

В чуме остаются только хозяева.

Напоследок я спрашиваю у Вылки, как они живут. Все ли есть у них? Хороша ли жизнь?

Хозяева оживляются, и мы начинаем вслух подсчитывать, повторять, загибая пальцы, все статьи доходов.

Тысяча оленей в стаде. Семьсот колхозных и триста своих. Ненцы не колхозники, в колхозе работают по договору. Три рубля в месяц летом и два — зимой платит им колхоз за каждого оленя.

Вторая статья доходов — перевозка колхозных и рыбкооповских грузов. Возят зимой и летом по двум направлениям: от Койды до Мезени и от Койды до деревни Инцы, на Зимнем берегу. Стоимость зимних перевозок 4 рубля 46 копеек с тоннокилометра. Летних — 5 рублей 46 копеек.

Бригада ненцев состоит из четырех семей. Таким образом, на каждую семью приходится до тысячи рублей в месяц. Кроме того, существенную роль в доходах играет особый промысел: шитье на продажу малиц, шапок, унтов, рукавиц и т. п.

Рыбу на озерах ненцы ловят без всяких ограничений. Попадается щука, окунь, сорога и кумжа. Зимой охотятся на дичь и на пушного зверя, но охота, по словам Вылки, случайна — много времени забирает основная работа: пастьба оленей и перевозка грузов.

Муку покупают в колхозе и сами пекут прекрасный хлеб в духовках. Посуды очень много и самой разнообразной.

Единственное неудобство, которое хорошо сознается,— это чум. Летом в нем хорошо, но зимой холодно и темно — чум почти не держит тепла. Долго и с наслаждением расспрашивает Вылка о передвижных домах-фургонах, которые так медленно начинает выпускать наша промышленность.

Ночью я просыпаюсь от глухого топота и хрюканья. Чумы окружены оленями. Медленно, но неуклонно двигались они сюда из тундры и вот пришли и легли — тысяча оленей, темных и белых.

И еще раз я просыпаюсь под утро от волнения за стенами чума, которое передалось и мне. Топот так силен, что дрожит торфяная земля, и слышно сквозь этот топот, как бархатно сталкиваются рога взволнованных чем-то оленей. Что с ними? Приснился ли всем сразу страшный сон? Или подошли близко волки?

Третий раз я просыпаюсь от солнца, дымным косым столбом бьющего в распахнутый чум, и от крика снаружи. Ненцы ходят среди оленей, расталкивают их, осматривают им копыта. Трещит и наполняет все вокруг жаром затопленная печь. Низенький столик вынесен наружу, готовится общее утреннее чаепитие. В глазах рябит от множества оленей вокруг, от множества огромных блестящих черных глаз. Ах, как измучены эти олени, как впали их бока, какой нервный ток пробегает по ним, когда кусают их оводы! Рога их разнообразны — от простых шишечек, покрытых черным пухом, у молодых, до великолепных, со многими отростками у стариков. Внизу светло-буро-черная шевелящаяся масса тел, а выше неоглядное переплетение рогов, будто карликовый лес.

Уже нет вчерашней некоторой таинственности, при свете солнца все обыкновенно, понятно и будто давно знакомо. Будто мы много раз бывали у ненцев, жили с ними, слышали каждый день хрюканье оленей, говорили о пастбищах, о кочевках, о падеже и проценте сохранения молодняка.

Садимся пить чай. Пьем, обливаясь потом, на жаре, под солнцем, и чем больше пьем, тем больше хочется.

— А можно белого оленя посмотреть поближе?

— Можно! — говорит Вылко и поворачивается к мальчишке.— Тэ хань сэрако тым тэвра! (Сходи в стадо за белым оленем!)

Мальчишка радостно бежит, скрывается в стаде, что-то там разыскивает, распахивает, находит белого оленя и выводит его.

— Таля! — кричит ему Вылко.— Иди сюда!

Мальчишка тащит к нам оленя.

Белый олень крупнее темного и сильнее. Он дрожит всей кожей, по крупу проходят волны.

— На оленей в нартах хотите посмотреть?— спрашивают нас.

Мы очень хотим. Тогда среди чумов начинается оживление. Достают упряжь, бегут к стаду, олени вскакивают, шарахаются, черных толкают в бока, чтобы не мешали, ловят только белых.

Через десять минут четверка оленей запряжена в нарты. Вылко стоит с хореем, выжидательно смотрит на нас.

— Пускай! — кричим мы.

Вылко падает в нарты, олени рвутся, нарты со свистом летят по мху, ненцы хохочут. Вылко потягивает оленей хореем, направляя по громадной дуге, нарты подскакивают на кочках, Вылко, выбросив ноги в стороны, балансирует, отталкиваясь пятками от земли, скрывается вдали за стадом. Потом показывается опять и летит уже к нам — олени легко перебирают ногами, рога их закинуты к спине, ноздри раздуты. Они ослепительно белы под солнцем, как снежное чудо.

А еще часа через два мы прощаемся, нас зовут в гости зимой, выходят вместе с нами на берег, мы налегаем на карбас, сталкиваем его в воду, вскакиваем, умащиваемся на веслах... Поднятые руки, невнятные крики, напутствия — и опять мерные взмахи, журчание

воды, свежий ветерок, а ненцы, и олени, и чумы отдаляются, отдаляются, и с этим ничего не поделаешь.

Целый день потом мы гребем по озеру, купаемся, бредем тундрой, рвем морошку и чернику, проходим опять мхами, болотцами, карликовым лесом — все время лицом к солнцу, к морю. Даль между тем затягивается дымкой, мы думаем о пожаре в лесах, но это не пожар, это наползает с моря туман, заволакивает солнце и дышит холодом. А к вечеру приползают и тучи, и ночью уже идет дождь, значит, конец душной муке! И мы все время вспоминаем ненцев и оленей, воображая их радость дождю.

11

Мы на высоком угорье, почти отвесно обрывающемся в море, возле деревни Ручьи ждем парохода в Архангельск.

Внизу над нами рыбоприемный пункт, река, окруженная кошками, широко впадающая в море. На реке, возле склада, приткнулась мотодора, тоже дожидающаяся парохода.

Парохода все нет, мы спускаемся вниз, некоторое время говорим с капитаном доры, с рыбмастером — милой женщиной, глядящей на нас широкими светлыми глазами, пьем чай с морошкой, опять выходим на песок. Солнце, теплый день, чайки летают во множестве, вдали на море посверкивают снежными спинами играющие белухи.

Потом рыбмастер ведет нас на холодильник показать свое хозяйство. Зажигаем по свечке, как при входе в катакомбы, и, загораживая рукой трепещущие огоньки, входим во мрак и холод кажущегося беско-

нечным помещения. Внизу лед, на нем положены доски, а справа и слева от прохода врыты в лед большие чаны с рассолом. В густом прозрачном рассоле светятся жаберными крышками и боками семги. Мы приподнимаем одну, она холодна и тверда, как дерево, черный глаз ее загадочно смотрит на нас.

Вот куда свозят со всех тоней выловленную рыбу. Вот где зреет она в тишине, в темноте, как вино, наливаясь вкусом и ароматом. Вот где кончаются ее «походы» — и, как и у зерна, у вина, у дерева, отсюда начинается новая ее дорога к людям.

Наши лица бледно озарены свечами, нам становится холодно, и мы выходим на солнце. Мы видели, как ловят рыбу, мы слушали бесконечные разговоры о ней по всему берегу, во всех колхозах. Как на юге говорят: «Хлеб, хлеб!» — так здесь говорят: «Семга, семга!» И вот теперь мы увидали конец одной цепи и начало другой. Круг замкнулся. Вон в мотодоре стоят две громадные забитые бочки, каждая килограммов по четыреста. Они уже не здесь — они там, в новой дороге, они проштемпелеваны, записаны в ведомости, как бы отрешены уже от рыбаков, от берега и через какой-нибудь час...

Я поднимаюсь опять на угорье и шарю биноклем по горизонту. На десятки миль хватает глаз, но парохода все не видно. Зато я замечаю вдруг то, чего не видел раньше,— какую-то призрачную голубую холмистую полоску на горизонте. Берег ли это? Далекий остров? Или облака? Я всматриваюсь до боли в глазах, но не могу решить. Тогда я запоминаю форму этой холмистой полоски, похожей на идущие, поднимающиеся из-за горизонта синие тучи, и на время отвлекаюсь. Минут двадцать я рассматриваю по очереди белух, выстающих далеко в море, и чаек, парящих близко, почти на одном уровне со мной. Потом снова взглядываю на

загадочную полоску. Нет! Форма холмов не изменилась. Значит, это не облака...

Я начинаю спускаться вниз, время от времени останавливаясь и взглядывая на синюю полоску. На нее почему-то очень хочется смотреть.

— Видна ли какая-нибудь земля с горы?— спрашиваю я внизу.

— А! — говорят мне.— Так то Кольский полуостров, Терский берег...

— Далеко ли до него?

— Километров восемьдесят, тут у нас само узко место на море...

Так вот что я видел, Кольский полуостров!

Пароход показывается неожиданно. Когда мы замечаем его, он уже близко — белое пятнышко. Капитан мотодоры оживляется, по длинной доске перебираемся мы на палубу, якорь поднимают, мотор тарахтит, последний раз оглядываем мы северный берег, людей, здание рыбоприемного пункта и выходим в море навстречу пароходу.

Мы подошли к его черной стене с носа, нам спустили веревочный трап, мы взобрались на палубу, стали рассеянно смотреть, как снизу, из мотодоры, подвывающая лебедка вытягивала в веревочной сетке бочки с семгой...

Затем и пароход двинулся, и Ручьи потонули в туманной дали. Скоро миновали мы Инцы, Зимнюю Золотицу, а потом настала светлая ночь, и море было спокойно...

Пришла пора прощаться и с Архангельском.

Что-то случилось с ним, пока мы скитались по северным краям. Он как-то погас, заосенял, хоть и све-

тило еще августовское солнце. Набережные его стали пустынны — никто уж не купался. И березы в скверах будто покрылись рыжими веснушками. И пахло иначе — пряный запах лета исчез, уступив место другому, тянущему и горьковатому запаху осени.

Зато все так же мощно дышала река и все, что было на ней: пристани, корабли, катера, подъемные краны, лесозаводы... И опоры строящегося моста стали как будто повыше. И появились на заборах новые афиши и новые лозунги на стройках. И капитана «Юшара» Юрия Жукова наградили орденом «Знак Почета».

Поздно вечером надели мы последний раз свои рюкзаки и последний раз ступили на палубу парохода, перевозящего пассажиров на левую сторону Двины, к поезду. Пароход сипло и торопливо свистнул, забурлил винтом и стал отходить. Через минуту нам опять открылась панорама громадного северного порта, масса зданий, и дымов, и труб, и судов на Двине. Вода была спокойна и сумеречна. Горели красные, белые и зеленые огни на бакенах, на бортах и кормах судов. Рубиново светили в недоступной высоте авиамаяки на прозрачных опорных башнях по обеим сторонам Двины. И надо всем этим — над городом, над рекой, над судами — тихо сияла низкая пурпурная луна, которую видели мы первый раз за все свое долгое путешествие по Северу.

Начав свои записи в июле, на сейнере, при выходе из Мезени, заканчиваю я их осенью на Оке.

Я живу в доме на высоком холме. Леса кругом горят осенними пожарами. По утрам пойма Оки наливается голубым туманом, и ничего тогда не видно сверху, только верхушки холмов стоят над туманной рекой красными и рыжими островами.

Листопады особенно сильны по утрам, после ночных заморозков, и, когда я спускаюсь вниз к роднику, а потом медленно иду лесом домой, в ведрах моих плавают листья, которые попадают туда на косом полете, стукаясь сперва о мои руки.

Иногда дали мутнеют и пропадают — начинает идти мельчайший дождь, и каждый лист одевается водяной пленкой. Тогда лес становится еще багряней и сочней, еще гуще по тонам, как на старой картине, покрытой лаком.

Днем на полянах, нагретых солнцем, летают по-летнему оживленные мухи и бабочки. Трава, елки и кусты затканы паутиной, и жестяно гремят под сапогами шоколадные дубовые листья. Покрикивают буксиры на Оке, зажигаются вечерами бакены, гудят по склонам холмов тракторы, и кругом такие милые художнические места — Алексин, Таруса, Поленово, кругом дома отдыха и такая́ мягкая, нежная осень, хоть время идет уж к середине октября...

Осень теперь и на Белом море. Но там она иная — ледяная и жестокая. Там мигают теперь во тьме огни маяков и с устрашающей силой дуют «север» и «полуношник». Там в редкие дни идет снег, и на море появляется первый лед. Мистически вспыхивают там по ночам безмолвные северные сияния. Суда в море кренятся так, что катятся моряки по палубам. И многих смывает за борт, и тогда летят в черное небо тревожные ракеты, пляшет по волнам дымный свет прожектора и долго вздымается и опадает на проклятом месте осиротелое судно. Там рыбаки на берегу вваливаются в избу насквозь мокрые, с заколеневшими сизыми руками и никак не могут отогреться, слушая, как под окном ревет море.

И вот вечерами в теплом доме на Оке я вспоминаю

Север. В дом ко мне как бы приходят механик Попов, и лоцман Малыгин, и капитан Жуков, и рыбак Котцов, и Пульхерия Еремеевна, и ненцы — все, кого я упомянул в своих записках и кого не упомянул, все тихие герои, всю жизнь свою противостоящие жестокостям природы.

Они приходят и кивают мне, и зовут опять туда, к ослепительным небесным чертогам, на мрачные берега, в высокие свои дома, на палубы своих кораблей. Жизнь их не прошла с моим отъездом, она идет, неведомая в эту минуту мне, и когда они уходят к себе, мои тихие герои, я знаю: они уходят работать, уходят трудами рук своих и напряжением душ творить и приближать наше великое будущее.

Я жалею, что о многом не написал, многое пропустил, быть может, очень важное. Я хочу снова попасть туда. Потому что Север только начинает жить, его пора только настает. И мы застанем эту пору, при нас она грянет и процветет со всей силой, доступной нашей эпохе.

1960 г.



НЕСТОР И КИР

1

Пять дней уже бушует море. Пять дней каждое утро я слышу его рев, смотрю в окно и вижу все одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке.

Скучно! Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная неукротимая сила не пускает меня. Сила эта — ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор.

И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его.

Вхожу в теплую, кислую избу — хозяин на кухне, наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. Во рту у него щетина.

— Чаю попьем?— мурчит он.

— Давай,— вяло соглашаюсь я.

Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай.

— Ну так как?— спрашивает наконец хозяин.— Надумал?

— Дай, еще раз гляну,— прошу я.

Он выносит ружье. Я открываю его, десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок.

— Ты что,— спрашиваю,— гвозди им забивал?

— Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет...— он подыскивает сравнение,— корову насквозь просадит!

— Ладно, корову! — говорю я и кладу ружье на лавку.

Опять пьем чай, говорим о дороге. Идти мне нужно берегом совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег — камни, метров в пять шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь, нужно лезть горами, а в горах масса ущелий — ручьев, по-здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море, был и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал.

Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь, и никого нигде нет, и ты одинок, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные тони, черные покосившиеся кресты — это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле.

— А погода отдавает, завтра пойдешь,— говорит хозяин.

Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараясь заметить в нем хоть какой-нибудь намек на успокоение, и захожу к Пелагее Тимофеевне — восьмидесятилетней старухе. Старуха эта, старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света.

Земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях — по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни.

Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в средней России.

Старуха не видит уже семнадцать лет — у нее бельма и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: «Во снях вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану — и прошшай все...»

Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу, и весь пропах дегтем. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили наверное лет пять. В этот день мне надо дойти до тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака...

Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен после стольких дней шума и воя! Позванивали, булькали волны, и похоже было,

что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменой интонаций или окликал меня — то сзади, то спереди.

На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в двадцать, ружье, удочки и в кармане — черные, позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом: здесь особенно гладок, плотен песок и легко идти.

Пройдя за три часа пятнадцать километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег и закурил и сразу уснул. А проснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше.

Начались камни. Начались потрескавшиеся плиты и валуны. Из трещин торчали рыжие водоросли. Но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвертывались и дрожали. Я брел из последних сил, оступался, спотыкался, скрипел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно — свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние четыре километра я шел два часа. Я пришел к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день двадцать семь километров.

Избушка была пуста — рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника. Избушка топилась по-черному, я затопил печь, и сразу стало дымно — дым плавал под потолком, лениво выползая в отдушину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди. Приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потол-

ке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая.

Я пил чай, в печи догорали угли — сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озаренная горнами. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и мотки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне,— будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, за сто лет, в древность. Да, я далеко ушел в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом, на жестких нарах!

Еловый ручей прорезает горы. В устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку.

На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.

Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень — пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы, почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях!

Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке, злой ветер был не страшен, и осень еще не при-

шла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву — огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.

А тропа дальше стала еще мучительней — она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.

На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно: семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок... До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.

О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стертыми ногами... Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море — сумрачное, холодное, но спокойное.

Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебегали от меня по камням... Сняв ружье, взведя курок, я спокойно шел мерным шагом и, выждав момент, когда они подпустили меня поближе,— выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружье, я подошел к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И както грустно и досадно мне стало.

Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания! Давеча на маяке я разговорился о качестве своих

сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг вообразил Поленовский дом, вечер 1 мая, когда мы — продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки, сидели в столовой, топили камин, пили доппелькюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, Врубеля, Коровина, развешанных на стенах.

И, вспомнив все это, вспомнив еще окские дали, леса и луга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое щелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакенщика,— я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило.

Между тем мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показались в море тайники, а на берегу избушка. Это я дошел до тони Варзуги. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше — глухонемой. Я передохнул, помолчал... Молчали и рыбаки.

Изба, как и все тони, грязна, закопчена, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на сенокосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:

Чайки ходят по песку,
Рыбакам сулят тоску...

Оглянулся на меня, засмеялся и замолк — принялся выделывать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок, темные при темном дне.

Через полчаса должна была идти в сторону Кеги дора. Я так устал, что остался ждать ее,— и напрасно: час проходил за часом, а доры все не было.

Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким, он улыбался, охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из оцепенения: молоденький топнул ногой, глухонемой взглянул на него, молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернувшись с одной кумжей, скинули проолифленные куртки и сели — молоденький к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.

Наконец послышалось далекое и глухое «пу-пу-пу-пу-пу», и показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли в море. На доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход. Мы подошли, и, вместо семги, в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками.

Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули карбас, который был у нее на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку. Подошел еще карбас с двумя молчаливыми девками, часть рыбаков перелезла в него, он тоже сел на мель, не успев отойти, рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под днищами скрипел песок...

На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась темная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья... Скоро на

песке образовалась странная какая-то, неподвижная, немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым крикам. Повыше их едва различались темные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность: пришел к варягам, к их морской жизни — и уж Москва, трехчасовой путь на самолете до Архангельска и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, Двина за окном, мачты пароходов над крышами, гудки, чайки над Двиной, клубочки пара над буксирами — этого всего будто никогда и не было.

Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.

2

Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море — сейчас черное,— керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса — там мои новые хозяева, кудрявый седоватый мужик лет шестидесяти, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками; сын его, молодой парень, красавец, так же кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз,— но дурачок, картавый... И жена — маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся.

Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм и темный угрюмый день, но мне не скучно — наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место.

Занимаюсь я как будто делом: пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них — хороши ли? Но интересно мне сейчас не это — интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой Кеге завтра и послезавтра, и еще много дней, покуда хватит времени.

А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно, и по всей видимости не расположен был пускать меня на квартиру. Но дом был так хорош, из таких был сложен гладких, огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем были окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами, и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался.

«Дом чистый, вам там покойно будет,— говорил председатель,— только хозяин там такой... Из кулаков. Жила! Да вам ведь не век с ним вековать — зато чисто!»

И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но и еще другое — какая-то затаенная скорбь, надломленность.

Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно: Нестор, а сына Кир — и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычное: «Как живете?» — хозяин надвинул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так:

— Скучно живем! Только и веселья, что на своих именинах...

Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее, не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал печуру[1] в горах по договорам с заводами и мастерскими.

Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему шестьдесят один год, следовательно, он имеет право на пенсию. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы ее оформить.

В это утро мы все собирались ехать на тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома: напечены лепешки, куплено сахару, чаю, не забыта соль и всякая посуда, и заранее свезена на тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю. Нестор перевез меня через реку на карбасе, немного проводил и вернулся.

— Ты покричи, я тебя обратно перевезу, я возля амбаров буду, точило тесать,— сказал он на прощанье.

Погода была холодная с сильным западным ветром. Вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла... Тогда я развел костер и прилег рядом на мох.

Места здесь дикие, холодные, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний — теперь сентябрь, а еще косят,— пожни маленькие, стожки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины, мужики не косят, вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем — все рыбачат.

Лист начинает облетать. Береза сыплет желтым, но

---

[1] Точильный камень.

еще зелена в своей массе, рябина же взялась краснотой, под цвет брусники. Грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускает воду в море.

Вернулся я к вечеру, переехал опять через реку, пошел проулком и зашел в место очень характерное для севера теснотой и частотой построек, видом своим — серо-голубое от старости и много глухих стен. В деревне так же, как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что они все образовались случайно.

Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на тоню. Пошла семга, ему хочется и поесть сладко, давно не пробовал семги, и заработать.

Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на тоню берегом один Кир, нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне опять и стал говорить о пенсии. «Пензия», «пензия»,— повторял он на разные лады.

А вместе с тем — зачем ему пенсия? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность, самодовольство проглядывают в каждом его жесте, в каждом взгляде. Сила, самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший непорядок, как играет бровями, как сёрбает, хлебает чай с блюдца.

Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоновая кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведал, сам вызнал места,

где можно легко ее брать. Привозит он ее с Киром, всегда ночью — эти громадные серые плиты спрессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и мостков, там у него мастерская, там он с Киром тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точила и жернова, сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его — идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении.

Колхоз с ним ничего поделать не может, потому что как колхозник он тоже работает по нескольку месяцев в году — сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит и сдает семгу — и там его не обманешь, не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах...

Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем.

3

Прошел еще день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тоню. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что недурно бы захватить с собой водки и, сварив ухи из свежей рыбы, выпить на новом месте.

Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже суетился, с улицы крикнули, что стучит мотор, мы заторопились, вышли — в самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это

оказался почтовый катер, он вез железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприемному пункту — там пристают, и оттуда отходят мотодоры и бота.

И тут Нестор не выдержал, мысль о водке опять пришла ему, он посунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял, тогда он повторил уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу.

Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу, рысью побежал в магазин, и лицо у него сразу стало радостное, а я снова подумал, как он жаден,— ведь есть деньги, и много,— а такая унизительная радость и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку. Впрочем, не в том ли смысл его жизни, чтобы жать копейку?

Мотодора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было смотреть на мотористов, их два на доре — один пожилой, другой молодой, мальчишка еще.

Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее,— все эти мотористы, механики, шоферы, электрики с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим.

Так и здесь. Пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой. Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут... «Где же мотористы?» — спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы — боги, по крайней мере, и отчета никому отдавать не должны.

Наконец пришел пожилой моторист. За ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас,

затем стал на борту доры и задумался, будто решал, ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. Потом сел на какой-то ящик.

Когда он появился, никто, конечно, не выругал его, только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец, пожилой встал и завел мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у пристани, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем, но мальчишка вдруг лениво отдал концы,прыгнул в дору, и мы поехали.

Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир, и едва мы перевалились к нему, сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили,— снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко, эгоистично, и стал приговаривать: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то...» Верно, благодарил бога или море.

Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать будем на каком-то тряпье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверное, не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев покрывалось им, и оно впитало в себя их дух и пот.

Здесь же стоит крест, как и везде, чуть подальше — пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделывают тюленей. А еще дальше другая тоня, на которой живут три моряка — они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки, и теперь ждут мотобота, чтобы уехать.

Вот и все. Дальше по обе стороны на десятки кило-

метров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободранным, обкатанным плавником.

Настал вдруг теплый яркий день, море налилось синевой, Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья, и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем... А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож, вокруг него на песке — живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берет ее одну за другой: зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху, со спины, и лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности.

— Хорсё, хорсё! — ликует он, и не сидится ему от наслаждения, ерзает, перебирает ногами, улыбается.

Красавец, хищное животное, бронзовый кудрявый белозубый бог — тупая идиотическая сила. «Февраль,— сказал вчера про него Нестор.— Дня одного не хватает!» Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он?

— Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?

— Не... Ситать не мею. Засем?

— Ну как это зачем... Ведь ты учился!

— Не... Не сахотел — засем?

— Что же ты любишь? Ну — для души?

Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир закинул голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.

— Хорсё! — и кидает им рыбьи внутренности.

— Слышишь, Кир, что тебе надо для души?

— А? Дуси... дуси... а-а, тевку надо! Тевка мякка, хорсё!

Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровяные пальцы о штаны, весь напрягается, напруживается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах.

Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает, верно, про какую-то свою охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя,— щурясь от напряжения, улавливаешь только, что он куда-то «посол» и что-то такое «насол».

Возвращается Нестор, мы прямо в море полощем ошкеренную рыбу, несем в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке.

Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают,— все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут...

Тут вот со мной рядом лежат два рыбака, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли «дожжа» или не пошли, побережник ветер или шалонник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.

То, что важно для меня, для них совершенно не важ-

но. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?

Но, может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? Они встают чуть свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выроют тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня, неоспоримый вещественный результат — семга. Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они — и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны.

4

Вечером Нестор и Кир опять привезли рыбы, на этот раз семги, сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар — эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежаках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбасы были выкачены на берег, ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони, и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру.

На далеком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно, и было приятно от мысли, что не такая уж

пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки, и по таким же, как и наша, избушкам сидят ядреные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды.

— Славно у вас тут живут,— сказал я Нестору.

Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся.

— Это не жизнь, товарищ ты мой! — твердо сказал он.— Тебе не понять, ты хорошего не видал, а вот раньше — так, правда, жили не тужили...

— Стара песня! — возразил я.— Знаю я, как у вас тут жили раньше!

— Это как же ты знаешь?

— Читал,— сказал я.— Историю изучал.

— История! — вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют.— Изуча-ал! Гляньте на него — историю изуча-ал! — дразнил и неистовствовал Нестор.— Изуча-ал, хо-хо!

И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издалека, и хохотал... Что же он-то понимал? А понимал, видно,— этот блаженный, идиотик,— что-то он такое понимал!

— Да ты вот пишешь,— перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив.— Все пишете... Дадим двести процентов плану! — противно растянул он.— Все как один! Единодушно одобрили... Или вот у меня жила из Ленинграда одна — блюдцы, стаканы ей, вишь, не чисты, грязно живете, грязно, все платочком протирала, а?

Кир опять захохотал, даже слезы выступили.

— Крясно, крясно...— повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза.

— Да, а потом привыкла, ничего! — уничтожающе

окончил Нестор.— Перестала морщиться... А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все ей костер разложи — так, толкует, красивше. Белая ночь ей, вишь, спать не даст, думы все мозгует, а то пристанет: «Нестор, спой песню, ну, пожалуйста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо в институт, это, говорит, народно... А я ей думаю — хрен тебе, а не песню, с такой жизни порато не запоешь!

— Так уж плохо и живешь? — поддразнил я его.— Чем же тебе жизнь плоха!

— А вот чем! — Нестор подумал и налил себе чаю.— Это ты все можешь писать, не боюсь, а сказать тебе, извини за выражение, скажу правду. Так? Вот не соврать, в двадцать пятом годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру, лежала она в горах, никому не нада была, а мы скумекали. Теперь гляди: стали мы помаленьку работать, запряглись не хуже той лошади, батя да я, да брат двоюродный, поработали мы год, другой, видим, печура идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей, начали мы таскать каменья, запруду сделали, все честь по чести, колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши — это тебе как? И завертелась эта у нас механика! На месте все и точили, на берег выкатали по доскам, складали — это тебе и есть наша русская сметка! Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем и на него! Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли...

Нестор поник головой, стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался.

— Теперь вот за песнями едут, нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я — хозяин, я тут все знаю, я тут произрос — вот тебе и задача.

Погасили лампу, легли. Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море, и я был взволнован, в чем-то уязвлен, и как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал... И вся его зависть, и ненависть, и злость — все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал — теперь ушло, он не собой стал, сны на него спустились, и он был далеко, а в этой темно-душной избушке лежало тело его, сильные руки его, столько переделавшие за всю жизнь. И руки его были добры, тогда как мысли — злы.

На другой день уныло свистал ветер, мотались на вешалках сети, мело песок по берегу, море волновалось, грохотало, вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удрученный, шил себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно.

А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался, на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой: «Делать нечего, так его растак!»

Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов, я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто — видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры — все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы! И добр, весел, общителен, но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним.

В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд. Много попадалось

ним кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально-дущисто пахло, и небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень...

Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, все для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир всхрапнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновенье останавливался, поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я уж и спешить бросил, знал, что все равно Кир выстрелит первым, и только следил за ним издали.

Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно, я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать. Подобравшись к самому берегу, Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружье, видно, обнесло, утки полетели, одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопотала к дальнему берегу, к осоке. Кир оставил ружье и помчался кругом к тому же месту. Утка повернула назад, но увидала меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел, он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее и тут же прокусил ей мозжечок. На берег он выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.

— Тепе! — сказал он радостно.— Пери, тепе!

И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, полз, стрелял, раза два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершено меня, но я глаз не мог оторвать от него — притягательна все-таки человеческая сила!

Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.

5

День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом.

Но вот наступает какая-то ночь и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только по очереди, очень редко и нежно — шша... шша... И море не черно, а дымно: над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море, далеко к северу, может быть против Кеги, стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни.

На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколеневшими руками и лицами, шумят, топают, грохают дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут смотреть тайники, и я с ними.

Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность! Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крякают, суют карбас в море, и вот он

уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих froднях, по очереди прыгают и переваливаются внутрь, разбирают весла, садятся, выправляют карбас против волны и гребут.

Вообразите гребцов-спортсменов — как они откидываются назад, как рвут весла на «восьмерках» — каждый одно,— как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде, сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в уключинах, а в колышках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко — так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать.

От карбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно — рыбой, смолой, водорослями, солью и еще бог знает чем — или это море так пахнет? Вода под носом журчит, пенится, колышки поскрипывают, попискивают, берег все дальше, серые избушки на серобелом песке почти неразличимы, и все ближе колья тайников.

Вот мы идем уже вдоль перемета — длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу,— подходим к воротам тайника, Кир поднимает весла, гребет и разворачивает карбас один Нестор на корме. Кир оглядывается, некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов колышки (чтобы не цеплялись потом за сеть), кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас

протискивается в тайник, ворота поддергивают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное.

Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает то же. Они поддергивают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на сгибе коленками и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимается. Ячеи уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водорослей, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пиногор с негритянскими губами, кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не главное. Наконец Нестор оживляется, крякает, а Кир вопит: «Хорсё! Хорсё!» — и гогочет, и полощет в воде своими красными лапами.

Показалась семга, ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны, волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.

Через минуту вся семга оглушена, осторожно положена в карбас и укрыта. Брошена, — но уже небрежно — туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пиногоры, и сеть уже выбрасывается за борт, карбас

подводят к другой половине тайника, и там начинается то же самое.

Потом и ту половину опускают, все приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекладывать семгу — нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи.

Семга не так крупна, в каждой килограммов примерно по шесть, попалось ее одиннадцать штук, значит, шестьдесят килограммов примерно — по рублю за килограмм... Да минус вычеты, в общем, рублей сорок пять есть! — таковы размышления Нестора, и, судя по его лицу, это вовсе неплохо. Да еще к вечеру попадется. Ничего, жить пока можно! Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя, и сколько он вообще поймает семги за этот сезон, сколько заработает и как распорядится деньгами... А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону — полный покой!

Отдохнув, рыбаки гребут к берегу.

Пришел наконец мотобот за моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто робинзоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой, наконец один побежал к нам.

— Здравствуйте, — сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен. — Не дадите карбаса, на бот переехать?

— А свой где потеряли? — хмуро, не глядя на моряка, спросил Нестор.

— Да вот, с бота сигналили, что шлюпка неисправна.

Нестор насупился.

— Так не дадите ли карбаса? — повторил моряк, уже неуверенно.

— Разобьете, — сказал Нестор.

— Что вы! — Моряк оживился, снял бескозырку. — Свои-то не бьем!

— Какие же свои? Своих-то у вас, видишь, нету.

— Да уж мы осторожно...

Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру:

— Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри, туда не греби, пускай сами гребут! — крикнул он вдогонку.

Кир радостно вышел — он положительно не мог сидеть без дела.

— Ах, дураки! — говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. — Со шлюпкой у них неладно, да за это...

Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня. Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил, ему хотелось говорить...

— Помню, давно весной после зверобойки собираемся, бывало, мы в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какое, значит, судно нам требуется. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот приходим в Норвегию, скажем в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем ихний товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окон-

чательный расчет, так? После... После этого делим по паям.

— А паи ровные? — спрашиваю я.

— Погоди! Я знаю, куда клонишь. Я таких-то вас видал сознательных... Ровное! Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же, сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят — какое такое тут может быть ровное? Не в том дело!

Теперь... Теперь получаю я свои деньги. Скажем, так — скажем, три сотни. Сейчас думаю: батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо: товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на Двине стоит, нас дожидает, вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, и еще денег остается — скажем, сотня. Ее в карман. Ее в сундучок, на самое донышко, над ней дрожишь, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот. После того по родне походишь, с друзьями свидишься, кофию попьешь в Соломбале, всякие такие новости узнаешь, что, где, почем, когда ярманка будет и какие на ей цены ожидают.

Понял, к чему я веду? А другой, такой же, как и я, рыбак, зверобойшик, сосед мой — он, к примеру, получит, может, поболе моего, так? Получит, закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступат, он глаза свои винищем нальет. Он три дня гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на опохмел. Это как же? Это тебе как же? — заорал с ненавистью Нестор. — Лодарь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть!

Я вышел на берег, было пасмурно, только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море, чем дальше к горизонту, тем становилось веселее, ярче. А здесь было пасмурно...

Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь



на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся — отделился от него и Кир на своем карбасе и теперь часто греб к берегу, но казалось, не двигался.

Мотобот удалялся, поваливался, мачты его качались. Щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотобота, вахтенного в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь, на этом пустынном берегу, а теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят небось сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры... А впереди Архангельск и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины — помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали, соседей-рыбаков?

Захотелось вдруг и мне домой. Пора! Не буду больше видеть Нестора и его Кира, не буду больше ощущать неприязненный, недоверчивый взгляд, брошенный исподлобья.

Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, которые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы... Хватит!

А мне махал уже из карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег карбас, и вместе мы пошли в дом.

На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться. И Нестор вдруг стал как-то смущен, суетился,

стариковство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть.

— Ты не серчай, — бормотал он и отводил глаза. — Я это тебе... Давеча говорили... Что ж такое! Подрасстроился я с этими моряками, не люблю непорядка... Может, что и сказал не то, так ты уж не серчай...

— Ладно,— сказал я.— Чего там! Будь здоров. У всякого свое.

— Ну пойдем, пойдем... — говорил Нестор, одеваясь. — Я тебя провожу маленько... Мало пожил, семга сейчас самая пойдет, пожил бы еще... Кир, пойдем, проводим товарища.

Мы шли по берегу, Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывал на небо, думал о погоде. Кир почему-то шел шагах в двадцати впереди.

Так прошли километра два, и Нестор остановился.

— Пароход завтра привернет, — сказал он. — Ведь ты у меня поночуешь? Скажи там старухе — все хорошо, скоро в гости будем. Ну, бывай, значит!

Пожали друг другу руки, Кир потопал броднем по твердому песку — был отлив, — и закричал:

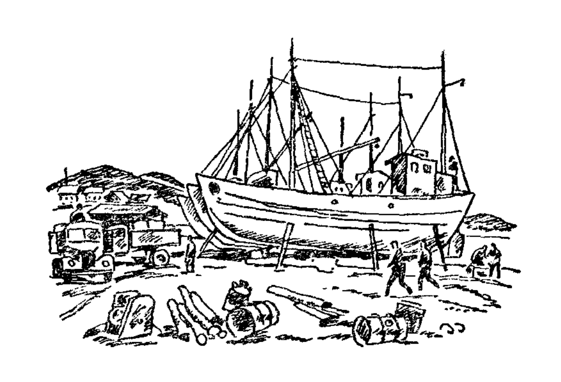
— Хорсё! Лекко тти! Хорсё!

И радовался, обдавал меня голубизной глаз своих, хлопал по плечу и топал броднями, показывая, как легко мне будет идти.

Скоро потеряли мы друг друга из виду, а потом я уж и не думал о них, а думал о будущих днях, как всегда бывает, когда уходишь откуда-нибудь. А когда, пройдя километров десять, присел на берегу шумящего ручья и решил закусить, и полез в рюкзак — рука моя нащупала большой сверток. В старой газете завернута была половина семги, малосольной прекрасной семги,— это Нестор сунул мне на дорогу...

Ах, Нестор, Нестор!

1961 г.



НА МУРМАНСКОЙ БАНКЕ

Как я слонялся по многоэтажному Управлению тралового флота! Как ходил из кабинета в кабинет, какие люди меня окружали — с нашивками, в фуражках и просто в беретах, пижоны с перстнями и бородатые, стриженые и с челками, в ватниках и в цветных заграничных рубашках! Какие слова слышал я там о визах, о премиальных, о полярных и экваториальных, какие оживленные очереди стояли у дверей отдела кадров, всевозможных начальников и капитанов! Канада, Ньюфаундленд, Северная Атлантика, Гренландия, Африка, Экватор, Норвежское море — были места, откуда пришли все эти пижоны, штурманы, стармехи, бородачи и клешники — или куда они должны уйти завтра!

И вот я вписан в судовую роль, знаю судно, на ко-

тором иду в море,— РТ-106 — знаю, когда являться на борт и что взять с собой, брожу по пустоватому светлому Мурманску, но меня все тянет в порт, я иду туда и, едва вывертываю из-за угла к какому-то причалу,— сразу бросается в глаза мне высоко задранный нос траулера... Веет кругом крепкий запах рыбы, досок, снастей, воды. Красные скалы на той стороне залива мощно возносятся к небу. Дымят, рявкают, гукают, сходятся и расходятся, стоят у причалов, медленно вытягиваются или, наоборот, втискиваются сотни траулеров, сейнеров, рефрижераторов, буксиров, ботов и катеров.

Я шагаю по палубам, поднимаюсь над бортами, спускаюсь к трюмам — везде какая-то работа, вахтенные, паровой сип, тросы, прелые канаты, везде по бортам, по надстройкам висят, сохнут траловые сети, лежат вдоль бортов красные от ржавчины, пряно пахнущие морем бобинцы и кухтыля.

Сипло рявкая, портовый буксир ведет наш РТ-106 в угольный порт, и вот уж я сижу в каюте, слушаю, как со звоном и шорохом бежит по железным желобам в бункер уголь. Устроился я прекрасно, в каюте под рубкой, по левому борту, хозяином которой был сероглазый Щербина,— второй помощник капитана,— которого все звали Афанасьичем, хоть и был он молод, лет двадцать пять, наверно. Я все мечтал об отдельной каюте, о покое, о свободе — буду ли писать или чай пить, или спать, — я один! Но Афанасьич, будто старого друга встретил, стал уговаривать:

— Чего вы будете в отдельной каюте? Она в корме, рядом с машиной, шумно, нехорошо! Давайте ко мне, у меня койка свободна, я вам мешать не буду... Идемте ко мне! Я вам не помешаю, все время на вахте или сплю...

Мысль моя об отдельной каюте как-то прошла, я по-

думал неясно: «Ну ладно!» — и был потом рад, что не один, а с Афанасьичем.

А ночью мы стоим уже на рейде, посреди залива. Мы еще не в море, но уже и не в городе, мы отделены от него незримой чертой, переполнены, заняты собственной жизнью. Топятся уже котлы, и пар переполняет их, работает генератор, горят лампы по каютам. Вахтенные уже встали на работу, и капитан в рубке, и боцман тут же, штурман развернул карты, стармех то поднимается в рубку, то спускается в машину, доливает масла, щупает трубы, цилиндры. Разговор о руковицах, об угле, о коке, о продуктах — что взяли, что забыли...

Город же светел и велик, раскинулся по сопкам, но нас нет в нем. Там наша прежняя жизнь, ставшая для нас уже как бы воспоминанием, историей, там наши жены, любимые, друзья, дома́, там горит свет в квартирах, звонят телефоны, торгуют магазины.

Так мы долго стоим в окружении изящных белых лесовозов, рефрижераторов — наш черный высокотрубный РТ-106 с полными бункерами угля, на натянутой якорной цепи. Но вот начинают выбирать якорь, стучит брашпиль, скула траулера окутывается паром, как во время пушечного салюта на старинных гравюрах.

Ночевали мы в Тюва-губе и уходим оттуда утром. Солнце только выглянуло из-за гор, заглянуло в этот мрачный крохотный залив, осветило гранитные обрывы, валуны, деревянный пирс, многочисленные надписи на скалах, на всех камнях — с низу до самой вершины. Я посмотрел и вообразил, как бегут на стоянке моряки вверх, все выше и, как заявки, ставят на камнях имя своего корабля: РТ-37, РТ-251, РТ-69... Что это — жела-

ние увековечить себя, свое дело, оставить хоть какой-то знак по себе в мире? Вся гора расписана — на прощанье, на долгий путь, — все камни до самой вершины.

Забрав лед, соль и пресную воду, мы отваливаем от пирса, разворачиваемся и идем к выходу из Тюва-губы. Навстречу нам выбирает якорь и готовится стать к пирсу другой траулер. И как только мы с ним поравнялись, в широкогорлом гудке нашем заклокотало, засипело и загудело, вызывая громовые раскаты в скалах. Медленно гудим мы три раза, умолкаем и ждем, только эхо перекатывается: «Гу-у-у-у... Гу!» Над встречным траулером появляется облачко пара, и такой же сиплый рев троекратно раздается в Тюва-губе. Эхо заполняет паузы между гудками, и долго Тюва-губа наполнена смешанным сталкивающимся ревом, в котором есть что-то отчаянное, жалкое и тревожное одновременно. Прощание!

Солнце сияло, небо было голубым, но ветер круто посвистывал в снастях, справа мощно бугрился в голубом мареве жестокий остров Кильдин, и впереди, на горизонте, стояла плотная низкая гряда тумана. Волна становилась все больше, наш траулер начало поваливать, вода захлестывала палубу. По левому борту натянули штормовой леер, двери по правому борту задраили. Мы выходили в океан.

Вода все синела, густела, становилась такой плотно-сине-зеленой, что казалась непрозрачной, а на самом деле была чиста, как стекло, и на сотни метров проникал свет солнца в глубину. Мы вошли в полосу Гольфстрима. Почему-то я вспомнил Хемингуэя, как он любил Гольфстрим, как часто смотрел в его синеву там, где он зарождается,— у берегов Мексики. И вот умер, а те волны, на которые он смотрел и бороздил на своем катере, может быть, еще и не дошли к нам.

Когда забираешься вдаль, соединяешься с людьми, о которых вчера еще ничего не слыхал, не знал, когда над головой прозрачная куполообразная синева и медный диск солнца, и все заняты своим делом, ходят, работают, подчиняясь чему-то заведенному не ими, но что выше их и что они навсегда безоговорочно приняли, и ты только гость у них — тебе немного неловко, и остается одно: смотреть на них и думать об их жизни.

И зачем все это? Зачем бросать свой дом, пускаться в путь, спать на полу, на лавках в глухих деревнях, на тонях, на мху возле костра у ночной шумящей реки, смотреть в незнакомые лица, слушать всех людей и трогать их руки? Затем, может быть, чтобы в тысячный раз сказать, что жизнь не остановилась, что солнце еще встает над океанами и ветер крепко бьет в скулы кораблям и что это прекрасно? И что люди гнутся в тяжелой работе и проводят ночи в любовном поту, и сердца их открыты для счастья и скорби, и они знают все о нашем времени — и что это тоже прекрасно?

Берега скрылись, и проходит день и ночь, и еще день и ночь, и еще... Я покачиваюсь в своей каюте, пью кофе с Афанасьичем, брожу по палубе, или поднимаюсь в рубку, или сплю — лебедка гремит, звенит за стеной, звон этот отдается в сотнях метрах натянутого троса и вроде самое море звенит, топот раздается на палубе, траулер валится набок — вытягивают трал.

Мы на Мурманской банке, на северном ее склоне, ходим курсами по всем румбам, и вместе с нами ходят еще десятки траулеров. Везде по горизонту маячат медленно подвигающиеся суда. Все они идут с тралами и издали кажется, что стоят. Пятнадцать, двадцать... Трудно сосчитать! Попадаются и иностранные — здесь

нейтральные воды, и ловят все — они отличаются от наших окраской, более светлой и пестрой.

На одном из наших траулеров находится руководитель лова, каждый день он получает сводки от капитанов, анализирует их, потом выступает по радио, такой деловитый, с хитрецой у него разговор, что мы все улыбаемся от удовольствия.

— Ишь ты! — говорит он и покашливает, и мы слышим, как он дышит.— Набежало сколько сюда! Думаете, здесь малина, а? Нет, дорогие капитаны, малинка-то давно осыпалась...

И он подробно объясняет, кто, как и где ловит и куда, по его мнению, нужно идти, чтобы не крутить нули. (При подъеме пустого трала в судовом журнале в графе улова появляется 0,0.) Затем по очереди выступают капитаны. Как интересно слушать их, какое разнообразие темпераментов и характеров! Один буркнет коротко, сухо, и умолкнет... Другой говорит долго, щегольски о том, как он поставил буй и где именно, и сколько вылавливает, и какая рыба — чувствуется, что выступать для него истинное наслаждение. Третий говорит неинтересно, неграмотно, и не поймешь, что и как там у него. Четвертый — будто доклад прочтет. А один говорил о своих неудачах, так у него даже голос дрожал от обиды, и закончил так: «Вот, значит, какая фиговина... Я теперь уж и что делать-то не знаю!»

Небо закрыто, обложено со всех сторон, только и сверкнуло, когда выходили мы в океан, когда в туманной голубизне справа краснели страшные стены острова Кильдин. С тех пор свет рассеян, призрачен, а море бирюзово, размыто, прозрачно-туманно. Катятся и катятся валы на север, подходят под корму, но на-

ное судно, как взнузданный конь, на натянутых тросах, сдерживается, и где-то сзади в глубине влачится трал. Где-то он там в темной голубизне вздымает облака ила, обрывает водоросли, распугивает косяки рыб, неуклонно реет, молчаливый, смертельный — час и еще час...

Первый час ночи, вода за бортом мыльно-голубая. Недавно поднялся на вахту Афанасьич. Некоторое время я стою на липкой жирной палубе.

Луна сияла красно и низко над Архангельском, когда в прошлый год уезжали мы в середине августа. И была ночь, уже не белая, но и не темная, еще — сумеречная.

И опять средина августа, но теперь я на тысячу миль севернее, и ночь тут держится, несмотря на облака — белая, светлая ночь.

Я пробираюсь на корму — в глубине подо мной вращается винт, вода за кормой белеет, крутится воронками. Валы обгоняют нас, поднимают корму и опускают, и сверху вниз раскачивается линия горизонта. Чайки не спят, терпеливо и неподвижно висят на распластанных крыльях за кормой. Иногда они медленно летят вдоль борта, с жадностью заглядывают на палубу, облетают полубак и снова возвращаются к корме. Среди них есть большие голубоватые морские чайки, есть кургузые с коричневатой спинкой глупыши и есть солдаты. Солдаты черны, с длинным ромбовидным хвостом, стремительны, мрачно-хищны и вещи, как птица Алконост — птица смерти и печали. В них присутствует что-то вечное, доисторическое. Если долго глядеть на них, проваливаешься в пучину времени, к варягам, и еще дальше к первобытности, когда над холодным океаном вздымались одни скалы и не было никого нигде, а одни эти черные колдовские птицы.

В рубке тепло и голубовато. Потеет, сочится маслом

штурвальная машинка, и когда вахтенный слегка поворачивает штурвал, машинка стучит, пшикает и потом долго слабо сипит паром. Траулер медленно приподнимается и опускается. Со звоном всплескивает за бортом волна, медленно переливается через борт, пенно шипит на палубе, перекатывается от борта к борту, потом вместе с рыбьими внутренностями, уже розовая, низвергается обратно в море. Чайки трепещут, присаживаются, взлетают,— и хищно реют солдаты.

Трал недавно поднят и снова спущен. Теперь на палубе за длинным столом работают матросы, шкерят треску, зубатку, окуня, кровь стекает со стола.

Капитан Чернов, заспанный, выходит из своей каюты, зевает, трет расплывшееся лицо.

— Ну как, Афанасьич? — сонно, добродушно спрашивает он, открывает боковое окно и смотрит в бинокль.

Афанасьич играет красивыми бровями, смотрит на часы, усмехается.

— Семнадцать часов как не курю, Сергей Михайлович! Доведу до суток, а там поглядим...

— Как трал?

— Килограмм восемьсот подняли.

— Ну, Афанасьич, как?— опять говорит Чернов, переходит к другому борту и там смотрит в бинокль.— Значит, так... Афанасьич, а? Может, на зюйд пойдем, а? Значит, решено.

Он ходит по рубке, мимоходом заглядывает в штурманскую карту, опять выглядывает в окно.

— Значит, идем так: час пятнадцать на зюйд, потом поворот тридцать минут, и час пятнадцать на норд. Афанасьич — а? Значит, решено... Поворот левый.

— Ясно вижу,— так же по-домашнему отвечает Афанасьич, смотрит на компас, слегка трогает штурвал.

Машинка тарахтит. Капитан уходит спать, мы остаемся вдвоем. Некоторое время я топчусь по рубке, разглядываю карту, судовой журнал. Поскрипывает эхолот, глубина 275 метров. Записи в журнале кратки и однообразны: подъем трала, глубина, курс, спуск трала...

Спускаюсь на палубу. Ночь, волны за бортом, траулеры на горизонте. Слабый холодный ветер, звон тросов, молчаливо парящие чайки, тишина.

А под палубой, ближе к корме — свет, шум и жар! Там безостановочно работает машина. Рубчатые железные настилы под ногами скользки от масла, все блестит, шипит, гудит, металлически и горячо пахнет. В тесном пространстве, сжатые, сконцентрированные до невозможности, чавкают, пышут поршни, желто поблескивает коленчатый вал, дрожат стрелки манометров, гудит генератор, оплетают все кругом трубы, дрожат от напряжения выложенные асбестом котлы, фланцы... Тут же, только пройти, нагнувшись в черноту, в провал — кочегарка, как шахта. Здесь слабый свет, черные стены, мутный блеск угля. Здесь гудят топки, мерцает, рвется пламя. Еще дальше в тоннеле, в маслянистом желтом свете лампочки ворочается длинный барабан, дробит, перемалывает сваренные и высушенные рыбьи головы и внутренности, превращает их в порошок, который идет потом на корм скоту. А наверху, в маленькой камере, клокочет автоклав — там варится в закатанных банках тресковая печень.

Весь корабль от киля до мостика дрожит, мерно дышит, вспарывает волны, тащит трал, все в нем живет, горит, ворочается, кипит — маленький завод среди океана!

Только на полубаке тихо, все спят. Сильно пахнет сапогами, портянками, брезентовыми робами, рукавицами. Спят ребята, повернувшись от света лицом к бор-

ту, за которым звенит и плещет вода. Иллюминаторы задраены, ни разговоров, ничего — один только сидит возле стола, курит, читает приключенческое.

— На полубаке! — раздается сиплое с мостика.— Подьем трала!

Это вызывают вахту на палубу. Сперва все двигаются вяло, потихоньку. Медленно натягивают робы, рукавицы, готовят стол, прогревают лебедку. Затем со звоном, с гулом начинают крутиться оба барабана, и нескончаемо, мокро и блестяще ползут из воды оба троса. Показываются в глубине распорные доски, и начинается суета на палубе, доски крепят к бортам, кричат «Вирай! Майнай!» — доски отцепляют, опять звенит лебедка, проходит минута, другая, и вот разом обозначаются на поверхности моря бобинцы (поплавки), и траловый мешок тут же всплывает вслед за бобинцами метрах в двадцати от борта. Траулер стопорит, даже слегка срабатывает назад. Чайки приходят в неистовство, кружат над опутанным сетью рыбным шаром, присаживаются на него, взлетают. А на палубе между тем идет возня со стрелами, с тросами, канатами, по очереди подтягивают то один, то другой конец, тралмейстер хватается за канаты, покрикивает, припустит иногда матерком, мокрый трал все выше, с него льется на людей вода, но никто не обращает внимания, бегают, завязывают, подтягивают — и наконец трал повисает над палубой. Дергают за нижнюю завязку, трал раскрывается, и рыба с плеском, с влажным шуршанием валится вниз.

Треска, палтус, зубатка пятнистая и зубатка голубая, морские скаты, камбала, морской окунь, звезды, раковины — все перемешано, оглушено, задавлено, все лежит толстым слоем в деревянных бортиках, по рыбе бегают, по колено, не обращают на нее внимания, все

шняты новым спуском трала за борт. Опять гремит лебедка, кричат и дерутся чайки, на воде плавают вздувшиеся рыбины, траулер покачивается, с громом переваливают за борт кухтыля, еще травят тросы, ставят распорные доски, дают малый ход вперед, тросы натягиваются, и трал уходит в глубину.

Рыба лежит горой на палубе. Полтонны или тонна. Иногда полторы тонны. Вынутая из глубины, она неподвижно и мучительно засыпает. У трески вылупляются пузырями глаза, топорщатся плавники. Из-за разницы давлений из разинутых пастей выдавливаются розовые пузыри. Потягивается в смертельной истоме зубатка. Красный морской окунь становится еще страшнее, отвратительней и краснее, морские скаты меняют цвет, будто кричат цветом, ужасаются, молят о пощаде, о воде, о темно-синей глубине. Но всех их, всю массу рыбы заливает рассеянный серо-молочный свет белой ночи, все они лежат в тишине, под небом, под нервными пролетами чаек, под рабочеделовыми взглядами людей.

Оцепенение продолжается с минуту. Вдруг вся масса приходит в неистовство. Начинает биться одна какая-нибудь упругая треска, ее бешенство нервным током пробегает по другим, все колотятся, плещутся, трутся, извиваются, кусают кого попало, трепещут, дрожат телами и хвостами. Только зубатки как бы потягиваются, как бы проснулись после приятного сна, как бы ошеломлены и чувствуют приятную истому.

У торца стола становится матрос с тяжелым секачом, за ним вдоль стола — еще три-четыре человека. А по колено в рыбе еще один с чем-то вроде остроги, поддевает сразу несколько рыбин, бросает на стол брюхом в одну сторону. Матрос с секачом быстро, автоматически отрубает у каждой голову. Голову бросает на палубу, себе под ноги, а тела двигает дальше. И там

уже делают разрез по животу, выбрасывают внутренности, отодвигают в кучу печень. Кровь снова начинает литься по столу, стекать на палубу — и опять смачная работа, шкерят, шкерят и бросают распластанную рыбу вниз в открытый зев трюма.

Глядя на работу матросов, на чаек, на море, на рассеянный ночной свет, я вдруг вообразил все пространство океана и земли. В эту самую минуту в морях, на юг и на север, неукротимо идут огромные корабли, топчутся и зевают на мостиках и в рубках вахтенные, горят нактоузные и топовые огни, гудят турбины и дизеля, шумит разваливаемая вода, глубоко под водой в пузырях и завихрениях вращаются безостановочно гребные винты, и каждый капитан думает в эту минуту, что он делает самое важное дело в мире.

Далеко на юге, в сотнях милях от нас, начинается земля, ее валуны и скалы, и мох, и там, в глубине Кольского залива, стоит Мурманск с громадным своим рыбным портом, с широкими улицами, тихими и светлыми, с запоздалыми моряками и женщинами, с многоэтажными домами, со своими прокуренными кабинетами, в которых люди за зелеными столами все не могут разойтись, говорят, докладывают, принимают решения и постановления, и всегда во всех решениях и постановлениях на первом месте одни и те же слова: «улучшить», «увеличить», «усилить»...

А еще южнее за тысячу километров в каком-нибудь районном глухом городе уже темная ночь. Там тоже почти все спят, и только ресторан работает, в который ведет деревянная лестница наверх с запахом отхожего места, с засохшей пальмой на верхней площадке. А в ресторане этом свет, крутят радиолу, сидят местные пижоны с девушками, все красные, с расстегнутыми воротами или совсем скинутыми пиджаками, счастли-

вые оттого, что ведут в этот поздний час такую великолепную жизнь. И даже танцуют возле буфета, задевая сонных раздраженных официанток, крепко прижимая к себе девушек.

Еще дальше начинается протяженность железных дорог, многие города, заводы и шахты. Где-то во тьме полыхают багровые сполохи, и красный дым поднимается тучами к небу от громадных коксовых печей. У подножья этих печей посвистывают паровозы, толкают составы с углем, бегают чумазые смазчики, ловко пролезают под вагонами, шлак хрустит у них под ногами, кричат где-то и машут фонарями, дудят диспетчерские рожки, хриплые их голоса раскатываются по радио над путями, зудят зуммеры на столбах — и каждый из всех этих машинистов, рабочих, смазчиков знает, думает с уверенностью, что делает нужное, полезное дело.

В Западной Европе в эту минуту на улицах городов огни реклам, и только съезжаются в ночные бары, только садятся, подтягивают брюки, обнажая блистательную обувь, расправляют платья, только заказывают себе вино, и только еще выходят на ресторанные эстрады к микрофонам знаменитые безголосые певцы,— и джазы, где каждый трубач и пианист тоже знаменит и каждый не слишком умеет играть, уже сотрясают подвальные этажи отелей резкими аккордами.

В Африке тоже ночь, но там над лесами стелются дымы пожаров и умирают по полям и в казармах, и в спецлагерях простреленные негры и становятся в момент смерти светло-серыми, пепельными, потому что из них уходит кровь. И танки сотрясают землю, и от них тянет кислым запахом пороха так же, как и двадцать лет назад.

Министры и президенты отдыхают в эту минуту

в своих загородных резиденциях, но и в отдыхе не знают покоя и постоянно соединены прямой телефонной связью со всеми важнейшими организациями — с полицией, с военными министерствами, с тюрьмами, железными дорогами, наблюдательными пунктами и аэродромами. И они тоже думают, что делают единственно важное и необходимое человечеству дело.

А земля в эту минуту медленно поворачивается, и с одной стороны у нее свет, а с другой — тьма. Она летит, наполненная титанической энергией, в пространство, которое каждую минуту ново, и для нее одна только сила важна, сила солнца, в то время как люди решают ее судьбу.

И летят уже долгие дни в сторону Венеры, Луны и Марса, которые ежевечерне так загадочно и постоянно восходят над горизонтом, которые переливаются над туманами и лесами, над городами и небоскребами, над гладью океанов,— летят ракеты, спутники, изготовленные на Земле из стали, добытой где-нибудь на Урале, и многим из этих ракет и спутников уже никогда не суждено вернуться на Землю.

Все двигается, шевелится, думает, действует, приливает и отливает, умирает и рождается в то время, пока здесь, на борту траулера, шкерят всяческую рыбу, работают внизу машины, не спят на вахте в рубке, и спят на полубаке незанятые работой.

Протискиваюсь в трюм через люк возле полубака по отвесному трапу. В трюме ослепительно, вернее, не в трюме, а в щели между положенными на лед досками и палубой-потолком наверху. Ползу по этой щели на звук смачных шлепков. Наконец можно встать на четвереньки, а затем уже и стоять согнувшись.

Глубокие отсеки по бортам уже забиты до половины треской, палтусом, зубаткой, уже круто посолены, но еще не осели, не дали сока. Свет ламп искрится на льду, на соли, на тускло-желтых ее кучах. Рыбмастер Николай Дьячков — узколицый, тихий, работает один, потому что рыбы пока немного, работает споро и уютно. Подгребает лопатой соль, гребет и рыбу, окровавленную, выпотрошенную, обезглавленную, но еще живую, вяло подрагивающую хвостом, непрерывно шмякающую сверху, набивает ее солью и укладывает рядами, как дрова в поленницу. Тихо и спокойно рассказывает о жизни на траулере, о заработках, о том, что теперь рыбу солят, а в самые последние дни солить не будут, а повезут в порт «свежьем» — то есть охлажденной, во льду.

А рыба все валится, брызгает кровью, через полчаса я уж весь запачкан, забрызган, промерз во влажном холоде, просолился не хуже трески, так что потом, когда вылез и обсох, весь пошел заскорузлыми соляными пятнами.

Что толку в поэзии, если не понимать великой важности всего, к чему прикоснулся? И если обо всем говорить: не то, не то — и искать непременно что-то особенное? Сорок человек на траулере, а я не поговорил и с десятью, вот что горько! Да и не понимаю я, как это говорить специально. Это как-то само собой выходит, но зато лучше видно, кто чего стоит, каков ты сам.

Все-таки здорово, когда не штормит и ты в каюте, выковыриваешь из банки сгущенный кофе, бежишь на камбуз за кипятком. Какая каюта — три квадратных метра! А смотришь, придет, сменится с вахты Афанасьич, сосед зайдет, стармех Егор Иванович Палькин,

и капитан Чернов втиснется, и встанет в дверях со своей тихой улыбкой рыбмастер Дьячков...

И хоть капитан Чернов «гагановец» (он принял траулер в начале 1960 года), хоть команда траулера все время перевыполняет план, хоть все, как правило, берут повышенные обязательства — разговоры в каюте обычно вертятся вокруг дома. Говорят о женах, о детях, о жилплощади, о том, как мало приходится бывать дома: две недели в море! В порту, если нет ремонта, приходится стоять дня два-три, да и в эти дни не освобождают от вахт, а потом снова в море. Тут же разговор переходит на штормы и туманы, что сейчас хорошо, погода устойчива, а если и штормы, то ненадолго. А вот зимой, осенью — только держись! Но и это еще ничего, подумаешь, две недели, вот когда уходят к берегам Америки, месяца на два, на четыре, и все эти месяцы ни разу не видят земли, не ступят ногой на твердое — это да! Со смехом говорят, что теперь на траулерах нет женщин. Раньше были — буфетчицы,— но жены моряков много писали во все инстанции, и вот теперь женщин на кораблях не полагается. А на норвежских траулерах нет почему-то парового отопления, топят камельки — вроде уютней, но и неудобно, хлопотно и дымно. И питаются наши моряки лучше. Наш моряк ест от пуза и часто, в перерывах еще и чай пьет или кофе.

И так мы не один раз сходимся, говорим о том о сем, и мне становятся понятнее все эти люди. Это уже не капитан, стармех и помощник капитана, и рыбмастер, это Сергей Михайлович Чернов — Афанасьич— Егор Иванович — люди одной судьбы, одной работы. Один чуть растолстел, обрюзг, хоть и молод, у другого запухшие глазки, жены у них и дети, и всякие такие домашние дела, хлопоты, неприятности, и работа идет

ни так, как им хочется, и в траловом управлении попадаются такие дубы, что будь здоров! Но в них есть и другое, подспудное, что позволяет им выдерживать десятилетиями свою морскую жизнь, выполнять и перевыполнять всяческие планы, ругаться до хрипоты из-за ремонта, из-за частей, болеть за свое судно и гордиться его успехами.

Мы и кофеек-то попиваем и разговариваем подолгу потому только, что рыба не особенно идет, редко когда больше тонны, и с ней вполне управляется вахта. А пойдет рыба, тут не до кофейка, только поспать бы кое-как, а то все работа, работа, работа — по шестнадцать часов на палубе в качку!

И вот когда пришла мне пора прощаться и уезжать в Мурманск,— может быть, и завидовали мне втайне моряки, не знаю, а мне было грустно, лезла в голову всякая ерунда. Например, почему не живет человек лет по пятьсот? Лет десять можно было бы в море поработать, лет десять — где-нибудь в горах, лет десять покосить хлеб, лет десять книги пописать...

В тот же день шел как раз в Мурманск траулер «Стрелок». Вытащив трал, мы пошли полным ходом на север, где на горизонте дымил «Стрелок». Вдруг накатил туман — ничего не стало видно, капитан наш по инструкции начал давать гудки. Один гудок с интервалом в минуту.

Дикое это ощущение — плыть в тумане! Не видно неба, не видно горизонта, ничего, море приобретает странный мыльный цвет. Гудок задушенно ревет наверху, и где-то в неизвестности откликается ему другой. Гудки сближаются и вот, как на переводной картинке, появляется в тумане силуэт другого корабля...

Начинаем спускать шлюпку. Из-за волнения никак

ее не удается выпихнуть за борт, только выпихнут и начнут спускать, как она наседает снова на борт.

Но вот шлюпка спущена, матросы валятся в нее, улучив момент, прыгаю и я, тут и Афанасьич, и Егор Иванович, матросы умащиваются на весла, Афанасьич, раскорячась, выпрямляется, держится за румпель, поднимает руку и поет:

— И-и-и... рраз! И-и-и... два! И-и-и... рраз!

Через десять минут мы у борта «Стрелка». Незнакомые лица, незнакомый корабль. Я уже на борту, в последний раз смотрю на Афанасьича, на Егора Ивановича, на матросов — они внизу, уж оттолкнулись, уж зашевелили тонкими ножками весел, поползли назад, в туман — все дальше. Машем друг другу, туман так же быстро, как и навалился, расходится, и оба корабля оказываются совсем близко друг от друга.

Три раза долго и щемяще гудит РТ-106, три раза отвечает ему «Стрелок», РТ-106 отворачивает и начинает уходить, сильно дымя. А мы ждем. Ждем капитана еще одного траулера. Капитан этот заболел, связался с Мурманском по радио, рассказал о том, что чувствует, ему приказали оставить судно и добираться в Мурманск, и вот «Стрелок» его ждет. Подходит еще траулер, тоже спускает шлюпку, больной капитан поднимается и сразу же просит взаймы бобинцы.

Наконец мы трогаемся. Мне дали каюту в самой корме, над винтом, и всю ночь в днище била отбрасываемая винтом вода, всю ночь гремело в корме: «Бу-бу-бу-бу-бу».

А днем мы входили в Кольский залив, и еще миль за сорок от Мурманска все свободные моряки уже переоделись, торчат на палубе, а палубу и вообще все моют, скребут, убирают. В рубке оба капитана рассказывают друг другу и всем, кто рядом, страшные исто-

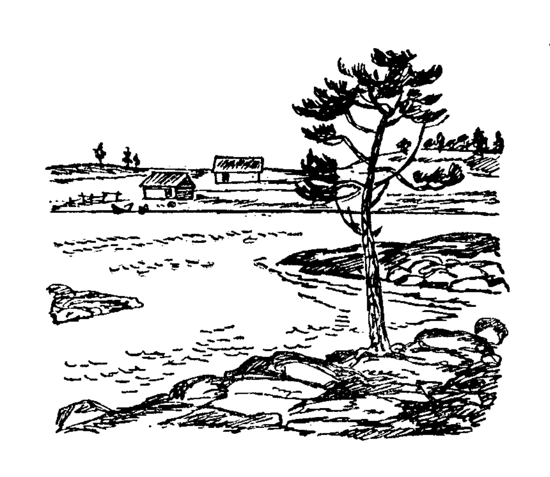
рии о штормах, туманах, авариях и спасениях. Показался и быстро приблизился Мурманск, пошли мимо причалы, но «Стрелку» никак не удавалось войти в узкую щель между уже стоящими у причала траулерами...

Из рубки свистнули в машину, и когда из машины ответили, крикнули туда, чтоб не отходили от реверса.

— Да я уж два часа у реверса стою! — ответили из машины.— Скоро вы там, черти?

Прекрасны все-таки море и моряки!

Август 1961 г.— апрель 1962 г.



КАЛЕВАЛА

В Кеми мне сказали, что где-то далеко на западе в глуши Карелии есть будто бы район Калевала и что живут там рунопевцы. И будто сосна есть на берегу озера, под этой сосной собираются старики — последние могикане,— поют свои руны и, как тысячу лет назад, все еще славят великого Вяйнемейнена.

Тогда забыл я на время море, рыбаков, все эти пустынные берега с редкими тонями — и поехал в Калевалу, как в сказку, как за Жар-Птицей. Солнце то выходило, то скрывалось, и даже дождь принимался, и все разнообразные камни и мхи, сосны и озера — то сверкали, голубели и краснели, то принимали неопределенный мрачный тон, от которого толчки на ужасной до-

роге делались мучительней и закрадывалась угрюмая мысль: «Зачем я еду?»

Река Кемь со своими порогами, с островами, со сплавным лесом, на многие километры запружавшим ее, то объявлялась, то пропадала, как и солнце, дорога шла то в гору, то под гору, час проходил за часом, народ в автобусе менялся, говорили кругом уже по-фински, пахли все лесом, годами не снимаемой закоженелой одежей, мокрыми платками и фуражками, на полу поскрипывали уже пестери и корзины с морошкой, черникой...

Шофер, чем дальше от Кеми, тем становился ленивей и веселее, болтал с пассажирами, правил одной рукой, другую без конца запускал в первую попавшуюся корзину, горстями ел морошку и чернику, и губы у него давно уж стали синими. На дорогу выходили коровы и лошади с боталами, стояли, задумчиво глядя на приближающийся автобус. Автобус останавливался, шофер уже двумя руками ел морошку и ждал, когда можно будет ехать.

Попадались пастухи, рыбаки и лесники с суковатыми удилищами. Все они были в брезентовых плащах и высоких сапогах, блесны у них были величиной с ладонь, щуки, пачкая плащи слизью, свешивались с плеч и шлепали хвостами по сапогам. Между тем облака впереди стали синеть, а гранитные валуны по сторонам — краснеть. Блеснуло солнце, уже низкое, мягкое, и тотчас на горизонте заблистало, затуманилось, вспучилось громадное пространство воды. Мы подъезжали к Куйтто-ярви. Оно лежало спокойное, жемчужно-палевое, а острова на нем и облака над ним были голубые.

Печален все-таки север! Лет шесть назад попал я на север впервые, всю ночь плыл на пароходе из Архан

гельска, долго не спал, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки, сияла низкая багровая луна, у борта вспыхивали, мерцали зеленые искры, а широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блистающем мареве.

А когда проснулся утром — пароход давно уже стоял в Пертоминске, на пристани была суета, катили бочки с селедкой, что-то грузили и выгружали, кричали и махали друг другу. Завывали лебедки, туда и сюда поворачивались стрелы, и какой же запах охватил сразу меня — запах моря, соленой рыбы, дерева, смолы, перегорелого угля,— какие тут же, возле парохода, покачивались карбасы, дорки, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, матч и какой был к северу за горами, за выходом из Унской губы, глубокий морской простор! И все это грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу то, о чем только читал когда-то.

Но меня подстерегало и другое — щемящее чувство пустынности, одиночества... Едва устроившись на квартире, едва попив чаю из шумящего самовара, едва вслушавшись в музыку северной растяжистой речи — пошел я на берег Унской губы. Я все забирал влево, зашел по песку далеко от порта, миновал ряд длинных уныло-сизых амбаров и вышел на берег. Все, что было живо, осталось у меня за спиной, я стоял лицом к воде, к пустыне. Какие увидал я маленькие скрюченные березы и елки, какой заунывный ветер мел по берегу песок, катил и катил волну! А противоположный берег губы был уж и совсем дик и пуст, а за ним лежали какие-то деревни, очень редкие, небольшие, и между этими деревнями простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне надо было пройти... Что же это — конец света, край земли, всеми за-

бытый? Но почему же все-таки так легко было у меня на душе, почему светлы были потом мои воспоминания об этом сентябре на севере, об этих берегах и людях, населяющих их?

Так думаю я и также радуюсь на другой день по приезде в Ухту, сидя в ожидании катера, который повезет нас на Ала-ярви. А погода с утра портится, а облака над этой каменистой страной как нигде низки и все придавливают, глушат — робкие, нежные цвета, вспыхивающие под солнцем,— теперь пропали, все стало сизым и серым. Дует ветер, роет на озере крупную беспорядочную волну, возле пристани скребутся бортами лодки и катера, ни одного рыбака не видно на озере, ни одной точки не чернеет.

Со мной сидит Ортье Степанов — здешний писатель, добродушный, круглолицый и веселый. Он доволен, он рад съездить со мной на Ала-ярви, рад, что уговорил поехать туда и Татьяну Перттунен.

И она сидит тут же, принаряженная — едет все-таки в гости,— веселая, изредка перебрасывается с Ортье несколькими словами, усмехается. Не понимаю я по-фински, но слушаю жадно — такой это прекрасный звучный язык, сдвоенные гласные и согласные...

Восемьдесят лет этой Перттунен, даже, наверно, больше, она сказительница, и хоть лицо у нее, как у всех старух — и морщины там, рот запал, глаза повыцвели,— а все-таки присутствует в этом лице еще что-то: гордость ли, сознание ли собственного достоинства или важности своей жизни, или известности, почета, каким она тут верно окружена.

Она совсем не говорит по-русски, на меня не смотрит и ко мне не обращается, да и с Ортье говорит мало, больше раздумывает о чем-то. Живет она одна — сама косит, гребет сено, ловит рыбу, ездит на острова за

ягодой и грибами — словом, делает всю необходимую тяжелую мужицкую работу, без которой тут не проживешь. Но ведь восемьдесят лет!

К тому времени, когда установилась Советская власть в Карелии, ей было уж лет сорок — целую жизнь прожила. И как! Что тут было в прошлом веке, в этом краю лопарей, в краю тихого народа? Смутно воображаются мне бедные дома, бедные люди, темные ночи зимой, тишина над землей, нарушаемая изредка курлыканьем лопаря, едущего на лодке за сто верст в гости или его же выстрелом по лосю. Какие-то стада оленей проходят бесшумно передо мной, прыгают в речках лососи и семги, женщины в белом мелют хлеб у порога, прядут и ткут по лавкам... Были ли тут мельницы? Не было, наверное, и дорог не было, и чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали — ничего этого тут не знали, и время для этого народа как бы и не текло, так же как не течет оно для этих камней и озер.

И сейчас-то здесь не ушла еще та жизнь — радио, электричество, клубы, леспромхозы — это все в Ухте. Ну, а вон там, за теми низкими вараками — что там? И вон там? И там?

Я перевожу взгляд по горизонту, воображаю какие-то деревни среди варак и озер на берегу шумящих порожистых рек, на розовом граните. Вот и Ортье из какой-то такой деревни, и отец его был сказителем, я и снимок с него видел — стоит босой, бородатый, совсем как Лев Толстой, только на поясе нож в ножнах. И сейчас вот мы собрались, едем на какое-то Ала-ярви, в какую-то деревеньку в гости к сказительнице Марии Михеевой.

Над островом, который темнеет вдали, волочится

дождь. Здесь хорошо видно, на много километров окрест все открыто — и видишь, как бродит по озеру, по островам дождь, как повисает темными лохмами то в одной стороне, то в другой...

— Вон, видишь, берег крутой?— спрашивает Ортье.— Вон, где красный обрыв — видишь?

— Ну?

— А вон Дом культуры — видишь? Голая сосна рядом торчит?

— Вижу.

— Так она раньше на этом обрыве стояла.

Он что-то говорит по-фински Татьяне Перттунен, потом опять мне:

— Под этой сосной сто лет назад пели руны. А у стариков все записывал финский ученый — Лённрот. Так и появилась Калевала. А вот этот катер — гляди,— название «Архипп Перттунен» — так? Это прадед нашей Татьяны, он-то и напел почти всю Калевалу. А сосну недавно подмыло, померла она, мы ее выкопали и посадили около Дома культуры. Пускай стоит!

— А! — говорю я. Так вот когда пели Калевалу, глядя на озеро, сидя под сосной — сто лет назад!

В поездках со мной постоянно бывает — то ничего, и все как-то мимо, и дорога отвратительная, и люди попадают все неинтересные, и чувствуешь, как то, из-за чего проехал все эти тысячи километров,— не дается, уходит, и кажется уже, что и вообще-то ничего нет, зря ехал.

А то вдруг все является, все складывается как нельзя лучше, без всяких твоих усилий и именно так, как ты хочешь. Радость тогда, сперва неуверенная, а потом все более полная охватывает тебя, и жизнь прекрасна,

и люди хороши, и писать о них хочется до смерти — вон они какие, вон они как работают, вон они все сильные, большие — лучше тебя! Смотри на них, завидуй и благословляй судьбу: ты видел их, редкое счастье тебе привалило!

Так и сейчас, заводят уже катер, уж он фырчит, и мы на палубе, а палуба дрожит, даже по воде рябь от бортов идет. И погода расходится, вон уже голубые просветы в той стороне, куда мы едем, уж солнечные лучи веерами протянулись над далекими островами, радуги вспыхивают сразу в нескольких местах, а главное — теперь-то уж я знаю: Калевала от меня не уйдет, я ее услышу. И руны ее представляются мне застывшими водопадами в горах, звуком, вышедшим из камня этой страны.

Мы трогаемся, и сразу, будто ждали нас, на Куйтто-ярви объявляются несколько точек и движутся в разные стороны. Это рыбачьи лодки, и на каждой по два рыбака: один на веслах, другой выкидывает сети.

— Много здесь рыбы?— спрашиваю я у Ортье.

— Хо-хо! Рыбка есть, есть рыбка-то,— похохатывает толстый Ортье.— Вот приедем, порыбачим, сам посмотришь, ухи похлебаем...

Ну не чудо ли! Плывем мимо островов. Вот один медленно проходит, утонувший в голубом, опрокинувшийся лесами в воде, вот другой, вот третий... Была бы лодка, была бы пирога какая-нибудь, был бы крепкий спутник, знающий таинственное молчанье леса и воды, была бы палатка, соль, спички, ружье, удочки,— так бы и плыл от острова к острову, опускал бы в тихую воду и вынимал бы весло под пологами белых ночей.

Куйтто-ярви кончается, острова смыкаются, леса

торчат из воды, и прямо по носу синяя протока в Алаярви. Плывем по неподвижной воде, заворачиваем направо, налево, блуждаем среди лесов, наклоненных над водой ив и елей, голова начинает кружиться — вдруг снова вырываемся на простор. Это уже Алаярви.

Еще десять минут, еще полчаса, показывается вдали на берегу деревенька, десяток разбросанных серых пятнышек на всем зеленом. Вот она ближе, видны уже деревянные мостки, народ на них, катер сбавляет ход, с тихим журчанием идет некоторое время по инерции, стукается о мостки, и тут его привязывают.

Почему вышла на берег Марья Михеева — чувствовала ли, ждала ли нас,— не знаю, но вышла, спешит навстречу, и вот они все сходятся: Ортье, Татьяна Перттунен, Марья Михеева, раскидывают руки, обнимаются крест-накрест, но не целуются, прикладываются только щеками, ликуются.

Идем к избе Михеевой. Ортье смеется, покрикивает, распоряжается, и вот уж бежит вниз какой-то мальчишка, готовит карбас и тащит всякие котелки, чайники...

И у Михеевой не говорят по-русски, и мне досадно, так хочется поговорить, расспросить, остается одно, пока они радуются, перебивают друг друга — смотреть. Изба как изба, как наша в какой-нибудь деревне. И все избы такие же, одно только не как у нас, очень редко стоят, заняли всю дугу берега. Поглядишь на одну, потом переведешь взгляд, смотришь, вдали другая, а там еще и еще — места много им в этой пустыне.

Минут через десять мы все спускаемся вниз к карбасу. Он только что просмолен, резко пахнет, липок и черен. И очень строен, с поднятыми кормой и носом,

длинен, остр, как челнок, и верток. Кое-как умещаемся все, пихаемся, отходим на глубокое и гребем. Ортье развалился в середине баркаса, греется на солнце, напевает что-то, я — лицом к носу, гребу кормовыми веслами, Михеева сильно и мерно работает основными. Гребет она без малейшего напряжения, говорит с Татьяной Перттунен, а весла — они как бы сами по себе, отдельно от нее.

Наступила вдруг минута — я как бы очнулся, смотрю с удивлением вокруг — что это? Какие-то старухи со мной в лодке, финская речь: «акка», «юкка», постукивают о борта весла, поскрипывают колышки, справа крутой берег, по берегу сквозь траву, сквозь мох выпирают красные, синие камни, впереди мыс, сосны на мысу... Что это за сосны?

— Священная роща,— говорит Ортье и хохочет, весело ему.— Давным-давно тут кореляки молились, кладбище было...

— А теперь?

— Теперь ничего. Роща и роща. Мы в ней и посидим. Рыбы наловим, костер запалим...

Ветер припал, у нас здесь тихо, гладко, только за мысом видна полоса темной воды — там волны бегут под солнцем, и встряхиваются, выворачиваются серебряными облачками ивы по берегам.

Причаливаем, выходим на берег, под сосны, лезущие наверх, в гору, выносим чайник, котелок, топор. Ортье сразу начинает щепать смолистый пень, раскладывать огонь. Старухи садятся в лодку и уплывают в залив ставить сети. Они двигаются там медленно, подолгу застывают в бездействии со сложенными руками. По воде слабо доносятся их голоса. Вся жизнь их прошла здесь, и какая долгая жизнь, вот они и говорят, и разговоры их, наверное, просты и безыскусственны,

как вся здешняя природа. Карбас их со вздернутыми кормой и носом, с опущенной серединой похож на ладью викингов.

И вот кончилось мое ожидание, кончились все эти окуни и щуки, трепет их в сетях, вот уже жарко, весело пылает огонь, уже полна банка черники, которую между делом набрали старухи, пока мы с Ортье возились у костра, уж котелок над огнем пускает пену, уж высовывается оттуда то окуневый хвост, то щучья пасть...

В Ухте было у нас с Ортье некоторое совещание. «Как насчет выпить,— спросил я.— Взять?» Ортье долго размышлял и колебался, надувал круглые свои щеки и сперва сказал: «Нет!» — а потом все-таки решил: «Взять» — и захохотал.

Теперь мы все налили себе понемногу, и я вспомнил Грузию, и сказал тост, что-то такое длинное и запутанное, а Ортье перевел. Старухи молча выслушали, засмеялись и спросили, как меня звать. Я сказал, они долго приноравливались к моему отчеству «Павлович», но ничего у них не получалось, и тогда они решили: «Пускай он будет просто Юркки!»

— Будь здоров, Юркки!

Уха готова. Но мы едим как-то неохотно, вяло, смотрим по сторонам, и я понимаю вдруг, что уха — это так просто, что-то вроде прелюдии к тому главному, что сейчас начнется.

Ветер окончательно перестает, облака расходятся, солнце устанавливается, пятнает мох под соснами и наши лица. Тянется к озеру дымок от потухающего костра, как впаянная, чернеет на воде, притянутая к берегу, наша лодка.

Старуха Перттунен наклоняет голову, мы с Ортье ложимся, растягиваемся на мху, и Ортье мигает мне: сейчас начнет!

Татьяна Перттунен перебирает узловатыми темными пальцами по юбке, обтягивает ее, смотрит на угли, на их пепел, на их трепетное подергиванье сизостью. Марья Михеева отворачивается, глядит на озеро, будто вспомнила что-то домашнее, что ей там нужно сегодня сделать.

Татьяна Перттунен говорит что-то вполголоса, и Ортье тотчас переводит мне:

— Про то, как Вяйнемейнен играл на кантеле из рыбьих костей...

И она запевает. Раздаются первые звуки ее невыразительного голоса, выговариваются торопливо первые слова, неустойчиво выпевается еще неуловимая на слух мелодия. Да! Она и не поет еще, а говорит речитативом, скоро несется, как ручей в лесу с его разнообразным, высоким и низким бульканьем.

Но лицо ее уже преобразилось — глаза сведены в одну точку, пальцы двигаются, скрючиваются и распускаются, голова вздрагивает и откидывается, глаза поднимаются на сосны, на даль озера, но тотчас опускаются. Иногда она повысит голос, нахмурит брови, вскрикнет грозное и поднимает руку, угрожая, но тут же и сникнет, забормочет, раскачиваясь, что-то жалобное.

Каикиппа ноуси кууломаа
метсяста метсян еелаваа...

Вот что приблизительно слышу я на свой русский слух. Ортье кое-как успевает шепотом переводить мне обрывки руны, и я чувствую, как мороз медленными волнами проходит у меня по спине, и дыхание стесняется.

Где только и каких песен я не переслушал! И до сих пор все они звучат во мне — сиплые, унылые песни по поездам: пьяные, визгливые о «помятой траве» в деревнях по праздникам; радостно заунывные свадебные и величальные, когда и невеста, и старухи заливаются счастливыми слезами, один жених крепится; вятские «барабушки» под гармонику, под топоток по убитой земле; блатные и воровские, надрывные, со слезой — по московским дворам; пасхальные и панихидные песнопения в церквах, и всяческие современные песни про то, как «речка движется и не движется», и студенческие бесшабашно-маршеобразные — всюду, на пристанях, на пароходах, в горах, у костров...

Но этот напев — его даже трудно определить, радостный он или печальный. Он дик и невнятен, он первобытен и прост, как эти камни и сосны, он однотонен, но он и неодинаков — и сколько там в этой Калевале проходит героев, злых и добрых, сколько событий, столько же интонаций и в мелодии. Одна и та же, она звучит то мягко, то грозно, то зловеще, то быстро, то медленно. Как будто то несешься в лодке между скал по гремящим порогам с водяными туманами и радугами, то остановился в озере и загляделся в его зелено-желтую глубину.

Ситя руотайста ромуа
Каландуйста кантелейта...

Пролетели утки, плеснула рыба, кулик сел на кромку берега и быстро побежал от нас. Как это там в Калевале? Все поднялись слушать музыку ночи — из лесу вышли лесные жители,— ах, они скрывались там! — из воды с шумом и плеском выпорхнула хозяйка воды, вышла через березовое дупло на ольховую листву. А вон и утки гребут на своих лапках, и птицы слетелись

с шорохом, перепархивают ближе и ближе. Играет Вяйнемейнен на кантеле, на жемчужном кантеле, сотворенном из костей рыбы. Для кого? Для озер, для камней и неба, опрокинувшегося в водах, для тихого своего народа в белых одеждах, сидящего по всем каменым уступам всей каменной страны, как чайки ночью?

Поет Перттунен! А почему бы ей и не петь, если пели когда-то дети лопарей, поев глаза плотвичек и запив водой из ламбушки — маленького озерца? Почему бы не петь старой Перттунен, если ест она хлеб без примесей, жует чистый хлеб и сидит на берегу тихого Ала-ярви, возле смолистого огня?

Потом поет Марья Михеева — несколько иначе, потверже, повыше, и сперва вроде бы с усмешкой, а потом — серьезно, истово, и тоже затуманивается, тоже смотрит вдаль, а видит одного Вяйнемейнена. Поют старухи, раскачиваются, сменяют одна другую, а уж глаза у них подозрительно блестят, уж вытирают они их концами платков. Ветер у них выдул слезы, что ли? Или дым попал? Но нет ветра, и дыма почти нет — одни угли, одна тишина, одна Калевала, выпеваемая старыми голосами, журчит, вздымается и опадает.

Ортье ворочается, жмурится, кряхтит от удовольствия. Ему хорошо, завидую я ему — он все понимает, он как бы пробует на вкус все эти прекрасные слова, и сладки они ему!

Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками,— я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные до-

ма — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов — тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется — не забудется Калевала и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия.

1962 г.



КАКИЕ ЖЕ МЫ ПОСТОРОННИЕ?

Два часа летели мы из Архангельска в белом молоке и болтало нас, как на катере в хорошую волну. Потом начали мы все чаще проваливаться, и это значило, что самолет снижается. Потом молочный туман оборвался, в глаза нам ударила снизу ослепительная белизна торосистого льда, но и лед оборвался, как туман, и так же ослепительно грянула чернильная полоса чистой воды вдоль берега, за водой вправо и влево по берегу темнела щетинка лесов, среди лесов— белела извилистая лента реки Золотицы, возле устья которой было раскидано десятка три избушек и амбаров. В устье реки мы и сели, крепко стукнувшись лыжами о снег, пробежали немножко в одну сторону, потом развернулись назад, к морю, и еще пробежали.

Прилетели мы на зверобойный промысел, и едва вышли из самолета, едва с наслаждением почувствовали твердый снег под ногами и солоноватый ветер с моря, как увидали издали огромную, длинную и низкую кучу чего-то красного, призасыпанного уже снежком. А возле кучи копошились десятки людей, и издали не понять было, что они делают. Одни стояли вроде бы совсем без дела, другие нагибались, волочили что-то, отбрасывали, мерно двигали руками внизу над самым снегом...

Не успели мы подойти, как послышался с моря характерный гул и треск вертолета, через минуту из снежной дымки появился и самый вертолет, снизился, неся под брюхом большой каплеобразный груз в сетке, повис над людьми. Груз быстро отцепили, вертолет, будто насекомое, отложившее яйцо, поднялся, развернулся и улетел в море, а вихрь снега, поднятый им, достиг наконец и нас, и в ноздри нам ударил жирный запах крови.

Через полчаса были мы уже в деревне, и все дома, заваленные снегом, ничего не говорили мне о прошедшем времени, когда я здесь жил, и ничего я не мог узнать и вспомнить, пока не увидел один дом, а наискосок от него еще дом, и повети, и угорья вдали за домами, на берегу моря... Тогда оббили мы снег на крыльце, стукнули, брякнули щеколдой, взошли в коридор, потом повыше по ступенькам, потом налево, там — я знал — должна быть просторная кухня за дверью, открыли, опять стукнув, и ту дверь и остановились у порога, сразу объятые теплом, запахом рыбы, печи и топленого молока.

Опять я был в доме, в котором жил осенью шесть лет назад. И хозяин его, старик Пахолов, казалось, не постарел вовсе, только в пояснице несколько погнул-

ся,— еще более твердой и плоской стала она,— да кудри его поседели.

Он не узнал меня.

— Ну как же, вспомни, Василий Дмитрич,— говорил я.— Я еще на тоне у тебя жил, на Вепревском маяке, еще племянник твой был с нами — Зося...

Он глядел на меня, и по его взгляду я видел, как перебирает он годы. А в самом деле, подумал я, трудно вспомнить! И я вообразил всяческие экспедиции, разных командировочных, начальников, снабженцев и прочих заезжих, которые останавливались у него за все эти годы. А Пахолов все бродил во времени, глаза у него были далекие — и вдруг вспомнил:

— Дак ты ж тогда без очков был!

— Ну да,— сказал я.— Вспомнил?

Не знаю почему, но мне важно было, чтобы он меня вспомнил.

— Помню, помню,— приговаривал он радостно, а сам уж и самовар налаживал.—Как же, ты тогда у меня в боковой комнате жил, а потом вместе на тоне были, семгу ловили. Помню, помню... То-то, я думаю, с чего бы это мне с утра все нос чесать — к гостям, значит! Ну раз такое произошло, значит, событие, то уж праздник как праздник!

— Какой праздник? — совсем забыл я.— Престол, что ли?

— Какой престол — женский нонече праздник!

— Ах, ну да! Конечно! —оживились мы, как-то вдруг сразу все вспомнив, что сегодня 8 Марта.

— А товарищи твои кто же будут? Девушка-то не жена тебе?

— Нет,— сказал я.— Это Вера, корреспондентка. А это Марк — тоже корреспондент.

— А... Ну-ну, вот и славно так-то, вот девушку-то мы в одну комнату, а тебя с товарищем...

— Марком.

— С товарищем Марком — в ту, где ты жил тогда...

Мы были с дороги, намерзлись в Архангельске на аэродроме, намерзлись в дороге, потом радостно волновались, глядя на вертолеты и воображая зверобойку, воображая, как и мы завтра полетим в ледовые лагеря, к поморам, потом волновались уже в деревне, думая, как устроиться с жильем, потом уже обрадовались, что Пахолов вспомнил меня, и как славно нам будет у него жить, и что праздник сегодня — 8 Марта, женский день, — и вот тут-то и захотелось нам выпить, самим выпить и хозяев угостить.

Разложив кое-как свои вещички, пошли мы в магазин — и ничего там не было, даже никакого портвейна, но сказано было, что в другой деревне есть спиртик, что магазин там работает, что до деревни километров десять и что у бригадира можно взять лошадь.

Запрягла нам бригадирша лошадь, кинула в сани немного сена, проехала с нами до берега реки, показала дорогу.

— Вот вам дорога, так по ней и езжайте, сперва по реке, потом лесом, так до места и приедете.

И мы поехали. Пустынная река по сторонам была сначала, далекие берега, поросшие елью. Иногда слева распахивались пространства до самого моря, но скоро дорога свернула в лес. На реке тянул ветерок, перетягивал через дорогу шнурки сухой снежной пыли. В лесу было тихо. Догорал светлый мартовский день. Небо на западе расчистилось, нежно бирюзовело, но и в розовое отдавало. Березы краснели и сизели паутинкой своих верхних ветвей.

Лошадь попалась нам слабосильная, шла плохо,

с рыси все сбивалась на шаг, но мы ее не подгоняли — кто лег в санях навзничь и бесцельно смотрел вверх, кто глядел по сторонам, кто просто покуривал в тихом блаженстве...

Через час повалил медленный мокрый снег. Он шел густо, и скоро все мы отсырели, побелели, шерсть на лошади закурчавилась, нам захотелось спать. Полозья на санях были без железных подрезов, лошадь совсем выбилась из сил и еле везла.

В сумерках уже приехали мы в деревню, миновали скотные дворы, заколоченную церковь, долго ехали по улице мимо домов, мимо клуба, мимо столба с динамиком наверху, и уже окна в домах розово и желто светились, динамик празднично гомонил, стукотал где-то на задах движок, улица все темнела, ребятишки на темных горках вопили перед тем, как ринуться на санках вниз, а магазина все не было.

Наконец переехали мы через мост, а за мостом нагнали женщину. Она стояла на обочине и, видно было, давно так стояла, неподвижно и молча глядя в нашу сторону — плечи плюшевой ее жакетки и платок побелели от снега.

— А где же магазин?— спросили мы, останавливаясь.

— А вот я и покажу,— угрожающе, как мне показалось, сказала женщина.— А ну-ка, подвиньтесь!

И села к нам в сани. Помню, я еще пожалел лошадь, но смолчал — не рад был я, что и поехали.

— Знаю про вас, все знаю! — загадочно сказала женщина.

— А что?

— Зачем приехали — знаю,— все так же странно сказала она.— И всех вас вижу. Теперь вот сюда, направо!

Мы остановились, вылезли, женщина взяла у меня вожжи, привязала лошадь к какому-то крыльцу. Сбежались ребятишки, человек десять, крутились возле нас, созерцали нас, а мы их — в фиолетовых сумерках.

Потом мы все было пошли в магазин, но остановились. Закурили, и очень было приятно закурить мокрыми руками и обить друг с друга снег. Закурив, поглядели мы на лошадь, разнуздали, бросили ей на снег охапку сена с саней и еще раз поглядели на нее со стороны, как она устала. А женщина стояла и смотрела на нас, как мы — на лошадь. И мы потом пошли уже окончательно. А когда мы пошли, и женщина пошла рядом со мной.

— А я знаю, что вы думаете,— сказала она в своей странной манере.— Вы думаете, мы здесь все серые, да?

— Бросьте вы! — сказал я.— Ничего такого мы не думаем.

— Нет думаете!— с сердитым усилием сказала она.— И неправильно совсем думаете! Мы здесь хоть и в глуши, а все люди образованные.

— Конечно,— подтвердил я.— Откуда вы взяли, что мы что-то там думаем?

Вся эта история начинала мне надоедать.

— Так вот и не думайте! — опять сказала женщина, и мы поднялись на высокое крыльцо магазина.

Магазин был пуст, уже закрывался, и мы были последние покупатели. Я как вошел, так повел глазом по полкам, и то, что нам нужно было, сразу увидел. И друзья мои корреспонденты тоже увидели, как стояло это на полках и поблескивало влагой и запечатанными горлышками. Мы поглядели друг на друга, и нам опять, как давеча, когда мы закурили мокрыми руками, стало хорошо.

Поразмыслив, взяли мы две бутылки спирта, печенья и конфет. Женщина наша ничего не покупала, не уходила и все время пристально смотрела на нас.

— А лошадь ваша не добежит назад,— вдруг сказала она.— И не думайте. Ей отдохнуть надо. Покормить ее надо.

— Буханки две хлеба хватит ей? — спросили мы.

— Хватит,— подумав, сказала женщина. И продавщица тоже подумала и сказала:

— Хватит!

Тогда мы взяли еще две буханки хлеба и пошли вон. Женщина вышла вместе с нами.

— Сейчас вы ко мне поедете,— повелительно сказала она.— У нас сей вечер гости. У нас весело. Праздник сегодня, наш день, женский наш день. Один раз в году.

Сразу я подумал, как нас ждет Пахолов, как вытоплена уже печь в нашей комнате, а может, и баня стоплена, а на кухне — стол, самовар, угощенье, разговоры... Я подумал еще о десяти километрах пути лесом и рекой. Потом я подумал о доме этой женщины, как там сейчас, наверное, шумно и все пьяные, все свои родные или друзья, а мы им чужие, и с какой стати мы придем, и как мы им помешаем, стесним, может быть, тогда как нас ждет Василий Дмитрич и на часы уже смотрит и воображает небось, где мы сейчас едем,— так он уверен, что мы уж назад едем.

— Спасибо,— сказал я.— Спасибо! Только мы никак не можем. У вас все свои, а мы посторонние. С какой стати мы придем.

— Это как же мы посторонние?— Женщина нажала на слово «мы»,— какие же мы посторонние? Или ты забыл, что мы тоже люди?

— Да нет,— сказал я.— Это мы для вас посторонние, незнакомые, понимаете?

Эх, ты! — она отвернулась, и даже в темноте было видно, как ей жалко нас за нашу глупость.— Ведь люди же! Как это может, чтобы кто-то посторонний был. Праздник у женщин, понимаете?

Я рассердился от нетерпения. Вздохнув, я сделал над собой усилие, как бывает при разговоре с пьяным или глухим.

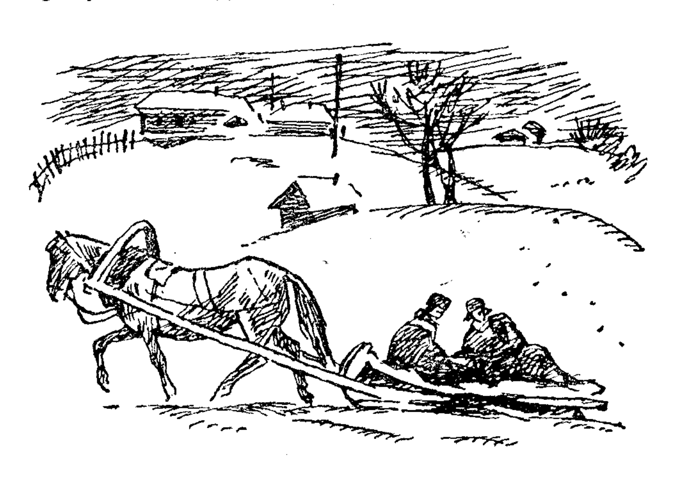
— Нас там ждут. В Нижней Золотице нас ждут,— убедительно сказал я и посмотрел на друзей-корреспондентов. Они закивали — им тоже не хотелось идти для чего-то там в чужой дом.

— Обидите! — сказала женщина.—Где это вас ждут?

— В Нижней Золотице,— упорно сказал я.

— Обидите,— с тоской повторила женщина.

Мне стало казаться, что тут странно как-то. На что мы ей? Странно как-то — все эти ее слова, что она нас знает, и что она будто действительно нарочно вышла на дорогу, чтобы дождаться нас, чтобы показать нам,



где магазин и потом позвать к себе. Странно все это было.

— Может, и правда, пойдем?— неуверенно спросил я корреспондентов. И они так же неуверенно и уныло сказали:

— Да что ж... вообще-то...

Мы подошли к саням и тут только увидели, как устала наша лошадь, как она запарена и несчастна. Мы опять поехали по темной улице, ребятишки бежали за нами, вдали на столбе играл динамик. Не доезжая до моста, мы свернули направо, к избе, стоявшей поодаль, все слезли, и лошадь наша полезла по глубокому снегу в проулок между плетнями и остановилась, упершись в стену сарая. Женщина вынесла мешковину, мы укрыли лошадь, снова кинули ей сена, на сено наломали хлеба и пошли в дом.

На улице и в магазине мы как-то не разглядели нашу хозяйку, а тут она разделась, раскутала платок и оказалась молодой. На кухне сидел ее отец, глуховатый старик, и еще мать суетилась, и еще три маленькие девочки тихо, нежно играли между собой, шептались и взглядывали на нас, как мы раздеваемся, а внутри дома что-то происходило, и наша женщина с матерью скоро туда ушли, и мы остались со стариком. Он тотчас полез на печь, скинул нам оттуда валенки, забрал наши шапки и ботинки, уместил все это на печи посушиться, слез и стал весело глядеть на нас.

Мы посидели, покурили, несколько томясь, поглядывая на тихих девочек, старик весело сообщил нам, что он помор, ну и все такое прочее — промышленник, зверобой, рыбак. Мне вспомнилась строка из поэта Грея: «Коротка и проста летопись бедных»... Нам уже дремалось, тепло было на кухне, пахло сырыми нашими пальто, кукушка засипела и прокуковала девять раз.

Старик между тем стал показывать нам старинный голландский и английский фарфор. Чашки и тарелки были покрыты паутинкой темных трещин, пожелтели от старости.

Я подумал о зверобоях, которые в эту минуту сидят в своих палатках, в ледовых лагерях далеко в море. И о том, сколько раз за жизнь спускался этот старик по реке к морю, уходил потом в безвестность полярного пространства или ездил в лес, проводил зимы на самых отдаленных факториях — кто это сочтет? И о том, сколько умирало поморов на диких мглистых островах и сколько женок потом голосило, билось по всем берегам Белого моря! Да что говорить, если какой-нибудь путешественник, один только раз прошедший путем поморов, получал потом мировую славу и становился национальным героем. Нет, вот он сидит перед нами, этот веселый старик, покрикивает сглуха, смеется, шутит — и летопись его длинна.

А за стеной все что-то делалось, делалось, и вот наконец и нас позвали к столу. Какой же это праздник? Где шум и пьяный гам, которых мы так боялись?

Не было ничего такого. Человек восемь сидело там за столом. Все умытые, выбритые, в чистых рубашках и пиджаках, и женщины нарядились, раскраснелись, и высокая тишина присутствовала между ними.

Есть прекрасная минута в начале праздника, когда стол еще не тронут, рубашки не смяты, когда все торжественны и счастливы. Так и тут: была на столе вареная семга (корреспонденты потрясенно переглянулись), и несколько бутылок разведенного спирта были симметрично расставлены, и перед каждым гостем была стопка, была тарелка и была вилка.

Увидев спирт, пошел и я за нашей бутылкой.

— Ты это что!— молниеносно сказала странная

женщина.— Ты что это со своим суешься? Тебя за этим звали, а?

— А ничего! — перебил ее старик и забрал у меня бутылку.— Пущай их! Это ничего, хорошо так-то. Это он дело знает. Сей день мы вас ублажаем, а вы сидите — и все!

Он живо вышел, принес пустую бутылку, раскупорил спирт, взялся своими грубыми руками с твердыми выпуклыми ногтями за обе бутылки, что есть силы прищурился, встопорщил усы и занялся переливанием. Разлив — половину отдал он мне назад, взял графин с водой и все так же твердо и осторожно стал разбавлять отлитый спирт.

Крепко поставив помутневшую на минуту бутылку на стол, он сказал с удовольствием:

— Вот как его разбавишь, он сразу теплый становится. И это называется химия. Ну — пущай пока поостынет...

Никто почему-то не наливал, не торопился, по-прежнему все сидели скромно и торжественно и чего-то ждали. Хозяйка стукала и звякала на кухне. Вышла туда и дочка. И вот стали приносить чай, отличный крепкий чай, и перед каждым поставили по стакану.

Я уж и не удивлялся. Я решил, что тут так нужно: сперва попить чайку, а потом уже спирту. Но оказалось, чай поставили, чтобы кто захочет, сделал бы себе пуншик. Тут же многие так и сделали.

Марк встал, взял стопку и понюхал. Его передернуло.

— Минутку внимания! — начал он.— Я хочу сказать тост. Как у нас в Грузии. Прошу наполнить бокалы.

У всех давно уже все было наполнено. Никто не шевельнулся.

Как это солнце,— Марк повел рукой на лампу под абажуром,— как звезды сияют нам ночью, как круглая луна, так женщина сияет в нашей жизни... Тысяча лет! жизнь наша проходила во мгле! и нам было-о неинтересно жить! но вот появилась женщина и жить стало приятно. Так пусть же всегда наши женщины будут счастливы, как в этот прекрасный день, вернее, вечер, потому что женщины — наш светоч в царстве мглы, как сказал великий Шота Руста-авели!

«Сейчас про гроб будет»,— подумал я.

— И я хочу, чтобы всем тут сидящим женщинам был сделан гроб...

По застолью прошел ток. Марк был удовлетворен.

— Сделали гроб из столетнего дуба, ка-аторый я посажу через пятьдесят лет! Ура!

Старик, который слушал, оттопырив ухо, ничего не понял, но «ура» он понял и поскорей выпил. И пошло веселье, пошел разговор все про тюленей, про семгу, про вертолеты и что сей год мало тюленей, что скоро могут они совсем исчезнуть, а раньше — тьма была раньше тюленей, а теперь вот и вертолетами пугают, и со шхун бьют, и ледокол ворочается по морю...

А семгу все ели да похваливали и спиртику в чай подливали, и глаза все сильней блестели, и хозяйка бегала на кухню, носила еще и еще, и уж старик усы покручивал, покрикивал Вере:

— А что, девка, без мужика живешь?

— Без мужика! — весело соглашалась Вера.

— А энти?— тыкал в нас старик.— Ай не подходят?— И ладонь к уху прикладывал.— А то вот хоть бы я! А? Ты на меня не гляди, что старый... Го-го-го!..

— Будя, старый! — кричала ему старуха и в бок толкала.

Старик ерзал на стуле от удовольствия.

— Вы в Нижний Золотице-то у кого на квартеру стали дак, а?— кричал он нам через минуту.

— У Пахолова! — тоже кричали мы.

— Это у какого же? У Василь Митрича? А! Знаю! Кузнецом он там работает у них, знаю, знаю... Чего? Ждет вас? Самовар наставил? А у меня не самовар? А? Сидишь и сиди. Сел, все есть, чего тебе торопиться?

— А вы знаете чего?— звонко вдруг окликнула нас через стол дочка старика.— Вы чего думаете про меня — все знаю...

И грустно так нам головой покивала, и пригорюнилась, и глаза у нее затосковали.

— Жалко мне вас,— сказала она.— Может, и не увидимся больше. Ведь опухоль какая-то у меня в мозгу, я знаю. А и жалко же мне вас! Вот сидим теперь, а потом...

Все уже знали, наверное, про ее болезнь, затихли на минуту и опять заговорили, а мне стало грустно как-то, жалко уходящих наших дней.

— Да я о себе не думаю, я вот о других думаю, как они тут будут без меня? Как на свете-то станет без меня, а? Ведь горе же будет, а?

— Еще бы! — серьезно сказал я.

— Вот и я думаю, не тот без меня будет белый свет...

Я стал рассказывать ей об институте Бурденко, она кивнула несколько раз и повеселела.

— Как у вас там — налито?— спросила она, глядя будто издалека, будто с другого берега моря, из иной жизни.— Ну! Наш сегодня праздник! Давайте!.. Эх! — и после глотка, замкнувшего на мгновение уста: — Ххх-аа!..

Выпили. И опять семужкой закусили, а закусивши, откинулись мужики, закурили, и опять пошли разгово-

ры, и уж говорили все — дружно, каждый с другим и через стол, и по соседству, и крест-накрест, и праздник длился в незнакомой нам темной деревне, в доме, в который вошли мы на какой-нибудь час, а теперь вот и уходить пора, спасибо, спасибо, а мы пойдем, счастливо вам...

И мы встали, пошли на кухню, потаскали там с печки наши шапки, ботинки, шарфы, перчатки — надели, напялили все это сыроватое, теплое, пахучее, поежились и вышли в темноту на снег.

Да! Сначала была тьма. Потом пригляделись. С улицы и еще дальше, от каких-то домов слабо доносило до нас свет, возле клуба все урчал динамик. Снег шел крупный, мокрый. Лошадь наша стояла понурясь, мордой в плетень. На спине у ней, на мешковине — снегу было чуть не в ладонь. С двух сторон взялись мы за мешковину, стянули, снег с нее полз, как мокрый сахар, кусками, от лошади пошел пар.

— Ну, прощайте,— сказала нам молодая хозяйка.— Провожу я вас немного.

Попробовали мы ее отговорить, стали просить, чтобы в избу шла,— гости у нее там в избе! — но она нас не слушала. Как и в первый раз, присела она на задок саней, и лошадь вывезла нас из глубокого снега на улицу. Глянул я по деревне. Во всех домах горел свет, где розово, где желто пятнал снег под окнами. Динамик вдали умолк наконец, тишина наступила глухая, но мне казалось, что из всех домов слышны звуки — разговоры, песни, веселье слышались мне за окнами и за стенками.

И поехали мы потихоньку назад, опять мимо клуба, мимо церкви, мимо амбаров и скотных дворов, мимо чего-то непонятного, приземистого и длинного. Вот уж и деревня кончилась, и раза два останавливали мы ло-

шадь, боясь, что далеко будет идти назад нашей хозяйке, но она все ехала с нами, ехала...

Потом велела остановить, слезла.

— Ну, спасибо вам за угощенье. Поправляйтесь. В Москву обязательно поезжайте!

— Ладно, пойду. Счастливо. Вот так все и поедете, прямиком по дороге, лесом, лошадь не трогайте, она сама дорогу знает. Вот. Вот! Ну... Ну, счастливо! А вы говорили — посторонние! Какие же мы друг другу посторонние? Все люди... Так и помните — все люди на земле... Н-ноо!

Лошадь наша вздрогнула, дернула, пошла. Хозяйка осталась в темноте. Осталась, рукой нам махала, а мы ей, пока видеть было можно.

И опять ехали мы под мягким, беззвучным, падающим снегом, только тьма была теперь кругом, а беспредельным казался нам наш путь и лес, и этот снег.

Лошадь перешла на рысь, бодро похрапывала, чутко слушала, и даже во тьме было видно, как повертываются во все стороны ее настороженные уши. Мы подняли воротники, повернулись спинами к снегу, чтобы не щекотал лицо, закурили и стали молча думать о доме, в котором только что были, и о доме, в который скоро приедем, о завтрашнем дне, о вертолетах, на которых нам предстоит летать, о ледовых лагерях, о зверобойщиках, потом вообще о севере...

И так ехали мы до тех пор, пока не послышалось нам далекое-далекое попукивание движка в Нижней Золотице. Тогда мы стряхнули с себя снег и дрему, повернулись к деревне, к морю, и все сразу увидели вспыхивавшую и погасавшую желтую искорку света. Это мигал нам буй, поставленный в устье реки Золотицы.

1966 г.



О МУЖЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Я сидел наверху этой истоптанной, зажитой, наполненной разными моряками и экспедициями, замусоленной, прекрасной архангельской гостиницы (в старом ее крыле), в нашем номере, среди развороченных рюкзаков, разбросанных вещей, среди всех этих сапог, пачек сигарет, бритв, ружей, патронов и всего прочего, после тяжелого, ненужного спора о литературе, сидел возле окна, грустно подперся, а было уж поздно, в который раз пришла смиренная белая ночь и вливалась в меня, как яд, звала еще дальше, и хоть я и зол был, но зато хорошо, весело становилось от мысли, что завтра нам нужно устраиваться на зверобойной шхуне, чтобы идти потом к Новой Земле и еще дальше, куда-то в Карское море.

И я все глядел из окна вдаль, поверх крыш, на светлый горизонт с легкими розовыми облаками. На Двине, там и сям проблескивающей между крышами, черно стояли на рейде громадные лесовозы, слабо мигали своими топовыми огнями, иногда сипел пар, глухо бормотали работающие винты, тявкали, как собаки, высокие сирены буксиров, и мощно и грустно гудели прощальные гудки.

Внизу шуршали редкие уже автомашины, погромыхивали еще реже трамваи. Внизу шумел, гудел в этот час ресторан, наяривал, пиликал и колотил оркестрик (тогда там играли по вечерам какие-то пенсионы), и мне хорошо он был слышен, хоть и выходили во двор ресторанные окна. Внизу несменяемый, вечный дядя Вася не пускал в ресторан разных прохиндеев, алчущих шикарной жизни, а в ресторане сидел в этот час счастливый мой друг-приятель с румынскими циркачами, говорил с ними по-испански и по-эскимосски, а я был один, все вспоминал, как мы только что спорили внизу о литературе с местным знатоком, и думал о мужестве писателя.

Писатель должен быть мужествен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать! — и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь

против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать.

Везде вокруг него живет, шевелится, кружится, идет куда-то весь мир. И он, уже с рождения, захвачен этим миром в плен и должен жить вместе со всеми, тогда как ему надо быть в эту минуту одному. Потому что в эту минуту возле него не должно быть никого — ни любимой, ни матери, ни жены, ни детей, а должны быть с ним одни его герои, одно его слово, одна страсть, которой он себя посвятил.

Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей, выдуманной им жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления,— те, которые будут,— и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один.

В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, все пропало — он не писатель. Никому нет дела до того, болен ты или здоров, за свое ли ты дело взялся, есть ли у тебя терпение,— это наивысшее мужество. Если ты написал плохо, тебя не спасут ни звания, ни награды, ни прошлые успехи. Звания иногда помогут тебе опубликовать твою плохую вещь, друзья твои поторопятся расхвалить ее, и деньги ты за нее получишь; но все равно ты не писатель...

Нужно держаться, нужно быть мужественным, чтобы начать все сначала. Нужно быть мужественным, чтобы терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдет от тебя и ты почувствуешь отвращение при одной мысли сесть за стол. Талант иногда уходит надолго, но он всегда возвращается, если ты мужествен.

Настоящий писатель работает по десять часов в день. Часто у него застопоривает, и тогда проходит день, и еще день, и еще много дней, а он не может бросить, не может писать дальше и с бешенством, почти со слезами чувствует, как проходят дни, которых у него так мало, и проходят впустую.

Наконец он ставит точку. Теперь он пуст, настолько пуст, что уже не напишет больше никогда ни слова, как ему кажется. Ну что ж, может сказать он, зато я сделал свою работу, вот она лежит у меня на столе, пачка исписанной бумаги. И ничего такого до меня не было. Пусть до меня писали Толстой и Чехов, но это написал я. Это другое. И пусть у меня хуже, но все-таки и у меня здорово, и ничего еще не известно, хуже там или не хуже. Пусть попробует кто-нибудь, как я!

Когда работа сделана, писатель может так подумать. Он поставил точку и, значит, победил самого себя, такой короткий радостный день! Тем более, что скоро ему начинать новую вещь, а теперь ему нужна радость. Она ведь так коротка.

Потому что он вдруг видит, что, скажем, весна прошла, что пронеслось над ним огромное время с того момента, когда в начале апреля, ночью, на западе собрались черные тучи, и из этой черноты неутомимо, ровно и мощно задул теплый ветер, и снег стал ноздреть. Прошел ледоход, прошла тяга, отгремели ручьи, отдымила первая зелень, и колос налился и пожелтел — целый век прошел, а он прозевал, не видал ни-

чего этого. Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми людьми, а он только работал, только клал перед собой все новые белые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени ему никто не вернет, оно прошло для него навсегда.

Потом писатель отдает свою вещь в журнал. Возьмем лучший случай, предположим, что вещь его берут сразу, с радостью. Писателю звонят или посылают телеграмму. Поздравляют его. Хвастают его вещью перед другими журналами. Писатель едет в редакцию, входит туда свободно, шумно. Все рады его видеть, и он рад, такие все милые люди. «Дорогой! — говорят ему.— Даем! Даем! Ставим в двенадцатый номер!» А двенадцатый номер — это декабрь. Зима. А теперь лето...

И все бодро смотрят на писателя, улыбаются, жмут ему руку, хлопают по плечу. Все как-то уверены, что у писателя пятьсот лет жизни впереди. И что полгода ждать для него, как шесть дней.

Для писателя начинается странная, тягостная пора. Он торопит время. Скорей, скорей бы прошло лето. И осень, к черту осень! Декабрь — вот что ему нужно. Писатель изнемогает в ожидании декабря.

А уж он опять работает, и опять у него то получается, то нет, год прошел, колесо повернулось в который раз и опять дохнет апрель, и в дело вступила критика — расплата за старую вещь.

Писатели читают критику на себя. Это неверно, будто бы некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут. И вот когда им нужно все их мужество. Чтобы не обижаться на разносы, на несправедливость. Чтобы не озлобиться. Чтобы не бросать работы, когда очень уж ругают. И чтобы не верить похвалам.

если хвалят. Похвала страшна, она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других, вместо того чтобы учиться самому. Как бы хорошо он ни писал свою очередную вещь, он может еще лучше, надо только быть мужественным и учиться.

Но не похвалы или разносы самое страшное. Самое страшное — когда о тебе молчат. Когда у тебя выходят книги и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают,— вот когда надо быть сильным!

Литературная правда всегда идет от правды жизни, и к собственно писательскому мужеству советский писатель должен прибавить еще мужество летчиков, моряков, рабочих — тех людей, кто в поте лица меняет жизнь на земле, тех, о ком он пишет. Ведь он пишет, по возможности, о самых разнообразных людях, обо всех людях, и он должен их всех повидать сам и пожить с ними. На какое-то время он должен стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим Северным путем.

Советский писатель должен помнить еще, что зло существует на земле, что физическое истребление, лишение элементарных свобод, насилие, уничтожение, голод, фанатизм и тупость, войны и фашизм существуют. Он должен по мере своих сил протестовать против всего этого, и его голос, возвышенный против лжи, фарисейства и преступлений, есть мужество особого рода.

Писатель, наконец, должен стать солдатом, если понадобится, мужества его должно хватить и на это, чтобы потом, если он останется в живых, опять сесть за

стол и опять оказаться один на один с чистым листом бумаги.

Мужество писателя должно быть первого сорта. Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь. И он знает, что каждый раз начнется все сначала и будет еще трудней.

Если писателю не хватит мужества — он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию... И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть.

Есть все-таки и в его работе минуты, когда все идет, и то, что вчера не получалось, сегодня получается безо всяких усилий. Когда машинка трещит, как пулемет, а чистые листы закладываются один за другим, как обоймы. Когда работа легка и безоглядна, когда писатель чувствует себя мощным и честным.

Когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было бог! Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаянье — эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется.

Когда он понимает, что надо писать правду, что только в правде его спасение. Только не надо думать, что твою правду примут сразу и безоговорочно. Но ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь. Ведь пишешь ты не для редактора, не для

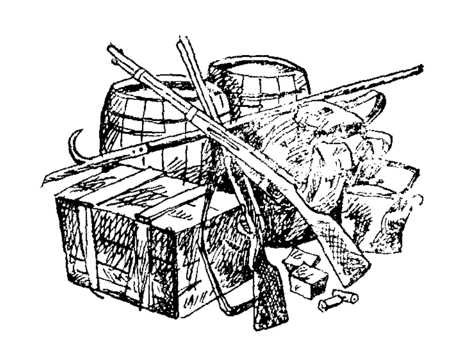
критика, не для денег, хотя тебе, как и всем, нужны деньги, но не для них ты пишешь в конечном итоге. Деньги можно заработать, как угодно, и не обязательно писательством. А ты пишешь, помня о божественности слова и о правде. Ты пишешь и думаешь, что литература — это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоем лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастлив и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь.

Когда ты вдруг взглянешь на часы и увидишь, что уже два или три, на всей земле ночь, и на огромных пространствах люди спят или любят друг друга и ничего не хотят знать, кроме своей любви, или убивают друг друга, и летят самолеты с бомбами, а еще где-нибудь танцуют, и дикторы всевозможных радиостанций используют электроэнергию для лжи, успокоения, тревог, веселья, для разочарований и надежд. А ты, такой слабый и одинокий в этот час, не спишь и думаешь о целом мире, ты мучительно хочешь, чтобы все люди на земле стали наконец счастливы и свободны, чтобы исчезли неравенство, войны, и расизм, и бедность, чтобы труд стал необходим всем, как необходим воздух.

Но самое главное счастье в том, что ты не один не спишь этой глубокой ночью. Вместе с тобой не спят другие писатели, твои братья по слову. И все вместе вы хотите одного — чтобы мир стал лучше, а человек человечнее.

У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше.

1966 г.



ОТХОД

...И вытянул мой гениальный друг свою гениальную, длинную руку и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал приборматывать, ворковать:

— Ну... ну... Ребята, ребята... Напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя... Але... Алеша, а? Хорошо тебе, Юра, а?

И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и поплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились...

«Скоро отход, отход, отход!» — застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пенье рюмок, их чистые голоса вплетались, как корабельные склянки, как флейта-пикколо в тремолирующий оркестр.

«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уже знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а...» и оркестр игра-играет, и трубачи трубя-трубят, белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды,— эта шхуна где-то стоит, неизвестно где — на фактории, у Холодильника ли, на рейде ли... Но я спокоен,— она не уйдет без нас,— потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив — Илья Николаевич, стармех, потом Алеша, старший помощник, чиф, все начальство с нами и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом, и женщины веселые сидят, глядят на нас, как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебыч Бострем с нами, а его-то знает пол-Архангельска, а уж онто знает весь Архангельск! И какие-то моряки, пилоты, штурманы и бог знает кто еще — все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев, и — сразу восторг: «Ого! У-у! О-о! А я гляжу — кто это? Здоров! Давно пришел? Когда уходишь?»

Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность

моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане — как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем...

И звучат в нас и вне нас гул, бормотанья, дружба, любовь, и музыка ликует, уравновешивает своей стройностью хаос — «Хотят ли русские войны?» — «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» —и все танцуют, одни мы сидим, последние минуты досиживаем, последние минуты здесь, на берегу, а там — два месяца, целый июль и целый август, все будет океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль, а еще работа, работа, нет, мы не танцуем, сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брезжущую из-за наших спин, из-за большого окна, мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то.

— Шампанского, а? Ребята, а? Шампанского, Юра? Давайте, давайте, давайте... Ночи в Архангельске — сплошное «быть может»! А, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе... (Женя, Женя!) бродят... новехонькие штурмана... А?

— Ну, знаю я, знаю, тут Тыко Вылка жил, приезжал, жил тут, вот в этой гостинице... Знаю, ненец Вылка, художник! Президент Новой Земли!

— А ты как думал? Тут все жили!

— Еще по одной, а?

— Все тут жили — и Отто Юльевич... Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала!

— Ты, Юра, едри ее мать, ко мне домой приезжай. В гости. Прямо ко мне, понял? Специально на охоту. У меня лодка-моторка, мы с тобой, Юра...

А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте, не о том, который вот тут, рядом со мной —

о другом. Мысленно отыскал я его во Вселенной, не знаю где — в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, и я увидел, с какой завистью смотрит он на меня.

Ау, говорю я ему, в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес — ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволг после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка — стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной, вокруг нас вьются женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы — на него, и вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечами, впереди лес с мокрозеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху, по ветвям, собаки наши одна за другой скрываются в кустах... Мы говорим о погоде, о том, что мало в этом году зайцев (их всегда мало в этом году!), о том, какие у егеря дети, как учатся и чем болеют. Разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зеленя, опушки, понижения и повышения мохнатеньких издали лесов, холмы, и дали проглядываются резко, собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней, и следы за нами остаются грязные на белой дороге, егерь говорит все «чаво» да «каво» и обязательно важный, веселый, умный (они все такие), за спиной у него рог — один золотится на всем серебряном.

И вот собаки подняли, взлаяли вперемежку, в три голоса, погнали, завопили, застонали, ах-ах, мы побежали, кто куда, занимать лазы, слушать, перебегать. Собаки заглохли вдали, опять появились на слух, скололись, замолчали, опять дружно взлаяли — куда го-

нят?— налево, налево,— и мы налево, бежим, ломимся сквозь кусты, ах-ах, гон все ближе, слышен уже не только лай, слышны всхрипы, взвизги, а по просеке, по поляне, по тропе мягко перекатывается упругими толчками заяц — ох! — выстрел,— ох! — еще! — заяц спотыкается, летит кувырком, растягивается, как резиновый... С ума, что ли, сошли собаки? Куда они гонят? Куда они опять пошли нести свои голоса, свой брех, свои пятна на боках, брылья, правйла, почему они уходят?— егерь, егерь! — скорей, где твоя валторна, давай труби!

И затрубил егерь. У-у-у-у-у-у-у! — проносится заунывно над лесом. Пфо-о-о-о-о-о-о! Собак опять не слыхать, но они нас слышат, молчком бегут к нам, возвращаются, выбегают одна за другой на открытое, языки на сторону, пар уже не клубочками — пышет из красных пастей, а мы давно уж держим тяжелого зайца, и голова у него уж поматывается, уши обвисли, но все равно еще не сошлись вместе, смотрят на стороны.

Ну, давай же поедем скорей, давай проживем такой день!

— ...Женя! Женя, приезжай ко мне, у меня дом, хозяйство, все такое... Женя, приезжай, Женя!

— Женя, потом стихи дай списать, а?

— Вот Копытов выступает на совещании, говорит: «Есть, говорит, тюлень!» А наука, говорит, не имеет тесного контакта со зверобоями. Это, говорит, на пять лет закрыть промысел, что тогда зверобои скажут? План есть план, а заработок есть заработок. И слухи об исчезновении тюленя это, товарищи, непроверенные слухи.

Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На се-

вер увез, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алеша! За Север!

— А второй-то кто?

— Надя! Наденька, я вас люблю, я нежно так вас люблю! Скажите мне что-нибудь, а? На прощанье. Подари-и-и-и на прощанье мне биле-е-ет!

— Восемьдесят восемь!

— А?

— На! Ты слушай. Выступает тут Яковенко из ПИНРО, и пошел! Как это, говорит, есть тюлень? Наука, говорит, вещь точная, и у науки есть данные... Чуть не всего, говорит, перебили лысуна! Товарищ, говорит, Копытов о плане заботится, это хорошо, но это экономи-ческая близорукость, а? Нам, товарищи, теперь, к сожалению, не о плане думать нужно, а о наших детях, о наших потомках! А потомки эти нам, товарищ Копытов, спасибо не ска-ажут, нет, не скажут.

— Саша! Саша!

— ...Потому что, говорит, если мы не можем контролировать залежки лысуна у Ньюфаундленда или Ян-Майена, то тут у себя, на Белом море, контроль мы осуществить вполне можем и должны...

— Саша! Александр Константиныч! Капитан!

— А?

— Что такое «восемьдесят восемь»?

— А-а... (улыбаясь и подмигивая). Это значит: «Я люблю тебя, мальчик!» Так вот, ученые, говорит, решительно настаивают на полном запрете забоя лысуна сроком на пять лет! Видал?

Я повернулся и взглянул в окно. Над гостиничным серым двором; над ящиками и бочками, сваленными в углу; на уровне верхних окон, плоско вспыхивающих от заката, висел в воздухе мой поэт; увидев, что я смотрю на него, он приблизился, влетел в окно и сел за

стол между рыжим Володей и Ильей Николаевичем. Они ничего не заметили.

— А то поедем,— сказал я ему,— поедем куда-нибудь на север, подальше, на Канин Нос... (Поэт прикрыл свой пересохший рот, потрогал заграничный галстук, поправил манжеты; нос его покраснел и распух, а лицо побледнело от волнения; он закивал головой.) Ах, да! — вспомнил я,— Останкинские пруды, запах лип, цветущих кронами вниз, дожди над асфальтом, пролившиеся в небо... А еще рыхлая пористая бумага, на которой то жирно, то слабо чернеют свежие гранки; подъезды клубов, поэтические вечера, аплодисменты, автографы, влюбленные девочки. Но и это не вещь — вот Париж, Нью-Йорк, София, Лондон, снимки в журналах и газетах, джинфиз и стриптиз, интервью, заграничные шумы, летящие во тьме низкие авто, аэропорты-автопортреты... А?

Но не в этом наш исток, гул крови не в этом, а вот поедем-ка на Канин Нос и проснемся однажды среди бледной природы, под бледной ночью, на берегу реки, недалеко от моря, в старой избе среди всхрапывающих рыбаков.

Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, напялим шапки-ушанки. Мы выйдем на рассвете и увидим, что по реке ползет туман, а вода коричнево проглядывает сквозь молочные завитки. Тундра с приплюснутыми островками вереска уныло пахнёт нам в душу. На берегу будет тянуть дымком от вчерашнего, еще тлеющего костра, сладким торфом и далеким сероводородом с моря, от гниющих там водорослей.

Несколько раз хлопнет, стукнет дверь избушки, рыбаки соберутся на берегу, все сразу зазевают, зачешутся. Потом закурят один за другим, закашляются. Потом, скрипя по сырому песку, пойдут вниз, к черной

моторной лодке, спихнут ее с хрустом в воду, и сами туда же влезут, и уже из воды начнут вваливаться через борта внутрь, рассаживаться и устраиваться. Кто-нибудь зачерпнет сапогом, кто-нибудь ударится коленкой о скамейку, тихо выматерится, а остальные посмеются, заговорят. Голоса далеко будут разноситься по воде. Моторист начнет заводить мотор, лодка станет вздрагивать от его рывков, покачиваться... Мотор застучит, берега и туман двинутся мимо нас, и сначала медленно, а потом все шибче побежим мы к морю.

Первые чайки встретят нас, закружатся над нами, заверещат. С кряком подымутся в тумане утки, черной ниткой потянутся вдоль берега. Нерпа покажется черным мячиком на шелковистой воде. Придет и качнет нас первая океанская волна, мы оглянемся: берег будет уж далеко, избушки, где мы провели ночь, мы уж не увидим. А моторка все будет тарахтеть, вода под носом — шипеть, рыбаки разговорятся окончательно, начнут орать, наклоняясь друг к другу, дикий полярный рассвет окончится и настанет наш радостный день...

— ...Наденька!

— Что?

— Восемьдесят восемь!

— Ха-ха-ха...

— Ну, еще по одной!

— А на шхуну не опоздаем?

— Ты, едри ее мать, с начальством сидишь. Будь спокоен, без нас не уйдет.

— А где она стоит-то?

— Да была на рейде, теперь к Холодильнику небось подошла.

— Время-то сколько?

— Юра, Юра, у тебя какое ружье?

— «Зимсон», а что?

— А у тебя «тулка» штучная, бьет лучше всяких «зимсонов»!

— Ладно, попробуем...

— А вот мы с Юрой скоро в Америку поедем, поедем, Юра?

— Вот Копытов мне по радио говорит с ледокола, к тебе, говорит, на шхуну писателя с вертолета ссадят. А я думаю, вот, думаю, черти принесли этого писателя! Нет, говорю, товарищ Копытов, пускай его высаживают на «Нерпу», там ребята передовые. А ты, говорит, Копытов, тоже передовой, принимай гостя. Да у меня, говорю, вал погнут и все такое, а сам думаю: «Без писателя-то, думаю, оно веселее, на черта он нам сдался!»

— А помнишь потом, как нас буксировали?

— А в Мурманске-то помнишь, как прощались?

— Ты, Женя, на Новой Земле бывал ли? Вот, погоди, зайдем, гольца там будем ловить. Гольца ел когда-нибудь? Сла-ад-кий... В губу Саханова зайдем, гусей там полно!

— Бывает, другой раз такое стадо белухи зайдет! Голов на сотню, вот когда работа!

— Ну, ребята, еще по одной и пойдем! Пора!

— Да-да, пора, поехали!

— Х-хе!.. Кха! — хорроша!

— Ф-ффу! А ничего — прошла...

— Девушка! Сколько с нас, посчитайте!

Мы вышли в ночь, в пустынный город. Прощай, дядя Вася, прощай гостиница! Женя, почему тебя, морского волка, зверобоя — в газету не снимают, как идешь ты по ночному городу с ружьем? Почему репортеры не подхватывают на лету твоих прощальных

слов? Прощай, Игорь Веденский, молчаливый наш друг, привет, привет! Восемьдесят восемь!

Но почему нет женщин на причале? Почему не пришли жены моряков? Почему не машут нам платками, не вытирают набежавших слез, почему пустынно на пирсе Холодильника?

— Время позднее, спят наши жены. Второй час, вон уж сколько. Теперь наши жены — ружья заряжены. Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться. Теперь дело. Теперь не до слез. А «восемьдесят восемь» — это: «я вас понял», по международному коду... Ха-ха-ха!.. А вы поверили, думали, про любовь? Нет! Теперь дело. Давай, давай, поднимайтесь, ребята, на борт, вот так, вот и все хорошо. Эй, кто там?— сейчас отходим, эй, Марковский! Плылов! Мартынов!

— Есть!

Две недели провел я на этой палубе зимой, и трюм тогда был забит просоленными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой — тюленьи красные туши для зверофермы. Планшир обледенел, на снастях сосульки, посвист ветра, поземка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...

Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах ворвани, слабый и нежный от прошедшего с зимы времени, когда она была залита, заляпана тюленьим жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и гулок, как колодец, с наваленной по углам солью, но тоже пахло зверино, дико — пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком.

Такая крошечная эта шхуна, если поглядеть со

стороны — с белыми бортами, с коричневой рубкой, с двумя мачтами, с бочкой наверху. Но ее палуба, пространство ее от кормы до носа, двадцать четыре человека ее команды, машина, рубка, ходовой мостик, зачехленные катера по бортам, каюты и кубрики — вот наш мир на целый месяц, центр мироздания для нас.

Двигатель уже работает, мягко гудит в глубине, уже Илья Николаевич пошел туда, вниз, поглядеть, как там вахта, а капитан полез в рубку. Поднялся и я в рубку, поздоровался с вахтенными, высунулся с одной, потом с другой стороны — все в рубке было, как прежде, все на месте: слева от штурвала компас, позади эхолот, кренометр, выключатели, справа, в ящике, бинокли, потом переговорная труба в машину, телефон...

На шхуне завелся щенок, успел нажраться щелоку, вляпался в него всеми лапами, и теперь лежит, болеет, и все думают, страдают: выживет ли?

Внизу под кают-компанией, в кладовке боцмана, я знаю, висят винтовки, стоят ящики с патронами, под палубком навалены капроновые сети с поплавками из пенопласта, и продовольствие есть, и горючего полны баки, все готово.

— А погодка хороша! — веселиться возвратившийся из машины Илья Николаевич.— Славно пойдем! Нам бы только до Колгуева проскочить, чтоб не тряхнуло, а там — там уж льды пойдут, там, едри ее мать, вода спокойная...

Ну, да, конечно, Колгуев, льды, Новая Земля — радуемся мы. А те, кто пришел проводить нас, стоят маленькой группкой внизу, осиротело глядят на нас с пирса, и мы на них поглядываем сверху, но уже отрешенно, рассеянно, помахиваем иногда ручкой, улыбаемся, как бы говоря: «Привет! Привет! У нас тут льды, Новая Земля, белухи сопят и ныряют. Привет!»

И пока мы устраивались в каютах капитана и стармеха, решая, кому где жить, пока лазили то в машину, наполненную жаром, гулом дизеля, маслянистым светом ламп, маслянистыми бликами на металле, пока я здоровался, узнавал кого-то и меня узнавали, пока мы щупали тяжелые винтовки и рассматривали желтые ящики с патронами, пока заглядывали в рубку к штурману и радисту, и в камбуз на корме, и в полубак, где свалены были и крепко, разнообразно пахли сети, поплавки, буи, багры, доски, полушубки, телогрейки, рукавицы, краска и где шипел пар в душевой, пока поглядывали на алое ночное небо, на полированную ширь Двины, на выпуклую огромность рейда с застывшими кораблями, с движущимися катерами и мотодорками, оставлявшими за собой высокий треск моторов и черный на золотом след длинной волны — «Моряна» наша тронулась потихоньку, отделилась от пирса и пошла, родная, забирая влево от берега, выходя на стрежень, на фарватер.

Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развивала ход до полного, и как плавно поворачивала, следую фарватеру! Правый берег удалился от нас, стали видны все дома спящего Архангельска, его набережная, яхт-клуб, Кузнечиха, Соломбала...

Капитан, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, торчал наверху, на ходовом мостике, похаживал и поглядывал вперед то с одного, то с другого борта и время от времени покрикивал в рубку: «Лево руля! Еще левей! Одерживай!»

И затрубили нам пароходы, там и сям, как скалы возвышавшиеся на рейде, загудели низко, печально, каждый раз троекратно прощаясь с нами. И мы им отвечали слабой своей сиреной — будто свирель отвечала рогу. Много там стояло теплоходов, лесовозов, танке-

ров по всем причалам — наших, финских, норвежских, греческих, немецких, стрекотали бревнотаски, поворачивали свои клювы портовые краны, сипел пар, кололи глаз острые бортовые огни, и глазели на нас из громадных домов-рубок вахтенные, и все знали, что шхуна наша уходит во льды...

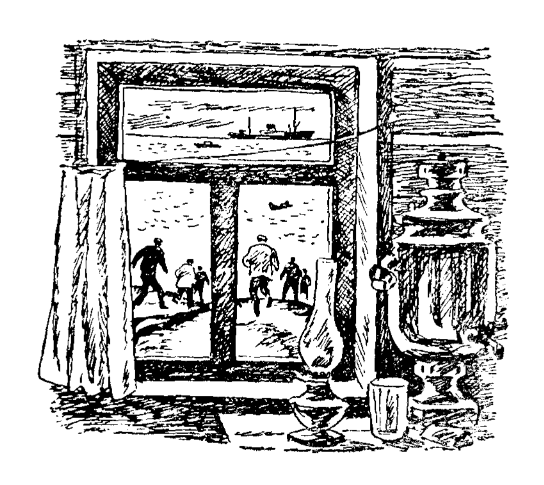
Ах, как просыпался по ночам я в этом Архангельске, услышав сквозь сон долгий густой гудок, похожий на стон, как подходил я к окну, стараясь что-то разглядеть в узких разрывах крыш, хотя бы блеск воды, потом переводил взгляд выше, на алеющее небо, и ничего уже не видя, с погасшей сигаретой, видел все-таки «воды многие» и полярные страны, и Гренландию, и Землю Франца-Иосифа в осиянных льдах...

Я все не спал, когда взошло солнце, малиново стало светить в иллюминатор. Я лег на короткий диванчик, поджал ноги. Двигатель гудел, винт взбивал за кормой воду. Спал я, как мне показалось, совсем немного и проснулся мгновенно, сразу открыл глаза. Все так же светило в иллюминатор солнце, только свет его был желтей, ярче, все так же взбивал за кормой воду винт. Не качало. Мне подумалось, что мы еще идем устьем Двины. Но заглянул в каюту стармех Илья Николаевич, сказал весело:

— Проснулся, Юра? А мы уж мимо Зимнегорского маяка идем. Скоро Нижняя Золотица будет. Помнишь, как ты там зимой на зверобойке был? А товарищ твой уж давно встал, все пишет, едри его мать, чего-то...

Так-то вот и началась наша морская жизнь.

1967 г.



БЕЛУХА

> Белуха в море зверобою
> Кричала, путаясь в сетях,
> Фонтаном крови, всей собою:
> «Зачем ты так? Зачем ты так?»
>
> Ну, а его волна рябая
> Швырнула с лодки, и бедняк
> Шептал, бесследно погибая:
> «Зачем ты так? Зачем ты так?»
>
> Евг. Евтушенко

И жарко, и холодно одновременно. Даже под опущенные ресницы, отраженное бирюзовой водой и льдами, умытыми ею, пробивается и слепит глаза солнце. Невысокая издали, зеленая полоса тундрового берега кажется близкой, но мы едем, едем, а берег будто бы даже удаляется от нас. Посмотришь на синеватые холмы, отведёшь взгляд, проводишь глазами какую-

нибудь льдину, потом опять взглянешь — еще дальше!

Вода спокойна, но все вокруг точно зыбится, видения, миражи окружают нас — то вдруг погрузишься будто бы в водоворот, и странно, что нас не заливает водой, стеной вздыбившейся вокруг; то вознесешься, и кажется тогда, что видишь не только горизонт, но и то, что за горизонтом — блестят озера, лениво извиваются реки... Оглянешься назад — шхуна висит в воздухе, прищуришься, всмотришься, нет, не висит, а стоит на некоем прозрачном воздушном столбе. Вот слева на льдине люди что-то делают, над чем-то копошатся, сходятся и расходятся, и одна только в них странность: все они будто в белых балахонах. А справа медведь на краю льдины пьет воду из лужи, и брюхо у него желто-косматое и черные с алым оборки губ, а глаза черные... Гляжу на своих товарищей — нет, никто не шевелится, никто не хватается за винтовку, сидят неподвижно, оцепенело, сонно поводят глазами, а человека три уж и спят, свернулись на дне катера, надвинув шапки на глаза... Устали!

И вот откуда-то приходит, как слабый ток, и охватывает меня тревожное предвкушение чего-то необыкновенного. Все сделано: пройдены сотни километров во льдах, сети поставлены, загон готов, моторы катеров отрегулированы. Шхуна спит, овеваемая теплым воздухом из тундры и дежурит на мачте вахтенный матрос. Он ждет появления белух. А пути ее загадочны! Никто из зверобоев не знает, где она, в каких таинственных водах появляется, почему так упорно и постоянно идет Ледовитым океаном на восток и куда потом уходит.

Мы едем на берег ловить омуля. На буксире у нас шлюпка, слегка накренившаяся на один борт, невесомо вспарывает прохладную даже на вид воду, откидывая

на стороны белоснежные хлопья пены. В шлюпке сложен большой невод и черно круглится своим дном котел.

— Эх, Юра! — хлопает меня по плечу стармех.— А и похлебаем же мы сегодня ушицы, едри ее мать!

Воздух, как и вода, неподвижен. Жарко так, что вдруг ощущаешь всю неуместность зимней шапки, телогрейки, ватных штанов в июле. Но вот невдалеке появляется черная полоска ряби на воде, полоска эта ширится, приближается, захватывает нас, и тогда от набежавшего ветерка дохнет вдруг такой ледяной стужей, что сразу хочется спрятаться куда-нибудь, надвинуть поглубже шапку, запахнуться...

Я съезжаю на дно катера, прислоняюсь спиной к скамейке и поднимаю глаза. Во всем видимом небе неподвижно стоят три облака. Озаренные отраженным ото льдов светом, они нежны и лучезарны.

Заглядевшись на облака, я вспомнил все последние дни, проведенные на шхуне, и свое ощущение покоя, сознание важности того, что происходило вокруг. Я почти не спал, дни и ночи проводя на палубе. Да и мало кто спал — все-таки раз в году выходили эта шхуна и ее команда на промысел белухи; повезет ли, не затрет ли льдами, не потопит ли штормом на обратном, уже осеннем пути?

Как весело все эти дни было на полубаке, как были все оживлены, как споро и аккуратно работали — кто в телогрейке, кто в свитере, кто в рубахе, а кто и голый по пояс. Чинили и связывали вытащенные из кладовки и из трюмов сети, привязывали к ним поплавки из пенопласта, копались в моторах катеров, шпаклевали и красили днища шлюпок, гарпунеры пристреливали свои винтовки, и сухое эхо дробилось и отскакивало от многочисленных льдин.

Кругом до самого горизонта был лед. Иногда стукнет глухо, проскребет под скулой шхуны льдина, потом вывернется с шипением. Или ее затянет под киль, и там она дрожит в водяных токах, выбивается в сторону, ползет по круглому дну шхуны, вдруг со вздохом и шуршанием выскакивает у борта, растет, поднимается торчком чуть не до мостика и с шумом валится плашмя.

Везде было полно нырковых уток. Хлопая крыльями по воде, они что есть силы удирали от шхуны, ныряли, но вода была так прозрачна, что с полубака видно было, как они плывут под водой, растягиваясь и сплющиваясь. Чуть не над палубой вились кайры, там и сям плавали в разводьях нерпы, неся над самой водой свои черные издали, изящные головки, чайки лениво подлетали к нам, держались некоторое время за кормой, будто на невидимых нитях, потом отваливали...

Показалась на горизонте ватная полоска тумана, и стала медленно придвигаться к нам. Туман сначала был жидок, потом сгустился так, что в пятидесяти метрах ничего не стало видно. Вахтенный штурман забрался на ходовой мостик и оттуда покрикивал штурвальному: «Лево, лево!.. Одерживай! Так держать!» — обходили льдины. Над нами по-прежнему сияло солнце, но его не было видно, и только вырывалась из-под планшира, подковой взмывала вверх и упиралась в полубак радуга. Она была двойная, иногда тройная, до нее рукой можно было дотронуться, шхуна все время меняла курс из-за льдов, и радуга перекатывалась с левого борта на правый или висела впереди, и осиянная шхуна наша шла все вперед — белая, чистая, еще не запятнанная кровью, еще невинная, вся в радугах, в тумане...

Последний раз мы определялись по радиомаякам милях в тридцати от берега. Часа через полтора снова стали определяться, но маяки почти не были слышны, и некоторое время мы шли наугад. Потом опять пробовали определиться, и снова ничего не вышло. Включили радиолокатор, зеленый луч кругами заходил по экрану, по подсчетам до земли было миль десять, но экран был пуст. Эхолот аккуратно отщелкивал двести метров, но в этом районе глубины возле берегов уменьшались так внезапно, что можно было наскочить на камни. Сбавили ход до малого, на полубак послали матроса. Было десять часов вечера. Наверху пришли облака, и заметно потемнело.

Вдруг эхолот стал показывать пятнадцать и тут же десять метров. Капитан мгновенно дал задний ход, шхуна задрожала и остановилась.

— Боцман! — закричал капитан, высовываясь из рубки.— Боцман, отдать якорь!!!

Загремела якорная цепь, гремела чуть не минуту, потом застопорилась. Дна не было.

— Боцман! — опять закричал капитан.— Где лот? Промерь глубину лотом!

Лот вымотал всю катушку, сорок пять метров, и не достал дна. Мы стояли в совершенной тишине, в тумане, и только если долго вглядываться, справа, высоко в небе, загораживая солнце, видна была сиреневая гряда облаков.

Стали проверять эхолот. Йодистая его лента, которая должна была быть постоянно влажной, была на этот раз сухой. Увлажнили ленту, и эхолот опять стал аккуратно отщелкивать двести метров.

— А, черт! — сказал капитан, вытирая взмокший лоб.— Техника! Боцма-ан! Выбрать якорь!

Опять пошли малым ходом, опять включили лока-

тор, и вот на самом краю экрана зеленый луч стал отбивать неровную линию — впереди была земля.

Как называлась эта река, к устью которой мы плыли? Я так и не узнал... В какие времена и какой человек увидел эту реку впервые, поглядел на нее и дал ей имя?

Я почему-то представлял себе эту реку порожистой, шумной, с коричневатой водой, закручивающейся мелкими и крупными воронками и влекущей за собой завитки тумана в холодные дни. Подолгу, бывало, сидел я над такими реками на Кольском полуострове, слушал их разнообразный шум, следил глазами за струями, такимим же переменчивыми и неуловимыми, как и пламя костра. Редкостная рыба живет в таких реках, вздрогнешь от веселого испуга, когда вдруг у берега, под ногами у тебя, выпрыгнет из воды какая-нибудь кумжа или семга. Прекрасны огромные, выглаженные снегами и водой камни по берегам этих тундровых рек. Покрытые нежнейшим мхом с северной стороны, как они глянцевиты и теплы в погожие летние дни, какое наслаждение вытянуться на таком камне, сбросив пропотевший по спине рюкзак после долгого перехода!

В катере началось оживление. Перекрикивая шум мотора, заговорили о том, что где-то тут есть промысловая избушка, и промысловик живет с красивой женой, один живет вот уже пятнадцать лет... Мотор сбавил обороты, я приподнялся, глянул поверх борта — мы входили в устье медленной, темной реки.

Дики, пустынны реки на Белом море, но даже в самых глухих речках, куда и мотодора не решится зайти, видны все-таки следы человека: то бросятся в глаза

два-три стога или карбас с выкинутой на берег кошкой, или вешки, которыми кто-то отметил фарватер, след костра, большой старый крест, а то и пустая, завалившаяся избушка.

Здесь же не было на чем задержаться глазу. Пустынная плоская река влачилась среди пустынных холмов, и если бы не стук нашего мотора...

Осторожно войдя в устье, мы ткнулись в прибрежный песок, подтянули шлюпку с неводом, выскочили на берег, и так тихо и твердо нам всем показалось, что мы торопливо закурили, оглянулись: невдалеке блестело озеро, за ним, поправее — другое, над озерами в разных направлениях тянулись темные цепочки и даже как бы небольшие темные же облачка — летали над тихими водами утки.

— Нет, ты гляди, Юра! — забормотал Илья Николаевич и хищно потянулся за своим ружьем.— Нет, ты видал, а?

— Погодите, охотники! — перебил его капитан.— Ну вот хоть вы — Марковский, Шилков,— котел тащите к избе, хозяину скажите, что скоро с рыбой придем, уху варить, да хозяйке скажите, чтоб нарядилась, скажите, поэты московские, знаменитые ее опишут, лирические поэты, скажите, что о любви пишут!

Капитан захохотал, подмигивая нам, толкая нас под бока, а я только теперь заметил щепки на берегу, дальше в тундре что-то темнело, какой-то непонятный предмет, а еще дальше среди желтой песчаной проплешины сизела промысловая изба. Я огляделся внимательнее, ожидая увидеть еще какие-нибудь следы человеческой жизни, но больше кругом уж ничего не было.

Матросы, забредя в воду, вытащили из шлюпки котел и поволокли его весело к избе, другие принялись распутывать невод, складывая его по порядку на кор-

ме, капитан азартно на них покрикивал, торопил, Илья Николаевич радостно спрашивал:

— Ты, Женя, омуля-то едал когда? С семгой, ясно, не сравнишь, но в ухе ничего, вот увидишь...

— Он и вяленый с пивом неплохо идет, — отозвался капитан и тут же закричал: — Мотню-то кто так кладет? — и полез в воду сам.

Редкие льды плавали в заливе, на горизонте надо льдами висела наша шхуна, мне захотелось вдруг отойти подальше, побыть одному. Я взял ружье и пошел было к озеру, но, едва пройдя сотню шагов, вернулся: комары, которых на берегу разгоняло ледяным ветерком, в жаркой тундре меня одолели.

Невод наконец распутали, уложили, шлюпка пошла от берега, один матрос сильно греб, другой торопливо выметывал с кормы в воду стенку. Дошли до середины реки, плюхнули за борт мотню, поворотили и, выметав вторую стенку, замкнув большое полукружье, причалили к берегу. Разбившись на две группы, мы с уханьем начали тащить невод. Как всегда, много было крику, беготни, а когда на мелком показалась мотня и к ней бросились сразу несколько человек, подхватили ее, вздымая брызги выше головы, поволокли на берег и тут бросили — разочарование как-то даже оглушило нас. Несколько небольших камбалок влажно трепетали в водорослях, набившихся в мотню. Камбалок пренебрежительно бросили в мох, невод собрали, уложили в шлюпку и поехали дальше, делать новую тоню.

— Что такое, едри ее мать, а? — растерянно бормотал Илья Николаевич, вытирая обильную испарину. — Сей год что-то никого не попалось. Бывало... Эй, эй, левее бери! — закричал он, сорвался и побежал по песку руководить неводом.

Я опять поглядел на далекую избу, и мне захотелось пойти туда, тем более что там уже заметно было какое-то движение. Но и рыбацкий азарт меня держал, и я пошел помогать вытаскивать невод. И опять выволокли на берег мотню, и опять бились камбалки, темно-серые и желто-белые по бокам.

Решено было, как в сказке, в третий раз забросить невод, а я задумал уловлять души человеческие и побрел потихоньку к избе. Все-таки не шутка, думал я, пятнадцать лет одиночества. Ну пусть с женой, ну пусть дети есть и все-таки — навестят летом зверобои, переночует какая-нибудь экспедиция, ну, наконец, ненцы какой-то миг попасут поблизости своих оленей. А осенью! А зимой!

Чем ближе подходил я к дому, тем сильнее поражала меня его приземистость и сизость. Из крепчайшего, пропитанного океанской солью, плавника был сложен этот дом, а торцы бревен на углах уже были изъязвлены, иссечены снегом и дождями. Окошки были маленькие и чуть не под самой крышей, крыльцо несуразно высоко, и дверь — тоже под крышей.

— Ну как? — закричали мне еще издали матросы. — Есть омуль?

Перед домом уже висел на колышках котел и костерок под ним был разложен, жидкий дымок относило в тундру. У крыльца валялась кучка капканов, какие-то шкурки, распятые на стене, белели своей мездрой, две лохматые лайки восторженно носились друг за дружкой. И еще везде возле дома валялись как попало или были аккуратно сложены какие-то рогульки, шесты, лучки. Хорошо запахло жильем, кислой ворванью, сушеной рыбой, деревом, сухим мхом...

Услыхав наши голоса, вышел на крыльцо хозяин — суховатый средних лет мужик, гладко бритый, чистый,

но с красивыми густыми усами, подал мне руку, склонил свою суховатую головку, пригласил в дом.

— Тут у нас вроде как бы склад... — усмехнувшись, промолвил он, когда мы проходили сенями, и кивнул на полуотворенную дверь. Я не утерпел и сунулся в эту дверь. Большая поветь освещалась окошком под потолком, и чего только там не было! Шкуры оленей, связки мехов под потолком, бидоны с керосином, сети, оленьи рога, переносная печка, эмалированная посуда, большие лари с мукой, сушеная рыба на стенах, стеклянные банки с компотами, консервы...

А в избе шумел самовар, пахло свежим хлебом, посреди стола в большой миске лежал кусок масла, желтела на тарелках какая-то соленая рыба. Раскрасневшаяся молодая хозяйка суетилась у русской печи, в углу застенчиво сидели два мальчика. Мы с хозяином сели на лавку к окну, загроможденному цветущей геранью. Солнце яркими переплетами лежало на чистом полу.

— Хорошо! — сказал хозяин, отодвигая горшок с геранью и глядя в тундру. — Только вот окон не открываем, комары, паразиты, жизни не дают.

Закурив, мы некоторое время молча созерцали хозяйку, как она выходила и входила, ставила на стол чашки и стаканы, сахар, печенье. Мальчики встали, подошли к моему ружью, которое я повесил у двери, и стали шептаться.

— Они у меня в интернате учатся, в Амдерме, — сказал хозяин, кивнув на сыновей.— Охотники! Винчестер свой я им не даю, дак у них одна одностволка на двоих. Старший, вон тот, вихрастый, брата своего заместо собаки приспособил. Тот, значит, утей пугает, а энтот ждет, сидит со своим пужалом... Ну, а как там у вас омуль-то, попало чего?

— Нет, — сказал я. — Камбалы немножко.

— Я и то говорю, что-то отошел омуль, у меня там в заливчике сетка стоит, так ничего не попадается.

Я вдруг заметил в окно на одном из холмов белое пятнышко, поглядел на другой холм подальше — и там, на вершине, было такое же пятнышко.

— Что это белеет?

— Где? А-а... Это совы полярные, белые, их тут много сей год, лемминг откуда-то пришел, и они за ним.

На улице послышались голоса, сильно распахнулась дверь, и вошел капитан, а за ним и остальные.

— Здорово, Петрович! — закричал капитан, — Как жизнь молодая? Э! Э! Не пойдет! Этот номер не пройдет, — сказал он, увидав на столе водку. — Это ты прибереги, ты что, думаешь, мы из Архангельска на твое добро пришли? Марковский! Где там у нас представительский? А ты, Плылов, беги на озерко, шкерь рыбу, сейчас уху заварим! Что ж, Петрович, омуля всего съел, ни одного на развод не оставил?

Хозяйская водка была убрана, появился на столе спирт, самовар поспел, все стали истово мыть руки, хозяйка стояла возле рукомойника с полотенцем, блестящими глазами глядела на всех. Матросы подкладывали во дворе в огонь щепки, от котла шел пар. Собаки скулили на крыльце, просились в дом.

— Как белуха? — после первой стопки стал спрашивать капитан.— Много прошло, не заметил?

— Идет, мало пока, — отвечал хозяин. — Штук по десять, ребята считали.

— А! Это хорошо, значит, пойдет еще, значит, план выполним, — радовался капитан. — А песцы как сей год?

— Не жалуюсь,— кротко сказал хозяин и весело поглядел на жену.— Были песцы.

— Понятно.

— Ты небось миллионером скоро станешь! — закричал уже захмелевший Илья Николаевич.— Признавайся!

— Какой там миллионер? — засмеялся хозяин.

— А чего? Не пьешь, не куришь, автомобилей не покупаешь, на курорте-то хоть был?

— Жена ездит...

— Ну, жена много не проездит, одна дорога только и расходу, это ведь не наш брат. А где же уха? Ты, Петрович, скажи вот москвичам, как, бывает, тут белуха идет — по пятьсот голов сразу в загон может зайти! За неделю три плана возьмешь и домой, что, не правду я говорю?

— Раньше бывало...

— Вот и я говорю, раньше...

И начался любезный нашим сердцам разговор про то, как, бывало, били тюленей, белух, сколько в Печорской губе семги было, какого гольца ловили на Новой Земле, сколько было гусей и лебедей, а уткам, конечно, и счету не знали. И белые медведи к нам пришли, и сели вокруг дома, и стада диких оленей подошли, моржи и нерпы высунулись отовсюду, затявкали песцы...

— Раньше кто на севере бывал? — горячился самый старший среди нас Илья Николаевич. — Ну, пять-десять промысловых судов придет в Карское, так? Ну, местные промысловики, как вот Петрович. Ну, бери еще зимовщиков — и все! А теперь, эти самые туристы да путешественники, да землепроходцы, да геологи, да вертолеты, да вездеходы — ага? Да всяких этих метеостанций понастроили, да еще вот, говорят, мода в Москве пошла и за границей на нерпу, вот каждый и везет домой по шкурке. Везет, Петрович?

— Да не по одной.

— Вот. Верно, дай руку пожму, держи пять! Тюленя

истребляют, теперь за белуху взялись. Эй, чего это тарахтит, никак наши еще едут?

Матросы в это время стали вносить в дом миски с ухой.

—На втором катере что-то сюда гонят, — сообщили они.

Мы вышли на крыльцо. Все-таки какое солнце, какой вольный ветерок охватил нас, как пахнуло на нас океаном и землей одновременно!

Среди льдов, то скрываясь, то показываясь, двигалась еле заметная черточка, чуть слышно доносило звук мотора.

— Не выдержали! — засмеялся капитан. — Омулевой ухи захотелось, так будет же им уха!

А уха, против ожидания, была вкусна. Тесно, локоть к локтю, сидели мы за столом — и только ложки скрябали по алюминиевым мискам, только испарина выступала на наших лицах. Но не уха меня занимала... Выйдя из дома, я присел на какое-то бревнышко в ожидании, когда отобедает хозяин. Мне хотелось с ним поговорить.

Не деньги же держали его тут полтора десятка лет? Конечно, воля, простор, тишина... И потом, вероятно, удовлетворенность от сознания, что ты один тут хозяин, владыка всего сущего на десятки километров вокруг. Сюда за тысячи километров летят миллионы уток, чтобы именно тут дать жизнь новым миллионам. По всей тундре выводят теперь песцы своих щенят, нерестится рыба в реках и озерах, и все это как бы для тебя.

Но осень! Но зима! Какое сердце нужно иметь, чтобы не впасть в тоску, в отчаяние от беспросветной ночи, от дождей и метелей. Сидеть годами в тесной избушке, при свете керосиновой лампочки, ставить сотни

капканов на песцов и потом выхаживать тысячи километров за сезон в любую погоду, может быть, зарываться в снег во время пурги, обмораживаться, прощаться с жизнью, лишать себя чуть не навсегда элементарных человеческих удовольствий — я уж не говорю о музыке, о библиотеках, о той части нашей жизни, которую принято называть духовной,— лишать себя возможности полежать на песочке возле какой-нибудь прелестной нашей русской речки, пойти в лес за грибами, поговорить с другом, — и все для чего? Для того чтобы потом где-нибудь в Лондоне и в Нью-Йорке вечером могла подкатить к подъезду ресторана в дорогой машине некая дама в дорогой песцовой шубке, дама, жизнь которой не стоит жизни не только вот такого промышленника, добывшего ей песца, но и, быть может, жизни самого песца?

Хозяин все не выходил, катер значительно приблизился уже к берегу, можно было даже различить фигурки людей, сидящих в нем, я подумал, как шумно станет, когда к нашей компании прибавится еще несколько человек и, наверное, не удастся поговорить, стало мне досадно, и я пошел опять в дом.

— Нет, я водку не уважаю! — громко говорил раскрасневшийся Илья Николаевич. — Вот ты, Петрович, скажи, часто пьешь?

— Ну, где же часто...

— И правильно! Вот я до тридцати лет ее вкуса не знал! А теперь, погляди, малец какой-нибудь, ему лет шестнадцать, а он уже все перепробовал, и этот ром кубинский, и все, и в вытрезвителе уж сколько разов бывал. В прошлом году в Амдерме, капитан вот не даст соврать, всю галантерею перепили, одеколоны всякие и даже эту, едри ее мать, зубную пасту, а? Нет, был бы я правительство, я бы эту водку запретил выпускать.

— Самогон гнать будут, — улыбаясь, поддразнил его капитан.

— А самогонщиков сажать на десять лет и с конфискацией имущества!

— А как тогда прибытие в порт отмечать станешь? А отвальную?

— А пивом! Пивом сколько ты выпьешь? Десять кружек максимум...

Хозяин, тихо улыбаясь на горячность Ильи Николаевича, сел к окну, закурил. Подсел к нему и я. Матросы взяли винтовку, вышли на улицу, начали стрелять по полярной сове, ярко белевшей вдали на сизом тундровом холме. Выстрелы сухо и негромко стегали по равнине, и сова, наверное, не обращала на них внимания, но пули, вспарывавшие мох возле нее, беспокоили ее, и она взлетывала, но тут же и садилась рядом, чтобы опять взлететь через секунду.

— Не попадут, — уверенно сказал хозяин. — До нее километра два, тут снайперскую винтовку нужно.

— А вы, наверное, хорошо стреляете? — спросил я, чтобы как-то начать разговор.

— У меня винтовка хорошая, точно бьет. Она еще до войны, до первой империалистической, изготовлена фирмой Винчестер. Да только я и не стреляю почти никогда, редко когда оленя дикого завалишь или по морскому зайцу с карбаса придется ударить. Зимой, правда, всегда при себе имею винтовку-то, на случай обороны.

— Какой обороны?

— А от белых медведей.

— А что, заходят?

— Приходят, другой раз сразу по три, по четыре. Только я их не бью, запрещено, шкуру на фактории не принимают, а так на кой она...

— Вы ведь северянин родом?

— Архангельский. Я сначала моряком был, но меня море бьет, так ушел.

Он помолчал, как бы прислушиваясь к застольному говору, потом, понизив голос, сказал:

— Вообще-то, правду сказать, я не потому с моря ушел, а после одного рейса... И с женой у меня получилось, не как у всех, то есть женился, можно сказать, непонятно как...

— Ну, а здесь нашли успокоение?

— Какое! Приключений всяких не сосчитаешь!

— О! Расскажите, если не трудно!

— Это надо по порядку, с того еще, как я моряком был. Только я еще выпью, не возражаете?

Он подошел к столу, налил себе спирту, разбавил, поморщился, выпил и, не закусывая, опять сел на лавку к окну.

— Я редко пью, — как бы оправдываясь, заметил он. — Только когда гости или праздник. Так... Меня потому море било, что я на спасателе работал, мы только в шторма выходили из порта, когда сигнал бедствия получался. Работа тяжелая была, какой случай ни возьми. Да вот, к примеру... Был такой пароход норвежский, грузовик, по имени, как теперь помню, «Гранли». Вот этот «Гранли» вышел из Архангельска с лесом в начале ноября. А осень у нас, хоть здесь, хоть и в Белом, прямо сказать, страшная, глаза бы не видели. Прихватил этого норвежца в горле Белого туман, а капитан обстановки, верно, не знал — и сел на камни, аккурат возле Сосновца. Стал подавать «SOS». А я тогда на спасателе «Протее» работал, мы сразу вышли в море, ни продуктов не было, ни воды, мы у пирса стояли, нам все это хозяйство как раз должны были подвезти, а тут бедствие, мы и вышли... Но первым к этому «Гранли» по-

дошел наш лесовоз, замеры глубины произвел, а помочь фактически ничем не мог. Ну, мы подошли часов через десять, у нас скорость большая была, сразу приступили к спасательным работам. Сначала повреждения осмотрели, хорошо, погода позволяла, на шлюпке ходили, замеры делали. Оказалось, пробиты были балластные и топливные танки. Так... Потом, значит, завели мы на этот «Гранли» спасательный буксир, сперва на шлюпке завезли «проводник», тонкий такой трос, а потом уж норвежец лебедкой буксир к себе вытащил и закрепил. Но только наш «Протей» один ничего не поделает, очень уж прочно сидел этот норвежец. Вызвали на помощь ледокол № 1, завели еще буксир, развернуть развернули, а стащить никак не можем, буксиры рвутся. Тогда пошли в воду водолазы, чтобы залатать пробоины. Решили часть груза с норвежца снять, чтобы он поднялся повыше. В Шойне тогда как раз «Бежецк» разгружался, он перед этим целый месяц по Карскому ходил, по становищам да по факториям. Вот этот «Бежецк» получил указание из пароходства забрать хотя бы часть груза с «Гранли». А у нас в это время продукты кончились, вода кончилась, питьевой немного осталось, а так мылись и все такое соленой, забортной. Начальник экспедиции, как сейчас помню, Сидоров по фамилии, дал, значит, указание, с какого борта подходить к норвежцу, и как только тот, значит, подымется, так его скорей вытаскивать. Ну, капитан «Бежецка» потихоньку подкрадывался, потому что погода хоть и запала, то есть тихая была, но течения там страшенные, а подводных гряд везде полно. А мы к ноябрьским праздникам торопимся, обидно нам в море болтаться, к праздкам все моряки, которые не в дальнем рейсе, домой стремятся попасть... А у нас тогда команда со спасателя пересела на «Бежецк», вот мы подходим, можно ска-

зать, по инерции, вдруг скрежет ужасный! Мы все прямо к палубе приросли! Не знаем, как быть... Дать ход назад, вдруг еще больше раздерешь. Капитан «Бежецка» решил прилива ждать, вода шла на прилив, думаем, подымется. Доложили на «Протей»: предположение есть, пробит ахтерпик, такой, значит, есть в корме топливный танк. Тем более глядим, по воде масляные пятна гонит, а скрежет стоит! Капитан прямо белый весь, а стармех говорит, пробоины нет, нет воды в трюмах. Потом разобрались, пятна масляные шли от «Гранли». Все-таки на приливе снялись, стала вода в трюм поступать, помпы включили. Капитан «Бежецка» просит водолазов. С «Протея» отвечают: водолазы самим нужны, идите в Архангельск, если уверены, что дойдете. Ну, «Бежецк» все же ушел. Опять остались «Протей» и ледокол. Еще два дня возились, все-таки заплату подвели, воду откачали, сдернули норвежца. Потащили его в порт, а тут как раз вот он и шторм! С «Гранли» скоро стали давать сигналы, что тонут. Пришлось нам снимать оставшуюся команду, так как все были уверены, что этот «Гранли» или затонет, или перевернется, так сильно его клало. Но все-таки до Архангельска дошли, пришли на Экономию, а как раз 7 ноября, дело к вечеру, послали мы человек пять на берег, в магазин, там уже о нас все знали и хоть закрыто было, но нам открыли, набрали мы всего и праздник встретили по-людски, даже норвежцы с нами за Советскую власть пили, за советских моряков.

Хозяин вздохнул как-то легко, будто не про штормовые свои мытарства рассказывал, а вспоминал нечто приятное, закурил, прислушался к говору за столом. А зверобои опять горячо спорили, правильно ли запретили промысел тюленей и как теперь быть с заработками и с промысловым флотом.

— Я считаю, — горячился Илья Николаевич, — мы мало виноваты, мы одни, что ли, тюленя бьем? Ну, бьем мы его, пока он у нас в Белом море, в горле прихватим, а как лед к Шпицбергену погонит, этого тюленя, едри его мать, кто только не бьет, и англичаны, и датчаны, и норвежцы, надо, чтобы никто не бил, если запрещать! Правильно я говорю, Петрович?

— Правильно, — согласился хозяин, улыбнувшись.

— Вот и Петрович со мной согласен.

— Ну, а случай-то, из-за которого вы море бросили? — напомнил я.

— А-а... Я тогда рулевым был на буксире «Бугрино», тридцать два человека экипаж, систер шип, это англичане так называют суда, как бы одушевленный предмет. Тащили мы док здоровенный, ну, тропическая комиссия, а буксировать надо было на Дальний Восток, уколы такие, что мы прямо падали, потом еще прививка... Вышли мы в апреле, а док такой здоровила, что хорошо, если мы полтора узла делали. Первая остановка у нас в Алжире была, нас там хорошо встретили, фруктов разных, апельсинов понавезли, гости приезжали, редактор коммунистической газеты целый день с нами провел, участник испанских боев, хороший человек, забыл только, как звали, чудно как-то. Но жара уже чувствовалась сильно. Изо всех нас человек только пять в тропиках бывали раньше, да еще человек десять родом с юга — тем ничего, полегче было, а нам, которые до этого в Арктике плавали, совсем худо стало.

Потом пришли мы в Суэцкий канал, остановились в Порт-Саиде, тут жара еще хуже. Вышли мы прогуляться, денег, конечно, немного, так мы все эти деньги пропили. Вы не думайте, не на вине, а на этой... на пепсиколе, коричневая такая водичка шипучая, сначала

вроде химией отдавала, а потом привыкли — сразу по четыре бутылочки пили. А бутылочки со льда, холодные, как из родника пьешь, даже стакан потеет.

Ну, после Порт-Саида вышли мы в Красное море, в Аденский залив, и тут нас застиг ураган! Я уж сказал вам, что меня в шторм укачивало, но у нас шторм со мглой, с туманом, а то и при чистом небе... А там! Черно стало, как ночью, молнии полыхают со всех сторон, гром гремит даже без перерывов, а у нас иллюминаторы заварены были, духота, тоска... И так вот гребем мы со своим доком, машины пустили на полную мощь, вдруг видим — что такое? Навстречу нам судно с поднятыми флагами, это они сигнал, значит, подняли энсэ, то есть «терпим бедствие». Вот не поверите, мы сами тонуть собрались, а тут судно со своим сигналом... Мы к ним привернули немного, они за док зашли, там все же спокойнее. Спустили мы шлюпку, подошли к этому судну, а там... Черные все такие люди в белых балахонах, на палубе на коленях стоят, видно, молятся по-своему. Оказалось, судно египетское, паломников везло на ихний какой-то религиозный праздник и по швам лопнуло, старая посудина-то. Капитан ихний египтянин, никто не говорит ни по-английски, ни по-французски, давай мы с ними объясняться флагами по форме МАК. Просят на буксир взять и пассажиров к себе забрать. Делать нечего, притащили мы их в Аден и стояли там четыре дня, оформляли документы на спасение судна. Ну, мы все это время отдыхали. Заслужили, как говорится. Море красивое, вода синей, чем в Гольфстриме, обезьяны прямо по городу прыгают. Нас эти южные народы очень хорошо приняли, на охоту за черепахами морскими возили, стреляли их из малокалиберных винтовочек. Суп этот черепаший которые из наших

не ели, а я ел, бывало, две тарелки срубаю — очень вкусный.

А по вечерам там такой специальной рыбной ловлей занимались. Сейчас «переноску» опустят вниз, туда же сетку, в сетку кусок мяса привяжут — и на дно. Вытаскивали таких страшных рыб «броненосцев» —это мы их так называли,— вся в панцире и два рога. Большая, а вытащишь, еще раздуется и зубы, как у зайца. Не вру! На второе у нас все эти дни была летучая рыба, жареная, суховатая на вкус, но ничего.

Вышли мы из Аденского залива уже в мае, пошли Индийским океаном. Страшно было идти, потому что возле Тайваня, а те посылали на нас реактивные самолеты. Спикирует, а потом над самыми мачтами берет повыше, да газанет так, что глохнешь, того и гляди стекла из рубки выбьет. Погрозишь ему кулаком, матюкнешь как надо, а что ж еще поделаешь?

Вот так мы идем неделю и две, как муха ползем, жара, деваться некуда, самолеты эти на нервы действуют, и вот один матрос у нас стал с ума сходить. Начал, понимаете, по ночам разговаривать что-то. Ну, мы сперва без внимания, потому что когда в такой страшной жаре спишь, то многие во сне разговаривают. Только раз послушали — что такое? А он сам с собой в шахматы играет, да быстро так: говорит, к примеру, конь черный аш-три, гэ-пять, белый ферзь цэ-шесть, де-семь и прочее в этом роде. Ладно... Потом стал в каюте запираться и на баяне играть. А он раньше у нас все в самодеятельности участвовал. И такие грустные мелодии выводит, да так здорово! Что делать? Днем все нормально и на вахте стоит и посмеется когда, спросишь про ночь, он отвечает в норме, мол, по дому скучаю. Кто ж не скучает, жарища еще эта... Только раз подкрался он уже днем к матросу одному и, пока мы его схватили, успел

того три раза ключом ударить. Мы его хвать, а он с нами драться, локоть ушиб себе до крови. Ну, его в лазарет и матроса того туда же.

На другой день я как раз на вахте стоял, вдруг появляется он на мостике и давай повязку свою с локтя рвать.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Так, ничего...— говорит.— Скучно!

Ну, я на компас гляжу, на картушку, слышу его крик: «Петрович!» Глядь, а тот уже за борт летит! Я сразу в машину команду «Стоп!» врубил, но скорость еще была, и я тогда, по всем правилам, руль в сторону утопающего, а штурман наш тут же тревогу дал по всему судну: «Человек за бортом».

Спустили мы две шлюпки сразу. С мостика его видно, он в белой рубашке, а была зыбь и со шлюпок его никак не углядят. А уж акулы штук шесть возле него ходят. Все-таки минут через двадцать его обнаружили, вытащили, а он уж готов...

Хоронили мы его в восемнадцать часов по московскому времени, как раз проходили тропик Рака, это двадцать три градуса, тридцать минут южной широты. Я в ту ночь в первый раз Южный крест увидал, штурман показал. Ну, завернули его в парусину, к ногам колосники и скобы всякие понавязали, а тело еще веревкой обмотали, чтоб мешок в глубине не надулся. Команда вся выстроилась, флаг спустили, дали длинный гудок...

А потом, смотрю, и со мной что-то стало происходить. Как на ночную вахту заступлю, так вижу свою Надежду, вот ее, супругу мою теперешнюю. Я с ней мало тогда знаком был, и не думал вовсе, а тут гляжу— висит в воздухе как раз перед рубкой и все манит меня выйти. Вижу, дело плохо, я забоялся шибко и пошел

к судовому врачу. Меня тут же в госпиталь уложили, стали уколы делать, пилюлями пичкать, от вахты освободили... А когда во Владивосток пришли, то меня и вовсе списали, я сам попросился, на самолет сел и домой в Архангельск!

Хозяин замолчал, прислушался и посмотрел в окно. Потянулся к окну и я — второй катер с «Моряны» входил в устье реки.

— А ведь... — сказал хозяин и еще пригляделся.— Александр Матвеич! — позвал он капитана.—А ведь похоже, твои не за ухой пришли... Руками что-то машут, не пойму только, зовут вас, что ли?

Все вскочили, сгрудились на минуту у окошек, потом вышли на крыльцо. Катер вошел в реку и скрылся за невысоким холмом. Некоторое время слышно было осторожное «бу-бу-бу-бу», потом мотор смолк. Мы поискали на горизонте «Моряну». Шхуна наша по-прежнему как бы стояла на прозрачном воздушном столбе. По всему огромному заливу по-прежнему рассеяны были большие и маленькие льдины. Все такой же прохладный ветерок попахивал с океана. По-прежнему изнемогала под жарким солнцем тундра. Тишина, покой...

Но какая-то тревога внезапно охватила нас — как будто, пока мы хлебали уху и разговаривали, в тундре и в океане что-то случилось, что-то таинственное произошло...

Наконец, поднявшись от реки, на холме показались четыре фигурки, и опять замахали нам руками.

— Да что там такое? — нервничая, пробормотал капитан и спрыгнул с крыльца.

Две фигурки отделились от остальных и стали приближаться к нам, и по тому, как быстро они приближались, мы поняли сразу, что они не идут, а бегут.

Еще шагов за триста бегущие что-то стали кричать нам, но доносилось только:

— ...а-а-а... а-а-а...

— Чево-о-о? Неслышно-о-о!..— закричал им капитан и уши оттопырил ладонями, чтобы лучше слышать.

Но вот до нас донеслось уже явственно:

— Белу-у-у-ха пошла-а-а-а...

Что тут сделалось с нами! Пока мы нежились, ловили рыбу, жгли костерчик,— многие успели снять свои куртки и фуфайки, а кто и сапоги скинул. Как же все засуетились, бросились за одеждой, побежали скатывать сушившийся невод, потащили к реке, к катерам котел... Схватил и я свое ружье, натянул сапоги, взглянул уже прощально на хозяина: тот стоял на крыльце, улыбался, но улыбка выходила тоскливая. И я тоже затосковал на минуту, увижу ли я его еще, наговорюсь ли? Нет, уж не увижу, никогда, никогда! И никогда не узнаю, как ему живется здесь, приходят ли мрачные мысли, или, наоборот, он совершенно счастлив.

Минут через десять на двух катерах, как-то неприятно оглашая берега реки треском моторов, мы выходили из устья в океан, и уже вроде бы иные люди сидели рядом со мной, никто не дремал, все были в напряжении, в азарте, кричали что-то друг другу, показывали руками то в одну, то в другую сторону.

Закричал, наклонясь ко мне, и мой сосед, гарпунер Саша Нечаев:

— Я вот сейчас случай один вспомнил, лет семь назад было, рассказать?

— Давай! — попросил я, весело озирая празелень вод и белизну льдов.

— Это как я чуть не потонул. Вот как сейчас все забегали, так и тогда... А дело в марте было, мы тюленя

промышляли на Белом. Тюленьи залежки аккурат в это время к Моржовцу подгоняет. А мы за ними на ледоколе. Вот утром заметили мы крупную залежку, примерно в километре от нас, и побежали... А звеньевой у нас был старичок, лет шестидесяти, Василий Кузьмич, а я — второй стрелок. Вот мы спешим, тянем лодку-ледянку, торосы большие. Я тогда прошусь: «Василий Кузьмич, я побегу, а?» — «Беги,— говорит.— Беги, а я потихоньку с лодкой...» Я тогда бегом, на торос поднимусь, гляну, хорошо лежит стадо, я опять бегом. Разгорячился, а тут как раз съем большой. Иначе сказать, разводье. Дай, думаю, на льдине переееду, не ждать же старика с лодкой. И поехал с багром. А у меня через спину винтовка перекинутая и сумка с патронами. Двести пятьдесят штук. Стал перепрыгивать с моей льдинки на большую и не допрыгнул, в воду упал. Руками ухватился за лед, а вытянуться не могу, патроны да винтовка назад тянут. Тогда я шапку на лед бросил...

— Зачем?

— А чтобы знали, в коем месте потонул,— просто ответил Саша.— И держусь. Покричал сперва, потом вижу, никто не слышит, кричать бросил. Висел, висел на льдине-то, да и отпуститься хотел. А пальцы не разжимаются...

— Ну и как же? Вытащили или сам выбрался?

— Вытащили. Меня с ледокола заметили, сразу побежали ко мне, направление взяли и бегом. На лед вытащили, и я упал. Подняли меня, а я снова — бряк об лед! Ну, тогда меня понесли. Сразу в баню, потом спирту дали, я тогда чуть не сутки спал. Во потеха, верно?

— Н-да... потеха...— я поглядел на простодушное, веселое лицо Саши и вспомнил деревню на Белом море, в которой жил когда-то, вспомнил тихое кладбище на

обрывистом берегу реки, высоченные поморские кресты с вырезанным на всех словом ИНЦИ, крашеные деревянные обелиски, фотокарточки застекленные, и с фотокарточек все смотрели на меня юные лица, и все бросалось в глаза странное в наше мирное время слово «погиб». Погиб в таком-то году, в таком-то, в таком-то, погиб, погиб...

Ах, это море!

И влезли мы на шхуну — как домой вернулись. Щенок наш, облизав всех, носился по палубе, капитан распекал вахтенных, что упустили белуху, а те оправдывались тем, что белуха «взяла мористо» и в свою очередь дразнили нас, что мы омуля не добыли нисколько. И так долго сердился капитан, придираясь к каким-то мелочам, а настроение наше все улучшалось: пришли вовремя, белуха только начинает идти, и все предстоящее ей, Архангельск, ремонт машин, продовольствие, топливо, отход, наш путь во льдах — все было позади, впереди была только белуха.

Час проходил за часом, вахтенный с биноклем все торчал в бочке на мачте, озирая горизонт, белуха не появлялась, и я уже жалел, что так быстро мы собрались и ушли, не ушли даже — убежали от промышленника.

Легли спать чуть не утром, проснулись, опять солнце, воздух покоен, чист, и небо чисто, в разных направлениях, перечеркивая далекие льдины, тянули цепочки уток. Глядя на них, я затосковал, попросил отвезти меня на какую-нибудь льдину. Капитан разрешил, и вот мне достали ватные штаны, полушубок, натянули на меня сверху «рубаху», неуклюже свалился я в катер, через полчаса вылез на большую льдину, катер ушел,

и остался я один... Одиночество захватило меня, дикие мысли пришли — вдруг катер не вернется, что-то случится со шхуной, она исчезнет... Но утки летели густо, низко, я принялся стрелять, сердце забилось, как давно уж не билось, и все я позабыл, восторг потрясал меня: я был один на всем свете и вся утка шла на меня.

Через час катер, ссадив на какой-то дальней льдине моего приятеля, привез ко мне стармеха Илью Николаевича, и что тут началось!

— Это я ее стрелил! — вопил стармех.— Ты промазал, едри ее мать, я видел... Гляди, гляди — идут... Пригнись! Не шевелись! Не бей, не бей, дай мне первому стрелить!.. Ты чего в моих-то бьешь? А? Видал, как я ее? Пригнись, опять идут!

Потом мы лениво сидели на палубе, покуривали, утки наши были уж на камбузе, оттуда тек сладкий запах и вдруг:

— Белуха идет!!! — потряс нас всех вопль матроса с мачты.

Сброшенные, сметенные этим криком с палубы, мы валимся в катера. И сколько все эти дни возились с моторами, как приникали к ним душой, как заводили, выслушивали, и, конечно же, в тот самый миг, когда началось наконец дело, ради которого сюда шли, о котором думали все зимние и весенние месяцы, когда все началось — два мотора никак не хотели заводиться, и тали заело, и еще что-то оказалось не в порядке, и какие же тогда начались шептания, заклинания, матерок, покрикивания, какая электрическая искра пробежала по всем, как замелькали руки, ноги, склоненные и задранные вверх головы!

Но вот застучали моторы, мы отпихнулись баграми от борта, отвалили, щурясь от солнечных бликов, шибко пошли в ту сторону, где молчаливо и таинственно подвигались вдоль берега белухи.

Я сначала ничего не видел, вспыхивавшее на мелкой волне солнце слепило меня. Прошло пять, десять минут и вдруг прямо перед нами показалась из воды ослепительно-белая спина с острой выгнутой хребтиной, взбулькнул могучий горизонтальный, совершенный в своей точености хвост — вот она!

— Вот она! Вот она! — закричало сразу несколько голосов.

И тут же, словно всем белухам сразу не хватило воздуха, или они захотели увидеть тех, кто их преследует,— то там, то тут стали показываться и сразу же с хлюпаньем, с прохладным плеском скрываться белые туши.

В эти короткие миги, жадно озирая их, успевая схватить какие-то подробности, в их движении, в их выражении — поразился я какой-то их нездешности, их уродливой красоте.

А были они отвратительны и прекрасны. Головы у них были — как каска немецкого солдата. Такой же крутой купол, почти отвесно падающий вниз и переходящий затем в козырек-нос. Они казались первобытно-слепыми, как какой-нибудь бледный подземный червь, потому что глаза их были смещены назад и в стороны, а спереди — только этот мертвенный, ничего не выражающий, тупой лоб.

Было в них еще что-то от тритона. Когда они по очереди и сразу выходили, выставали, как говорят поморы, из воды дохнуть воздухом и опять погружались в зеленую пучину — вот тогда в их выгнутых острых хребтах в миг погружения чудилось мне что-то от саламандры,

от тех земноводных, которые одни жили когда-то на земле, залитой водой.

Но еще были они и прекрасны! С гладкой, как атлас, упругой кожей, стремительные, словно бы даже ленивые в своей мощи и быстроте. Винты наших катеров вращались, что есть силы, тогда как белухи еле пошевеливали хвостами, еле поводили телами своими,— а шли все впереди нас, и никак не могли мы их догнать.

В ужасной страсти своей к убийству, выпросил и я у боцмана винтовку и все держал, с наслаждением ощущая ее тяжесть, забив предварительно в магазин маслянисто-желтые патроны с туповатыми черноголовыми пулями — дыру величиной с кулак в трепещущем теле делает такая пуля.

Но, разглядев белух, я вдруг остыл и положил винтовку и стал молиться. Господи, думал я, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы! И что стоит этим прекрасным существам, даже войдя в загон, перевалить через верхний ряд сетей, через поплавки, и уйти дальше, и продолжать свою непостижимую, неподвластную человеку жизнь!

А между тем после сдавленных криков: «Вот она!» — все на катерах умолкли. Стрелки, раскорячась, стояли на носах катеров, рулевые, привстав, переводили возбужденные взгляды с белух на стрелков.

Какая страсть овладела всеми, как напряжены были, вытянуты наши шеи, как открыты все рты и глаза, какие фантастические лица были у стрелков, когда они, подобно дирижерам, простирали руки к другим катерам и к своим мотористам, показывая, куда править, отстать или нагнать, как лучше обойти стадо.

Какое дело этой белухе, думал я, что тело ее пойдет на корм песцам на зверофермах, чтобы потом, откормив песцов, убить и их, какое дело белухе, что ее жир нужен кому-то для всяких технических масел — а кому нужна ее душа?

Никто не выстрелил, все утерпели, катера наши шли, как пастухи за отарой, и вот уже показался край сети с буем, с карбасом, наполненным сетью же, привязанным к бую,— и белуха зашла в загон. Теперь впереди у нее был двойной ряд сетей (какова же людская предусмотрительность!), направо — берег, налево тоже двойные сети. Один только выход оставался у нее — назад.

И вот тут-то, едва последняя белуха прошла траверс привязанного к бую карбаса, раздались первые выстрелы. Стреляли в воду, чтобы напугать белуху, чтобы кинулась она в конец загона, чтобы попыталась прорваться сквозь сети, чтобы застряла в них... И мгновенно один из катеров подвалил к карбасу с сетью, два зверобоя перескочили туда, катер взял карбас на буксир, но не за нос, а за борт, потащил к берегу, а двое в карбасе бешено выметывали сеть в воду, ставя перегородку.

А два катера на полном ходу ринулись в конец загона, куда уже пришла белуха и откуда начала поворачивать. И опять стреляли в воду, эхо гулко отдавалось от высокого берега, взрывались в загоне столбы брызг, и повисали над нами яркие радуги.

Несколько белух уже запутались в сетях, сквозь воду матово белели их огромные тела, они дергались, рвались там, в глубине, казалось бы, море должно было вспениться от их усилий, но только едва поводило поплавки наверху, едва они вздрагивали, погружались ненамного и снова всплывали.

Остальные белухи повернули назад, но все уже было кончено: поперечная сеть у входа в загон поставлена и уж оттуда спешил к нам третий катер.

Белухи на минуту ушли в глубину, и мы остановились в растерянности, во все глаза глядя кругом. Как ни прятались от нас белухи, они были теперь как в огромном садке, они были все до единой обречены — сколько лет и по каким океанам носили они свои жизни, а теперь все до единой были обречены, и тоска сжала мое сердце. А ведь могучи были они, и каждая из них одним мановением хвоста могла раскидать нас, перебить ничтожные наши кости. Но им, наверное, и мысли такой в голову не приходило, и они только таились до времени...

И вот под нами, перед носом катера, наискосок прошла огромная веретенообразная светлая тень. Стрелок наш напрягся, пригнулся, крикнул сдавленно: «Лево!» Мотор взревел, мы стали вслед за белухой поворачивать налево, а стрелок трижды, раз за разом, ударил из винтовки в воду еще левее белухи. Белуха изменила направление, и как будто неохотно, лениво, а на самом деле очень быстро, стала забирать вправо. И опять выстрелы, уже правее белухи, со звоном вылетают из-под затвора стреляные гильзы, булькают в воду.

— Обойму! Скорее! — яростно кричит стрелок.

Кто-то рабски подает ему обойму, стрелок вгоняет ее в магазин, передергивает затвор и опять стреляет, стреляет, то правее, то левее огромной белой тени впереди нас. Как длинный хорей ненца управляет упряжкой собак, так точно наш стрелок ударами разрывных пуль не дает белухе круто развернуться, поднырнуть под катер, и гонит, гонит ее перед собой, пока не кончится у нее запас воздуха.

Она больше не может, она уже изнемогает под водой и — будь что будет! — начинает подниматься. Очертания ее тела становятся отчетливее, цвет — белее, она как бы растет, с шелковым плеском расступается вода, показывается округлый, тупой купол лба с темным дыхалом, и в этот лоб, в дыхало, раз и еще раз всаживает наш стрелок свои пули.

Еще за минуту до этих последних выстрелов мне представлялась бурная агония зверя, кипящая вода, хрип, пушечные удары хвоста... Но совсем не так все кончилось. Лоб белухи после выстрелов скрылся, хвост ее остановился, тело онемело, вольно расслабилось, плавники разошлись, как будто от наслаждения, и она начала, слегка заваливаясь на бок, медленно погружаться в пучину.

Солнце пронизывало воду, нежные блики его играли на теле белухи, а она была мертва, все ушло от нее, и только сердце могуче сокращалось — клубы розовой крови толчками вырывались из бледной, опускающейся вниз головы и облаками расплывались кругом.

Но это все длилось мгновение спустя, а до этого был громовой крик стрелка:

— Задний ход! — и винт пробурлил, выпустив из-под носа катера миллиарды сверкающих пузырьков, и вслед за первым криком был второй:

— Багры! — и два или три багра уже опустились за борт, и катер наш, по-прежнему срабатывая назад, почти остановился, и все эти бесчисленные пузырьки облепили тело белухи, и багры зацепили за ее нежное, женственное тело и начали осторожно, чтобы не сорвалось, подтягивать его к носу, и тут только заметил я на носу несколько палаческих петель-удавок.

Показался над водой прекрасный голубоватый хвост, тотчас на него накинули петлю, затянули, отпустили, откинулись, вытерли лбы, оглядываясь, жадно озирая загон, восторженно вслушиваясь в трескотню выстрелов с других катеров, и Илья Николаевич счастливо крикнул мне:

— Во, Юра, стрельба, как на войне!

Через час все белухи были убиты. Подняли на поверхность и все-таки выстрелили им в головы на всякий случай, и те, кто в самом начале ринулись через сети, запутались там и задохнулись. И хвосты убитых вдеты были в петли и затянуты, носы наших катеров огрузли так, что винты жужжали над водой, и нам пришлось всем пересаживаться на корму, чтобы хоть немного погрузить в воду винты, и медленно, оставляя за собой кровавые дороги, пошли мы к шхуне.

А потом эти белухи по очереди висели над палубой, их распарывали, лилась кровь, внутренности швабрами сгоняли за борт, туча чаек и кайр вилась возле шхуны, крик и гомон стояли невообразимые, сапоги, фартуки, руки моряков, палуба, белые борта, вся вода вокруг шхуны — все было красно, ножи тупились, и их снова направляли, солнце сияло безмятежно, льдины почти незаметно для глаза проплывали мимо.

Еще позже темно-багровые обнаженные тела белух были брошены в трюм и засолены, сальные шкуры, толщиной в ладонь, нанизанные на пеньковый канат, плавали за бортом в ледяной воде, алея своей изнанкой, веерообразно расходясь, и были похожи на лепестки громадного цветка, палубу чисто умыли, вода вокруг шхуны стала опять бирюзовой, чайки улетели, матросы, умывшись, переодевшись, похлебали уже утиной

похлебки и — кто спал, кто говорил о женщинах, кто крутил в радиорубке ручки, ища подходящую станцию, кто просто покуривал на полубаке, кто чистил винтовки, а на мачте в бочке, сидел вахтенный с биноклем, всматриваясь в прибрежные воды, чтобы в какой-то миг огласить нашу дремлющую шхуну воплем:

— Белуха идет!!!

1963—1972 гг.



ДОЛГИЕ КРИКИ

Сколько раз я читал, как кого-нибудь еще в детстве или в ранней юности взяли на охоту — отец или дядя, или деревенский старик (почему-то всех этих литературных стариков звать Флегонтычами, Ферапонтычами и тому подобными дикими кличками, и все они «лукаво» усмехаются в свои бороды и усы и говорят на нестерпимом книжно-народном наречии, которого не существует в природе) — словом, каждого будущего охотника кто-то привел в лес, и была, конечно, славная охота, и потом дома юный герой любовно глядел на картинно повешенных в сенях краснобровых косачей и на толстоусых зайцев...

Моя охота началась тридцать лет назад, на Арбате, в здании нынешнего ресторана «Прага» — тогда дом

этот был набит всевозможными учреждениями, от милиции до собеса — в читальном зале библиотеки.

В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в темной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было тогда мне?

Но ежедневно, покачиваясь иногда от слабости, брел я к вечеру в читальный зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. До сих пор помню запах этих книг, шрифт, рисунки, чертежи, описания птиц и зверей. Сотни книг прочитал я, в том числе и специальных, с математическими формулами, с баллистическими кривыми, знал сравнительные достоинства чуть ли не всех ружей.

А какие ружья я изучал, господи, боже мой!

Наперечет знал я системы замков, сверловку и качество сталей у англичан Джеймса Пёрдея, Ланкастера, Голланд-Голланда, Вестлея, Скотта... За англичанами шли божественные бельгийцы Лебо, Франкотт, Пипер Байард, Лепаж, потом французы Верней, Каррон, Галан. Зауэр и Зимсон перед ними были просто деловые, рабочие ружья. За ними шли Винчестеры, Браунинги и Маузеры, с экстракторами и эжекторами, трех- и четырехзарядные...

Я узнал, как ставить капканы, как обрабатывать шкурки, как определять свежесть следа, как ставить силки, знал, когда и где залегают медведи, когда сбрасывают рога лоси. А как упивался я словами: «бюксфлинт», «выжлец», «жировка», «выскирь», «отрыщь!», «перевидеть» — как ликовал вместе со счастливыми

охотниками, перебиравшими маховые перья косачей и глухарей!

Замечу кстати, что авторы тех давних охотничьих книжек удивительно были почему-то удачливы на охоте — каждый рассказ кончался тем, что охотники что-то там заполевали и, конечно же, затрубили рога «на крови».

Теперь-то я понимаю, что описать, например, день, окончившийся совершенной неудачей, отважится только хороший писатель, потому что в рассказе ему не добыча важна, а другое — облака, люди, запах дыма, грязь, полустанки, дорожные разговоры, мало ли что... Писатель же, не слишком уверенно водящий пером, полагает, что для чего же писать, если в конце рассказа не последует великолепный выстрел и не грянется оземь русак или селезень?

Но чтение чтением, а было в Москве тогда еще одно место, место особенное, странное: охотничий магазин на Неглинной. Магазин этот существует и сейчас, но что это за магазин! Целые полки одинаковых, как новенькие гривенники, ружей, спиннингов, удочек...

А тогда! Бог ты мой, какие чудаки там собирались, какие страшные старухи, какие фантастические старики, какие нищие приползали туда из своих холодных нор, какие калеки, гугнявые, заики, помешанные на охоте! Какие сытые бандитские хари вдруг таинственно моргали тебе и, дыша водкой и салом, предлагали шепотом купить по случаю «вальтер», «парабеллум» или наш «ТТ». А какие споры бывали там,— до ненависти, до презрения! — можно ли взять утку за сто шагов? Можно ли убить медведя дробью?

В левом углу этого магазина стояли простенькие «тулки» и «ижевки», и продавец там был простой, небрежный, можно было попросить: «Покажите!» — и он

равнодушной рукой, не глядя ни на ружья, ни на покупателя, снимал с полки и давал поглядеть, пощелкать, а что там было глядеть?

Зато направо от двери был отдел особенный, и продавцы там были неприступные, глядели скучающе поверх голов. Ружей своих в руки они никому не давали, то есть не давали кому попало. Глаз у них был наметанный, и они мгновенно отличали настоящего покупателя.

А ружья там были... Те самые ружья, тех самых фирм, о которых с такой страстью читал я в библиотеке на Арбате. Попадались ружья музейной работы, ружья поистине царские. Неимоверных денег стоили они, и покупали их, как правило, мордастые подмосковные мужички из тех, что умели извлекать выгоду даже и из войны. Приезжали в магазин они вдвоем или втроем, с чемоданчиком денег и принимались разглядывать, пробовать, прикладываться, глядеть чоки и получоки, совать свои толстые грубые пальцы в стволы...

Были там ружья изумительной красоты с выложенными инкрустацией ложами, с серебряной и золотой гравировкой на замках и стволах — целые охотничьи сюжеты в духе старинных французских гобеленов были выгравированы: и охотники в шляпах с перьями, и собаки, во всю прыть несущиеся по очаровательным лужайкам, и дамы, которым охотники с поклоном подносили свою дичь, и роскошные натюрморты из оленей, кабанов, кроликов и фазанов.

Были ружья с дамасскими стволами, сплошь состоявшими из тончайших спиралевидных узоров, были ружья с лилейными шейками, столь нежными, что не верилось даже, что такая шейка выдержит отдачу и не расколется.

Попадались ружья со стволами неимоверной длины, и такие ружья ценились особенно, потому что тогда считалось, да и теперь некоторыми охотниками считается, что, чем длиннее стволы, тем дальше и резче бьет ружье.

Особым синим воронением, полным отсутствием украшений, простотой и какой-то будничной деловитостью выделялись, стоявшие особняком, браунинги и винчестеры. Стоили они сравнительно недорого, и их покупали охотники того сорта, которых сразу было видно, что покупают не для баловства и что охота для них не лесочки, рассветы и прочая поэтическая чепуха, а заработок.

Сколько часов провел я в этом магазине, да что там часов,— месяцев, если сложить все время! Торчал я и в оружейной мастерской, которая была тогда на Трубной, с упоением обоняя запахи масла и металла и глядя, как мастер ковыряется в замках...

Но пришла пора купить и мне ружье.

Я уж сейчас не помню, как и где (скорей всего, в том же магазине) познакомился я с этим человеком.

Был он немного ненормален, как я теперь думаю, со скопческой бородкой, в проволочных добролюбовских очках — грязен, неряшлив неимоверно даже и для войны.

Жил он в голой страшной комнате, которая не убиралась, наверное, лет пять. Посреди комнаты стояла железная койка с серым сальным одеялом, каждая ножка которой была поставлена в консервную банку с водой,— преграда от клопов.

— Но ты не представляешь! — таинственно шептал он, косясь по сторонам. — До чего же они гениальны!

— Кто?

— Тсс! А то услышат... Клопы! Человек — венец

природы — ничто перед ними! Ты думаешь, я избавился от них? Ничуть не бывало! Они, видишь ли, поднимаются на потолок и оттуда пикируют на меня.

— Тогда зачем же ножки в банках? — спрашивал я.

— О! Я ведь тоже гениален не менее, чем клопы! Дело в том, что, поставь я койку просто к стене, ко мне полезут все клопы, сколько их есть в Москве. А так — с потолка ко мне попадают самые умные, самые одаренные особи. А ведь когда твою кровь пьет талант — не так уж и обидно, не правда ли?

Вот у такого человека и стал я торговать ружье.

Франкотты и Голланд-Голланды стояли в магазине на Неглинной. А я покупал старую, захватанную берданку тридцать второго калибра, пересверленную из винтовки образца бог знает какого года. В придачу к берданке хозяин давал две пачки пороха, разные мелочи, десятка три гильз и мешочек дроби.

Некоторые гильзы были стреляные, темные, с прозеленью. Зато остальные — новенькие, золотистого, переходящего в оранжевость цвета. Была еще коробка красных, серебристых изнутри пистонов, просаленные пыжи, картонные восхитительные кружочки, машинка для снаряжения патронов и дробь — тусклоблистающая, тяжело и холодновато перекатывающаяся на ладони.

Порох был в красивых пачках, на одной из которых изображен был медведь, а на другой — токующий в румяном рассветном лесу глухарь. И мой странный продавец, чтобы доставить себе и мне наслаждение, брал иногда щепотку жемчужно-черных пороховых зерен, клал на лист бумаги и поджигал... Возникало мгновенное ярчайшее пламя, и по комнате долго потом тянуло прекрасным сероводородным дымком!

— Пст! — говорил владелец ружья, показывая тон-

ким грязным пальцем опаленное пятнышко на бумаге. — Бумага не загорелась? Копоти почти нет? Это не порох, это люкс, экстра, это... А ты знаешь, что это за порох? В нем только одна упаковка наша, советская... — он оглядывался и понижал голос. — Только — слово чести, — никому! Хорошо? Этот порох прислан нам из... — он замялся на миг, поводя глазами, как бы выбирая страну, — из Англии! Двести килограммов — личный подарок английского короля, знаешь кому? Тсс! Ворошилову и Буденному! Они же страстные охотники, это всему миру известно. Так вот, на королевской парусной яхте этот порох ночью доставили в Ленинград, оттуда в Кремль, а там его упаковали в нашу упаковку. Только это военная тайна, понимаешь? Моему отцу достался один килограмм — за особые заслуги, это все произошло перед самой войной. Так что три человека в мире будут стрелять этим порохом: ты, Ворошилов и английский король!

Приходил его отец и еще с порога воздевал дрожащие руки.

— А-а, наш юный друг, новый слуга богини Дианы! Здравствуйте!

Отец был такой же сумасшедший, как и сын. И так же, как и сын, был грязен, голоден, только неряшливость его усугублялась еще старостью.

— Ах, охота! Благородная страсть! — говорил он, пожимая мне руки своими дрожащими пальцами. — Вы, конечно, принесли нам очередной подарочек? (Я выкупал у них ружье за хлебные и крупяные талончики.) Торопитесь, юный друг, еще одно усилие, и ружье ваше! Было время, я мог иметь десяток превосходных английских ружей, но я... О чем я говорю? А! Да, я всегда предпочитал... Послушай, дружок,— умоляюще взглядывал он на сына,— у тебя не найдется кусочка

хлеба? Нет? Гм... Смешно! Вы знаете, о чем я сегодня вспоминал? Был у меня до революции друг, преданный мой слуга, ну потом, представьте себе, всевозможные перетрубации, и вот уже мой бывший слуга служит дворником в посольстве, отыскивает меня в бедности, сострадает, так сказать, и, представьте себе, раз в неделю приходит ко мне пьяненький, весь увешанный всевозможными пакетами, танцует и напевает: «Ай, Люлюшка, ай, Люлюшка, ай да чего я тебе принес? И колбаски, и ветчинки, и бутылочку винца!» А? Но я отвлекаюсь... Проклятые фашисты! О чем я говорил?

— Об охоте! — нетерпеливо напоминал я.

— А! Вот я и говорю: великое счастье ждет вас, мой юный друг! Я всегда любил многозарядные ружья. Бывало, охочусь в наследственных своих вотчинах, в руках у меня точно такая же винтовка. Иду я жарким полднем по мелколесью, вдруг... Прошу, пистончики, пистончики вставь скорее, я хочу продемонстрировать нашему юному другу... — просил он сына. — Собака моя прихватывает след, в высшей степени экстравагантно тянет, я весь горю, сердце мое выпрыгивает из груди... Вставил? Мерси. Вот смотрите, юноша, один патрон в ствол, так... Теперь открываем магазин и сюда еще три патрона, силенсе, но я, представьте себе, иду чудной поляной, осененной купами деревьев, ружье давно заряжено, собака экстравагантно... Н-да... Вдруг! — он вскидывал вверх растопыренные пальцы.— Фррр!.. Фррр!.. Ветер от крыльев пахнул мне в лицо... Фррр!..— вскидывал берданку, щелкал пистоном, передергивал затвор, опять щелкал, целясь уже в другой угол комнаты, золотистые гильзы с нежным звоном раскатывались по грязному полу. — И, обласкав мою верную собаку, чувствуя упоительную тяжесть тетеревов в ягдташе, я шел дальше, предварительно, представьте себе,

зарядив свою верную берданку! Торопитесь, юноша, приобщиться к этой великой страсти!

С замиравшим сердцем собирал я на полу гильзы, заглядывал в их нутро, обметанное после взрыва пистона беловатым налетом...

Чуть не всю зиму ходил я на дровяные склады, и чаще всего мне не везло, но иногда случалась и удача — дотащив какой-нибудь старухе до дому санки с дровами, я получал крупяной или хлебный талончик и нес его хозяину ружья.

Выкупив ружье весной, поехал я на охоту только в августе. Зато и попал я, как я теперь понимаю, в места благословенные. Какие дни и ночи проводил я в одиночестве, как обмирал от страха, проснувшись внезапно среди ночи под стогом оттого, что в ухо мне дышала и фыркала лошадь, какой мороз по коже продирал, когда ночью слышал я в ближайшем озере женские взвизгиванья, хихиканье и шлепки ладоней по телу!

Охотился я только на уток. Выходил к озеру, замечал где-нибудь на той стороне выводок, бежал кругом, потом крался, согнувшись в три погибели, потом вообще ложился, полз. И часто, пока я бежал и полз, утки, вовсе не подозревая о моем присутствии, спокойно переплывали на другую сторону. И все начиналось сначала: опять я мчался вокруг...

О глухарях же, тетеревах и рябчиках я только мечтал. Идешь, бывало, лесом, вдруг где-нибудь в двух шагах сбоку и обязательно в чащобе с громом поднимается глухарь! Цепенеешь сперва от испуга, потом сердце подпрыгивает, сдергиваешь с плеча ружье, трясущимися пальцами переводишь затвор с предохранителя, поворачиваешься, вскидываешь ружье... А глу-

харь лопочет уже метрах в ста от тебя, мелькая изредка между стволами сосен. Вытираешь испарину со лба, закуриваешь и с колотящимся сердцем идешь дальше.

Берданка же моя оказалась преотвратительным ружьем: дробь она разбрасывала веерообразно, и мне то и дело случалось промазывать в спокойно сидящую в пятнадцати шагах утку.

Прошло двадцать лет, а я и не охотился почти, все что-нибудь мешало, и юношеская страсть моя начала глохнуть. Много потерь в нашей жизни, приобретений мало, и все какие-то неважные, а потерь много. Уходят, уходят застенчивость, наивность, доверчивость...

Но наступила однажды и для меня весна, которая длилась, длилась, как теперь кажется, целую вечность. Солнечная это была весна, ослепительная, но и холодная, ветреная. Началась она для меня на берегу Оки бурным ледоходом, стеклом полой воды по лугам, выпуклыми, бурыми ручьями по оврагам, а кончилась — в дельте Печоры.

Встретил я ее на Оке, и проводил, и, как перелетную птицу, потянуло меня на Север, где я бывал уже много раз, летом и осенью, а весною — никогда... Но я уже не мог, как в юности, ехать один, мерзнуть по ночам у костра и воображать себя канадским траппером — мне нужны были люди, виделись мне какие-то лесные кордоны, слышались задушевные разговоры до рассвета, и еще нужно мне было, чтобы кто-нибудь ехал со мной все дальше, дальше, чтобы я мог показать ему все, от чего у меня ныло сердце когда-то.

И тронулись в путь мы втроем.

Есть в прощании, в предотъездном волнении, в сча-

стье перед дальней дорогой один миг, когда тебя, будто ножом, полоснет мысль...

И мы все смотрели назад, стояли на вагонной площадке, плечом к плечу, напирая на проводницу, тянулись — глядели, как все прощальней и слабее машут нам с перрона, как уходят они от нас на какой-то срок нашей ничтожно короткой жизни. Потом вокзал скрылся, мимо пошли пакгаузы, пустые составы на запасных путях, будки, водокачки— и мы вернулись в купе. Удивительный, сложный и приятный запах встретил нас — все пахло, все заявляло о себе: и маслянистые стволы наших ружей в кожаных футлярах, завернутые еще в пятнистую от масла фланель, и новая кожа скрипучих патронташей, и пачки патронов, и сапоги, и егерское шерстяное белье в рюкзаках, и самые рюкзаки, пахнущие еще прошлыми дорогами, и дорогобужский сыр...

Пока мы сидели первые минуты друг против друга, расстегнув рубашки, вытянув ноги, и глядели в окно, — а еще светло было, наступал май тогда, самое начало мая, — души наши успели слетать на Север, вернулись на далекий уже перрон, покружили по Москве и опять вернулись к нам. Промелькнули за окном Загорск, Ростов, в купе все темнело, но ночь не наступала, и лица наши бледно светились, и сигареты возносились огоньками к нашим губам.

Наконец мы очнулись, зажгли настольную лампу, поглядели на свои рюкзаки и ружья и опять подумали об охоте, о Севере, но теперь уже с горячей тоской, и заговорили, и начались стихи, стихи обо всем, о том, что смеялись люди за стеной, а я глядел на эту стену с душой, как с девочкой больной в руках, пустевших постепенно... Я не знал тогда еще, что начинается побег от чего-то, от кого-то, начинается сумасшествие, не знал, что целый месяц не придется мне спать по ночам.

Поезд покачивался, под полом мягко постукивало, проводники давно разнесли чай, а потом и стаканы собрали, по коридору сначала ходили, затем перестали, и радио замолчало, а тьма за окном была неполной какой-то, и когда я прислонялся к стеклу, заглядывая вперед, в ту сторону, куда мы ехали — по далекому горизонту расплывалась глухая зеленоватость, и огни на станциях горели бледно.

Наговорившись, начитавшись, наслушавшись стихов, легли мы спать часа в три ночи, а в Вологду поезд пришел в шесть утра, и вот тогда-то я и понял, что началось для нас смещение дней и ночей.

Спотыкаясь, покачиваясь со сна под тяжестью рюкзаков и ружей, вышли мы один за другим из вагона — нас встречал вологодский писатель Иван П. Он показался мне почему-то испуганным. Наверное, потому, что ждал он меня одного, а приехали трое. Вокзал был бледен на рассвете, встречающих немного, утренний холодный ветерок катил бумажки по перрону, невыспавшиеся носильщики сипло переговаривались с проводниками. Мы вышли на пустую площадь перед вокзалом, такси не было, нас начало познабливать, дома вокруг площади выглядели спящими, и от их безмолвного вида еще сильнее захотелось спать.

Перебив сон крепким чаем, пошли мы бродить по Вологде, хотя зачем нам была Вологда? Зачем нам эти чужие площади, чужие улицы, чужие дворы? Нет, чувствовал я, что-то мы не так делаем, надо ехать куда-то дальше, но — куда ехать? Судьба...

Между тем весенняя интерлюдия разыгрывалась без нашего участия, высшие силы пришли в движение, приуготовляя нам награду впереди, а пока мы должны были пройти как бы некий искус, довольствуясь на первых порах малым.

И вот мы уже мчимся на такси по пригородному шоссе, вылезаем, идем в сторону от шоссе, к недалекой деревеньке, идем мокрыми лугами, вот уж и чибисы пронзительно кричат над нами, и меня уже волнует их прерывистый, извилистый полет.

Наскоро устроились мы в какой-то избушке, и хоть было далеко еще до тяги,— распаковали свои ружья, набили пантронташи, вышли из деревни и пошли опушками мимо крохотных озер, мимо болот, мимо наполовину съеденных прошлогодних стогов, и лес, налитой предвечерним светом, расступался, открывал нам все новые поляны, и сквозь его голые ветви, сквозь напряженные, тугие лозины кустов далеко было видно кругом, далеко во все стороны открывалась нам гулкая мокрая земля с рыжими клоками прошлогодней травы.

Трепетным звуком рассыпались со всех сторон камнем падающие с высоты бекасы, парами летали над лесом утки и опускались куда-то на невидимые озерца — будто проваливались.

Один из моих товарищей в первый раз был на охоте и учился стрелять. Он останавливался и начинал водить ружьем, отыскивая себе цель. Мы на всякий случай старались держаться подальше и несколько позади. Выбрав цель, он долго целился, зажмуривался, вздрагивал заранее, стрелял — ломкое эхо сыпалось по ближайшим опушкам. Потом, вихляясь в своих высоких сапогах, он бежал глядеть, куда попали дробины, и говорил страдальчески:

— Ребята, но это же ужасно, ужасно... Как вы можете убивать живое существо? Вы такие добрые — никогда не поверю! Нет, это ужасно, ужасно...

И дико схватывался за ружье, когда из-под ног его выпархивал жаворонок.

— Стой! Не стреляй! — вопили мы, разбегаясь в стороны.

Так, разговаривая о смысле охоты и останавливаясь в ожидании, когда товарищ наш стрельнет еще в один пень, мы шли, шли дальше и дальше, уже с замиранием сердца оглядывая полянки и прикидывая, удобно ли будет стоять на тяге и как видно во все стороны.

Но вот пробил некий таинственный час, и мы поняли, что пора становиться по местам. Я облюбовал себе большую поляну, походил по ней, выбирая самое удобное место, взглянул на небо, и мне показалось, что поляна хороша, хоть была она не лучше и не хуже других полян. Закурив, я поглядел сквозь лес, стараясь угадать, где станут мои товарищи. Ничего мне не было видно, хоть лес и был прозрачен, но я чувствовал по тишине, что оба стоят уже, задрав головы, разглядывая высочайшие облачка в небе и напряженно вслушиваясь.

Перелетали с дерева на дерево угольно-черные дрозды, высоко тянула в соловеющем небе сойка, вздымаясь и проваливаясь, как бы купаясь в холодном вечереющем воздухе, а снизу резко ударил выстрел. Тотчас подумал я на моего начинающего охотника. Сойка сбилась с ритма, потом спохватилась и стала забирать еще выше. И опять стало тихо.

Вдруг прокатился еще выстрел, но уже далекий, не наш. В другой стороне ему отозвался кто-то, будто бы еще дальше, и пошло, пошло — то там, то здесь ахало, а мы все молчали... Но вот ударил кто-то из наших, и я посмотрел туда в слабой надежде, что, может быть, от него вальдшнеп натянет на меня, но ни единой тени не мелькнуло на небе.

Все, все было у меня: и Венера, как всегда, незамет-

но и будто внезапно объявилась, и дрозды посвистывали и дудели в стеклянные свои дудочки и резко замолкали, заснув на полупесне, лес коричневел и холодом тянуло от земли, небо как будто поднялось и отдалилось, далекие выстрелы раскатывались по голым далям, по голым лесам, меня знобило от волнения, от нетерпения — мои вальдшнепы не летели...

Опять близко ударил мой начинающий охотник, мгновенно обшарил взглядом я небо над его поляной и никого не увидал. «В кого же это он?» — подумал я, потому, что тот стоял близко, я бы видел вальдшнепа, если бы летел. Но тут меня опять отвлек второй мой товарищ, сдуплетил, а когда стихло эхо, мне послышалось, вернее, показалось, что послышалось, как он побежал куда-то, треща прошлогодним валежником.

Наконец один за другим протянули и у меня вальдшнепы, явно далеко они летели, но я так истомился, что не стерпел, выстрелил и раз и другой, мимо, конечно, не достал...

Мы сошлись, когда совсем стемнело. У одного ничего не было, он только шумно дышал от волнения и, забыв, что убивать ужасно, рассказывал, как у него что-то пролетело, но он забыл передвинуть предохранитель, потом выстрелил, но уже поздно было, а что пролетело, он не знал. Другой держал пепельно-рыжего вальдшнепа и скромно улыбался своим круглым, тугим лицом, и тут, рассказав друг другу, как всегда это бывает, кто где стоял и как стрелял, покурив и успокоившись, мы пошли домой.

Опять мы шли опушками, слабая буроватая заря светилась у нас за спиной, а впереди ничего не было видно, только синевато-темная мгла над лесом, и лес был темен, и не понять даже было, близко ли, далеко

ли стоят деревья. Мы шли, а тяга не прекращалась, в отдалении, то тут, то там хоркали и чиркали вальдшнепы, и мы нервно оглядывались. Вдруг очередной хоркающий звук стал приближаться, мы остановились, лицом к закату, и через секунду увидели, как, мелко подрагивая крыльями, вдоль опушки, совсем низко, вполдерева, летел на нас вальдшнеп. Шесть выстрелов дали мы, торопясь, по нему, шесть фиолетово-красных снопов огня полоснули во тьме, а вальдшнеп будто и не слыхал даже и, так же хоркая, трепеща крыльями, прошел мимо нас и, завернув вправо, скрылся в лесу.

Не успели мы пройти десяти шагов, как нас стал нагонять еще один, и мы опять повернулись, все сразу его увидели, и опять каждый поспешил свалить его первым, опять пошло стукаться, перекатываться, схлестываться по опушкам: «Трах-тах-тах-тах!..»

Через пять дней уже вдвоем ехали мы дальше на север. Круглолицый товарищ мой, не выдержав бессонных ночей, холодов и стихов, собрался домой.

— Вооще-то... собака... натаскивать... Лялька там... дачу снимать...— бормотал он, нашпиговывая своих уток солью, и уж лицо у него размякло, думал небось, как домой приедет, как выложит своих уток.

Еще в Вологде сидел писатель П. среди своих охотничьих книг, под медвежьей шкурой, жаловался на сердце и говорил о глухарях, о шелковом треске их хвостовых перьев, о немногих теперь глухариных токах, которые, как он хорошо выразился, засекречены сейчас лучше военных аэродромов.

Рассказывал он нам об одном озере, как он там жил и охотился, и какая была там тишина, какой покой. О деревянной тропе рассказывал, которая ведет через

гиблые болота и что идти по ней нужно двадцать километров, а потом уже и озеро выглянет, на другой стороне которого стояла когда-то обитель, а теперь ничего нет, а только один дом, в котором живет старик со старухой. Деревянная тропа приводит к берегу и обрывается, а на берегу стол и лавки в землю врыты и висит на елке обрезок железной трубы. В эту трубу и нужно колотить и кричать, чтобы старик приехал и забрал к себе. Это и будет пристань, конец всего сущего, начало иного мира, а называется пристань — «Долгие крики». Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьем, висящим на стене, сказал тихо и нежно:

— Долгие крики...

Все-таки П. решил удружить нам, позвонил в Архангельск кому-то, тот еще кому-то позвонил, и нас уже ждали, чтобы отвезти на это озеро, на глухариный ток.

На другой день поезд наш подошел к деревянному архангельскому вокзалу, вместе со всеми пошли мы на пристань, и ударила в глаза нам ширина Северной Двины — пароходы, танкеры, лихтеры, шхуны с паутинкой такелажа, буксиры, лесовозы, катера — все было в движении, и с севера, как всегда, дышало морем, свежими досками, а кругом уж слышался северный торопливый говор.

А проведя две или три совершенно немыслимых бессонных ночи в Архангельске, однажды под вечер взвалили мы свои рюкзаки и ружья, вышли на Поморскую, встретились с нашим проводником и поехали опять через Двину на поезд.

В поезде ехали мы долго ли, коротко ли, а приехали, вышли на глухой станции, пошли за проводником какими-то проулками, по опилкам, по влажному мху,

в прохладе, в свете долгого заката, зашли, наконец, в какой-то дом, и встретил всех нас милый хозяин. Вышел из горницы, мягко ступая своими бroднями, улыбнулся, тихо поздоровался... Какое-то отношение имел он к нашей предстоящей охоте, то ли объездчиком был или егерем, потому что проводник наш разговорился с ним о разных лесных делах, а хозяин между тем маленький самоварчик поставил, белого хлеба нарезал и стал потчевать нас.

— Это хорошо вам будет,— приговаривал он.— На дорожку-то. В животе хорошо будет, горячо эдак-то, пейте, пейте, дорожка-то у нас тяжелая, с палками пойдете дак, подпираться придется, чтобы не упасть. Не ходили эдак-то? А вот и пойдете, вот и узнаете...

И тут же стал жаловаться нашему проводнику, что плоха стала тропа, на стыках погнила, то и дело приходится прыгать или перебредать болотом.

— А давно ли тропа сделана? — поинтересовались мы.

— Да уж давненько, лет сорок будет. Будет? — обратился хозяин к нашему проводнику.

Тот сдвинул густые свои звероватые брови, подумал секунду и кивнул утвердительно, хоть и не мог он этого знать, молод был. А мы с наслаждением подумали об этом тихом крае, о том, что мы и не родились еще, а тут вот тропу по болотам гатили и ходили, и ходят, а теперь наконец и мы пойдем.

И как всегда, перед трудной дорогой не хотелось нам сразу вставать, не хотелось спешить, сидели мы возле окна, поглядывали на улицу, на гусей, на кур, на то, как девушка за водой шла, как, напрягаясь, крутила она колодезный ворот, на ноги ее глядели, потом на дома, которые еще поблескивали последними вспыш-

ками окон, пили чай, слушали, как проводник наш с хозяином говорит.

А говорил он о том, что три дня назад уже был на озере, двух глухарей убил. Мясо там же съел, на озере, у костра, а желудки в Архангельск увез на исследование.

— А чего в них исследуют?

— А исследуют, чего они едят.

— Ну и что нашли?

— А нашли разное. Камушки едят, песочек. Клюкву едят, хвою, потом еще листья прошлогодние...

— А-а!

И так нам радостно стало, что где-то есть глухари, что не выдумка все это про глухарей, что в самом деле живут они где-то за озером, токуют на одном месте вот уже сотни лет и хвою с камушками едят, что приходят туда каждую весну всего три-четыре человека, что тихо, пустынно там все остальное время. И еще нам весело, гордо было: сколько охотников в Архангельске, а никто этого места не знает, а мы вот сейчас чайку напьемся и пойдем себе помаленьку.

Впрочем, чай пили только мы с проводником, а товарищ мой нацедил себе кипяточку, достал бутылку клюквенного экстракта, разбавил, прихлебывал и фукал от удовольствия.

Потом вынули мы свои ружья из футляров, распечатали пачки с патронами, набили патронташи, выложили из рюкзаков лишнее, чтобы легче было идти, простились с милым хозяином и пошли.

Опять шли мы проулками мимо редких домов, закат все не гас, но вечер уже настал, женщины скликали коров, а коровы появлялись из низенького соснового леска, мелькали там своими светлыми боками, выходили к деревне, к околице, останавливались на минуту

в задумчивости, взмыкивали и брели каждая на голос своей хозяйки.

Вот и последний дом мы миновали, вышли за околицу, и теперь уж нам надо было бы пройти, быть может, сотни километров, чтобы дойти до какого-нибудь поселения. Впереди были леса, болота, озера, глухие реки и еще небо, и еще нечто, что манило нас, уводило все дальше, дальше...

Удивительно шел наш проводник! Ступал он своими кривоватыми ногами будто бы неторопясь, как бы задумчиво, в фигуре его не было видно напряженности, а, наоборот, лень, но подвигался он так быстро, что через полчаса стали мы выдыхаться, начали приставать.

Шагали мы и шагали, мох пружинил под ногами, по сторонам был чахлый соснячок, всюду вышла на свет божий первая яркая зелень, нигде никаких следов, попадались разве иногда то тряпочка брошенная, то кусок бересты, но я заметил, что идем мы ровно, не петляя, значит, точно идем. И комаров не было, рано еще было для комаров.

И вот пришли к началу тропы. Проводник остановился, обернулся, поджидая нас, а когда мы подоспели, запыхавшись,— сказал веселой скороговоркой:

— Ну вот она, тропа, ребята, бери по палке, а то и по две! Сейчас вам достанется! Покурим или сразу пойдем? Только осторожно, а то тут места есть — ухнешь, сразу по пупок, ясно? А так повезло вам, ребята, честно говорю, повезло, в самый раз приехали, как знали все равно, дай-ка американской сигаретки попробовать...

Взял сигарету, закурил, затянулся глубоко раза три, сказал только:

— Слабоваты, а так ничего, запашок приятный...

От места, где мы стояли и курили, уходила в болота тропа из брошенных прямо в топь толстых досок и стесанных бревен, узкая, как раз только чтобы пройти одному, а уж если встретится кто-нибудь... Хотя кто тут мог встретиться? Возле начала тропы было воткнуто и просто брошено несколько палок, и еще отдыхая, покуривая, мы уже выбирали себе палки по росту и по весу.

— Ну, пошли! — сказал проводник, бросил сигарету, длинно сплюнул и зашагал первый, опять как бы неторопливо, а на самом деле быстро.

Сначала идти нам показалось легко по гладким доскам, и палки вроде были не нужны, но это обманчивое впечатление длилось недолго. Человек не замечает, когда идет, как его слегка поводит по сторонам — полшага вправо, полшага влево,— а тут идти нужно было ровно, как по струне, и скоро поняли мы предназначение палок, скоро заболели у нас сперва шеи, потом спина и плечи, потом уж и все тело, а присесть было некуда и остановиться нельзя — проводник наш все удалялся, сумеречно маяча на серо-коричневом фоне бесконечных болот.

В десять часов стало темнеть, короткая наша цепочка растянулась, проводник, шедший впереди, исчез, товарищ мой, который шел за мной, тоже исчез. Каждый оказался одинок в этих сумерках, в мертвой тишине, доски колыхались под ногами, медленные вязкие волны расходились в стороны, и все чаще среди красноватой торфяной жижи попадались окна мертвой воды. Они казались черными на фоне восточной сумрачной стороны и свинцово поблескивали, когда я оглядывался, отражая бледнеющий закат.

Мне стало нехорошо одному, и я остановился, поджидая приятеля. Я ждал долго. По горизонту темнела

полоска лесов, а вблизи видны были только изуродованные елки и сосенки, заморенные березки и осинки, бог знает как державшиеся за кочки. Вечерний жидкий туман поднимался над красновато-маслянистыми болотами. Хотелось выйти на твердую землю на холм, присесть, оглядеться...

Показалась в тумане длинная фигура моего товарища. Тонкая шея его свернута была набок. Потеряв надежду догнать нас, брел он медленно, с усилием подпираясь палками. Когда он подошел совсем близко, я вгляделся в его испепеленное лицо и опять подумал, что мы бежим от чего-то, и, как сказал Поэт, на половине странствия нашей жизни оказались мы в некоем темном лесу, ибо сбились с праведного пути. Но в сон ли погружены мы были, когда покидали истинный путь?

Внезапно донесся до нас громоподобный рык сверху и, оторвав взгляд свой от болот, мы сразу увидели прекрасный самолет, идущий на снижение в сторону Архангельска. Он летел уже невысоко, и хорошо было видно, как сиренево поблескивают стекла в длинном его носу, а рубиновые вспышки под его округлым брюхом и в хвосте казались ослепительными.

— Вот так и жизнь,— вдруг сказал мой приятель.— То летишь, то ползешь в болоте, а?

Самолет скрылся, гром его двигателей постепенно растаял, мы поправили свои рюкзаки и побрели дальше. Все темнело и темнело, туман находил волнами, справа тускло сияла молодая луна, резко, грубо пахло болотной утробой, все вокруг приняло неопределенный темно-серый цвет, и даже окна черной мертвой воды стали неразличимыми, и только деревянная тропа путеводно белела... Но во втором часу ночи на северо-востоке

стало светать, потом и робкий румянец заиграл там, туман стал расходиться, полоска леса, которая с вечера виднелась на горизонте, чудесно приблизилась, уже различимы стали большие деревья, и мы поняли, что конец пути близок.

— Эге-геeee...— еле слышно долетел к нам голос проводника.

— Ого-го! Иде-ем! — дружно отозвались мы и радостно прибавили шагу.

— Эге-геeee...— опять заунывно завел проводник.

— Иде-е-ем! — еще громче крикнули мы в ответ.

— Эге-геeeee...— еще тоньше заголосил проводник, и тут же вслед за криком услышали мы какое-то бляканье по железу, будто лошадь с боталом бродила по лесу.

— Слушай! — остановился я.— Так ведь это же Долгие крики! Это он не нам, это он мужика зовет с той стороны...

С удовольствием вслушиваясь в дребезжащие и в то же время чистые металлические звуки, мы закурили и из последних сил зашагали к невидимому озеру.

— Сейчас самоварчик, Юра, а? — счастливо бормотал мой приятель сзади.— Горячего чайку, а?

Деревянная тропа вошла в лес и внезапно оборвалась. Так же как и у начала, у конца ее воткнуто в мокрую землю было несколько палок. Воткнули и мы свои палки и пошли уже свободнее, рядом, по веселой робкой тропинке. Редко тут ходили, но все же ходили, и дорожка во мху обозначалась явственно.

По мере того как мы шли лесом, впереди все светлело, светлело, потом деревья разбежались по сторонам, и нам открылось большое, неправдоподобно гладкое, розовое под зарею озеро.

На берегу был вкопан стол и по бокам его — две лавки. Проводник наш сидел, вольно облокотившись, спиной к нам, глядел на озеро и курил. Услыхав наши шаги, он обернулся.

— Дошли? Я уж думал, не потопли в болоте-то? А хозяин-то наш, видно, хозяюшку долго ласкал, уморился — не слышит ничего...

— Что же делать? — растерянно спросили мы. Мысль о горячем чае, о постели так радовала нас...

— А вы покричите! — посоветовал проводник и хохотнул почему-то.— А я уж голос сорвал.

Долго мы кричали вместе и по отдельности, а избушка на том берегу спала, никто не показывался.

— Да где у него собака-то? — изумился вдруг проводник.— Собака услыхала—разбудила бы их... В лес убегла, что ли?

— Может быть, выстрелить? — спросил я.

— Во-во, давайте, дуйте! — обрадовался проводник, косясь на наши ружья.— Московскими-то патронами оно громчей будет!

Мы выстрелили по два раза. Какое чистое, утреннее эхо пошло раскатываться по озеру, возвращаясь к нам, отдаваясь от нашего берега и снова возвращаясь!

— А, ёшь твою корень!— плюнул проводник.— Давайте, ребята, костер жечь, ночевать будем. У вас как с харчами? Консервы есть какие?

— Есть,— сказали мы.

— Ну, вот, сейчас откроем, на огне разогреем... А насчет этого самого как?

— И это есть.

— А что! Заслужили!

Минут через десять ярко пылал небольшой костерчик на берегу, грелась в открытых банках свиная ту-

шенка, утки проснулись и летали парами над самой водой, далеко где-то заиграли тетерева, будто бы накручивал кто-то ручку детской балалаечки, взошло солнце, крупная рыба всплескивала вовсю, птицы заливались в лесу, но и ноги наши гудели, и сон нас обрывал...

Так мы и задремали, рухнув головами на стол, а когда очнулись, солнце сияло и пекло, и освещенный солнцем, стоя в корме большого черного карбаса, огребаясь кормовым веслом то с одной, то с другой стороны, подплывал к нам хозяин.

— Ах, я старый пень! — смущенно ругал он себя, помогая нам забраться в карбас.— Заснул-то как! Утром встал, вышел, глядь — дымок на той стороне, что такое? Вроде никто не обещал... В бинокль поглядел: трое на столу спят, ну, надо же! Ах, ты, думаю, такой-сякой, людей всю ночь проморил, я скорей тогда старуху будить, она там сейчас самовар наставила, завтрак кой-какой, рыбки там, рябчиков я вчера троих принес, я ведь вчера сорок километров отшагал, обход совершал...

Хозяин говорил, говорил, проводник сильно греб, журчала под носом вода, иногда всплескивали весла, а нам дремалось, а нам казалось, приехали мы к родному человеку, и так много нужно ему сказать, и так много накопилось у него сказать нам, но это потом, а теперь спать...

И уже в доме, раздевшись, стащив нога об ногу сапоги, кое-как позавтракав и напившись чаю, жадно смотрели мы, как хозяйка стелит нам на полу матрацы и уже почти бессознательно накуривались перед сном.

Хозяйка ушла зачем-то в другую комнату, а мы, не сговариваясь, бросили в головы свои рюкзаки и пова-

лились... Кто-то стащил с нас, сонных, брюки и носки, кто-то вытащил из-под наших голов рюкзаки, подложил подушки, кто-то укрыл нас одеялами — мы ничего не слыхали...

Приятель мой и проводник еще спали, когда я проснулся и потихоньку вышел из дому.

Все-таки прекрасно стоял наш дом — на песчаном мыске, с трех сторон окруженном водой. Невдалеке от дома, поближе к лесу, виднелись какие-то темные кучи, заросшие мхом. Я пошел туда, еще на ходу догадываясь, что это и есть, должно быть, остатки старой обители. Я стал искать взглядом бревно или сваю поцелее, чтобы присесть, покурить, посмотреть в одиночестве на озеро, как вдруг внимание мое отвлекли несколько бугорков, еле заметно возвышавшихся между обителью и озером. И я сразу свернул к ним, будто кто-то отдаленно позвал меня.

Это было кладбище. Многие могилы почти сравнялись с землей. Другие, из-за каменных плит, покрывавших их, были повыше, хотя и плиты уже опустились глубоко и заросли мхом. Я присел на одну из плит лицом к озеру. Дом теперь оказался у меня по правую руку. С моей стороны на мысок вытащены были два черных карбаса, и сушилась на кольях сеть. Не было ни дуновения, и вода в озере была такого же сиреневоголубоватого цвета, как и небо, и как и в небе, неподвижно стояли в ней розовые тугие облачка. Лес невысокой чертой виднелся на той стороне, откуда мы пришли вчера.

Да вчера ли? А не много ли лет назад?

Поворотясь, я некоторое время глядел на место, где некогда стояла обитель, на темные четырехугольники

во мху, какие-то трухлявые кучи, на ровные рядки розовых валунов. Какая стена кипрея заглушает, наверное, все это летом!

Потом опять стал я бродить глазами по озеру, воображая пустынность, нетронутые безлюдные леса и «топи блат» на — сколько? — может быть, даже на сотни километров вокруг. Как, должно быть, прекрасно, возвышенно становилось на сердце богомольца, когда после утомительного пути тропа выводила его к Долгим крикам и он видел опрокинутые в озеро кельи обители, колоколенку, слышал ее звон, крестился и думал: «Привел бог!» Святыня...

Хотя какая же святыня? Пятнадцать-двадцать мужиков в черных скуфьях, деревянная церковка, колокол, спасенный, может быть, еще от Петра, тайно привезенный зимой на санях. Кельи, амбары, пекарня, трапезная. Карбасы на берегу, ловят рыбу. Пилят дрова, топят зимой печи... Равенство? Нет, кончено,— есть брат-пекарь, брат-пильщик, брат-рыбак, брат-истопник, но есть и настоятель, и казначей — эти уже отцы. Но тогда, может быть, святая жизнь?

Вспомнился мне Пришвин, который за пятьдесят лет до меня побывал на Соловках и поэтически описал их. Потрапезав с монахами «щти-рыбой и щти-лапшой», пошел он ночевать в келью к монаху, и как только они пришли и закрылись, монах сел к окошку, отворил, поглядел с удовольствием на море и спросил:

— А покурить у тебя есть?

— А можно? — удивился Пришвин.

— Можно.

Закурили у окна. Замечательно!

— А может, и выпить есть? — спросил монах.

— А можно?

— Можно.

И выпить нашлось. Славно выпить белой ночью у келейного окошка, растворенного на море!

Но ведь были, были же и настоящие пустынники! Истязали плоть свою. Молчали десятилетиями. Лежали в гробах повапленных. В смрадных пещерах жили, приковавшись к самому темному углу, боролись с искушениями, являя мирянам образец безгреховной жизни.

Но нужно ли это? Даже если думать о боге, то для бога — нужно ли?

Я встал, поискал щепку какую-нибудь, палку, чтобы содрать с плиты мох. Ничего не найдя поблизости, стал я расчищать небольшое место на плите каблуком. На камне проступали следы надписи, но были эти следы столь невнятны, что ничего нельзя было разобрать, ни единого слова, и только цифра виднелась поотчетливее, и после долгих усилий, водя даже пальцами по вмятинкам, подобно слепому, я угадал цифру «1792».

Год рождения ли был это или год смерти, так я и не узнал... Но все равно! — сорок лет назад тропа строена, сказали нам возле станции, и еще проводник подтвердил, хоть и не мог этого знать,— нет, не сорок, а двести лет назад проложена была в этих болотах тропа, и богомольцы шли, выходили к озеру, кричали, и спускался к берегу монах в черной своей скуфейке, садился в карбас, греб, откидывался при каждом гребке, поднимая кверху худое, заросшее лицо, взглядывал в северные небеса...

Негромко хлопнула дверь в доме, вышел на крыльцо мой товарищ, увидел меня, подошел, сел рядом и оглядел озеро. Потом обнял меня и забормотал:

— Ну как, Юра, хорошо тебе, а?

И заулыбался ослепительно, будто не я его, а он меня позвал на север.

— Пойдем чай пить, Юра, посидим и пойдем. Скоро ехать, скоро, скоро, скоро ехать...

Мы посидели еще и пошли в дом, но я все оглядывался на место, где так долго стояла обитель, все не оставляло меня видение сизых рубленых ее келий с окошечками, чудесной ее церковкой, все слышался мне такой живой в этой пустыне колокольный звон, и вспоминалось, как плыл я однажды по Волге, и сколько ни плыл,— все показывались на горизонте, проходили мимо и скрывались за другим горизонтом колокольни церквей по высоким берегам, и как вообразилась мне тогда минута, когда все церкви, сколько их было на всей реке от истока до устья, начинают звонить одновременно в какой-нибудь праздник, как звук колоколов летит по воде от одной церкви до другой, и вся великая река из конца в конец звучит, как огромная дивная струна, протянутая через всю Россию!

Не было еще и восьми часов вечера, когда мы все собрались. Взяли котомку, закопченный жестяной чайник, хлеба, сахара и вышли к озеру. Умостившись в карбасе, проверив еще раз патроны, зарядив ружья и уложив их осторожно стволами в стороны, поплыли мы вдоль берега. Мимо нас медленно проходили склоненные над водой сосны и ели, картина все время менялась, берега разворачивались, озеро открывалось нам в длину. Мы постоянно озирались, ожидая, что вот-вот пролетят мимо утки и можно будет стрелять. Но озеро было величаво, зеркально и пустынно.

Через час слева показались полузатопленные водой кусты и редкие прошлогодние камыши. Гладкая вода озера здесь как-будто проседала, завивалась в воронки, шла вся шелковыми складками. Это вытекала из озера

река, это был ее исток, а дальше она шла в глушь, в таинственность, в распадок между высокими лесистыми берегами.

Мы свернули туда и почти не гребли — так сильно было течение, так завихривались вокруг нас бесшумные воронки. Зато далеко впереди, там, где река заворачивала, где виднелись по берегам хрящеватые выступы, похожие на остатки бывшего когда-то здесь моста,— там клокотало и шумело, и пенилось, и потом по уже медленному течению, ниже, по темной воде плыли крупные смугло-белые шапки пены.

Тут мы и вылезли, вытянули насколько было возможно карбас, покурили, созерцая предвечерний покой реки, и пошли. Солнце стояло высоко, и было светло и жарко, как днем. Между ярко-зелеными кочками молодого мха едва заметно петляла желтоватая тропинка. Хозяин говорил вполголоса, что в прошлом году над лесом прошел сильный шторм, и много сосен посваляло, особенно много упало самых старых, крупных сосен и что теперь трудно ходить по лесу. Говоря это, он попыхивал махоркой, ступал свободно, и было видно, что ему совсем не трудно.

Чем глубже входили мы в лес, тем выше становились сосны и больше было бурелому. Иногда мы обходили завалы, иногда перелезали, опять обходили и перелезали, и этому не было конца, все становилось монотонным, раздражающе-утомительным, и не хотелось уж смотреть вокруг, не хотелось думать об охоте. Но проводник шибко бежал впереди, за ним наш хозяин, а за хозяином уж и мы...

Солнце еще согревало верхушки сосен, когда мы дошли до места. Мы очутились в переплетении всех этих поваленных и наклоненных стволов. Вода поблескивала в ямах под вывороченными стенами корней. Громко,

отчетливо, совсем рядом и подальше посвистывали птицы, и где-то уже совсем далеко, на берегу озера — будто вода играла, будто несколько ручьев перебивали друг друга глуше и звонче: токовали на болотах тетерева.

— Ну что ж,— сказал наш хозяин, когда мы сложили в кучку под поваленным стволом сосны наши припасы.— Пошли, послухаем!

И мы пошли на подслух. От того места, где мы остановились на ночевку, надо нам было пройти метров двести-триста к северу. Мы шли осторожно, вразброд, чтобы стать подальше друг от друга. А потом остановились, прижались к стволам сосен, стали неслышны и неразличимы, стали смотреть вверх и по сторонам и слушать.

Сильно стучало сердце, шуршала одежда по коре... Так мы стояли долго, солнце зашло, стемнело, и птицы смолкли, только вдали еще яростнее бормотали тетерева.

Вдруг я увидел метрах в ста, за частоколом леса, тень, которая мне в первое мгновение показалась длинной, как веретено, от быстрого полета. Тень пропадала и появлялась, описывала гигантскую кривую и, переместившись с востока на север, туда, где небо было еще цвета шафрана, села, успокоилась, замерзла на одной из сосен. А через секунду к нам донеслось мощное тугое лопотанье крыльев при посадке.

Так появился первый глухарь. Потом я услышал такое же лопотанье и значительно ближе с другой стороны, но тени на этот раз не видел. И потом еще в течение получаса то там, то здесь шумели крылья садящихся птиц. Мне вдруг стало холодно, озноб волнами пошел по телу. Я не знал, слетаются ли каждый раз все новые глухари или уже севшие снова перелетают.

Уже в совсем смутном свете ночи я заметил краем глаза какое-то движение над землей, низко, повернулся и увидел, как хозяин молча махал мне рукой, что надо идти назад. Тогда я отделился от дерева и осторожно пошел, уже ничего не слыша, а видя только смутные фигуры сходившихся людей.

Метров через двести мы пошли смелее, стали переговариваться вполголоса, а когда пришли опять в буреломное место, обходя поваленные деревья, и нашли свой чайник, хлеб и сахар — стали совсем уже смело ломать сучья для костра.

Тогда, в начале мая, еще не было белых ночей. А был жидкий сумрак, рассеянный в лесу, и все коряги, стволы, сучья стали похожи на притаившиеся живые существа. Костерчик наш весело трещал, ярко полыхал, дымил, когда мы совали в него обомшелую сухую кору. Дым синим столбом поднимался вверх, потом растекался по лесу, и я подумал, что дым этот далеко можно учуять.

— А как глухари? Не спугнет их дым? — спросил я.

— Что ты! — сказали мне.— Ни одна птица дыму не боится.

Было часов одиннадцать, глухари начинали токовать в час ночи — два часа надо было просидеть нам у костра. И мы устроились кто как хотел. Один сел на ствол, другой — на кочку, третий — на корточках, палкой в костре ворошил, и искры взлетали вверх. Хозяин наш покашливал, сильно дул в кружку с чаем, громко прихлебывал. А проводник все похохатывал, весело ему было жить, сидеть у костра в предвкушении охоты, и вообще был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый, молодой еще, с раскрытой грудью...

— Это вам повезло, повезло вам, ребята,— говорил

он,— глухарь тут есть, есть, это я вам точно говорю! Точно! Много ли, мало — а штук тридцать на току имеется, правда я говорю?— обращался он к хозяину.

— Тут у нас и бобры есть,— рассеянно сказал хозяин.— Пониже по реке хатки у них... Река тут глухая, жилья нигде нету. Они это любят, бобры-то.

Вдалеке в разных местах токовали тетерева.

— А весна! — громко сказал проводник, и ухо поставил, послушал, как наигрывают тетерева. И мы все послушали.

— И комаров, чертей, нету! — с удовольствием выговорил хозяин, шапку снял, утерся. Волосы у него взмокли от испарины, от горячего чая, и видно было, что хорошо ему.

— Здорово вы тут живете,— сказал я, думая о бобрах и об охоте. И о хозяине подумал, как он тут живет, один на всю округу, лыжи у него, собака, как зимой он тут ходит — птицы, зверя много. Не знаю, почему-то о зиме, о снеге мне подумалось.

— Хорошо, не хорошо — вольно!

— Что вольно, то вольно, это ты верно! — поддержал проводник.— Ты ведь тут давно? Я на работу поступил, ты ведь тут уж был?

— Я тут шешнадцать годов, вскоре после войны,— как отвоевался, домой приехал, бабу забрал (в Архангельске она у меня жила),— так и суда поступил.

Помолчали. Сильно пахло мхом, сладкий это был запах, весенний, сырой, тянуло еще черникой, клюквой, талой снежной водой из ямок, из-под выворотней. Когда мы шли сюда, нам все мыши попадались, шныряли по мху и мокрые были, даже на спинках шерсть торчком стояла мокрая. Они и сейчас бегали озабоченно вокруг нас, попискивали, выгнала их

всех вода. А может, и не вода, а весеннее беспокойство.

Ах, время-то какое было, май — и этот север, эта глушь, робкий холод по ночам, костерчик, дымок, чай распаренный в черном жестяном чайнике, мужики эти с нами, и мы там, в том лесу, а вокруг нас чутко дремали глухари по соснам, а еще дальше на лесной речке выходили в эту минуту из воды бобры.

— Сам-то ты из Архангельска? — спросил проводник хозяина.

— Нет, я северный, с Куи, слыхал?

— Это что на Белом море?

— Нет, под Нарьян-Маром...

— Ого! Чего ж ты оттуда подался?

— Да я там, в Куе-то, почти и не жил.

— А где же?

— А на берегу океана, на промыслах семги да песца.

— Это в коем же месте?

— От Печоры поправее будет.

— А сюда чего перебрался?

Хозяин наш помолчал, потом неуверенно:

— Летом там беспокойно жить. А зимой ночи долгие, дня не видать. Да я и так до самой войны почти оттрубил. А попал я туда мальчонкой совсем, в двадцатые годы.

— Один, что ли, или как?

— А так вот, что время было голодное, нужда заставила. Батя мой договор заключил.

— Постой! — перебил мой приятель.— Ты сказал, летом беспокойно жить — в каком смысле?

— Солнце не садится, днем и ночью светит, спать совсем неохота, и усталость сильная от этого происходит. А еще сказать — как-то оно все грезится тебе чего-то...

— Грезится?

— Ну да, тянет тебя всего как-то, места себе не находишь, беспокойство, словом...

Хозяин стал закуривать, пыхнул раз-два дымком, закашлялся, поглядел в сторону тока, спросил:

— Время-то сколько?

— Полдвенадцатого,— сказал мой приятель, приглядевшись к треугольным своим швейцарским часам.

— А! — протяжно выговорил хозяин и опять пыхнул раза два дымком.— Дак вот... О чем это мы?

— Насчет грезится,— быстро сказал проводник и хохотнул почему-то, завозился.

— Да! Вот так, значит, мы и снарядились. Батя мой всю семью с собой взял, а еще сосед был с нами — Артемий Кожевин— тот сына только взял. Договор заключили на лов семги и поехали. Мой, значит, батя с нами да Артемий с сыном. А поехали из Куи на боту, поехали на мыс Горелка. Высадили нас, кругом ни души, тундра одна, снег под берегом, а дело в июле, смекаешь? Свезли нас с карбаса на берег, сеги, барахлишко наше какое-никакое, а на берегу хибара такая стояла, развалюха совсем, бревенчатая такая, тоня, одним словом. Отец печь слепил, стенку пристроил, баньку там сделал, чтобы помыться было когда. Так и зажили, все лето семгу ловили, стали муку получать, сахар, масло — это авансом за рыбу. Артемий-то с нами жил в одной избе, ему там не понравилось, не стал строиться. «До осени побуду,— говорит,— и уеду, ну ее к дьяволу!» Скучно ему так показалось, жилье-то в одну сторону на двадцать пять, в другую на сорок пять километров.

Вот он сезон отловил, а осенью стал это, значит, домой подаваться. А бота к нам не приворачивали, бота заходили только на фактории. И вот в сторону

Печоры стояла такая фактория. Дресвянка по имени.

— Погоди!— перебил проводник.— Это где Болванская губа, что ли?

— Во-во... А ты дак бывал там?

— Я там в Носовой бывал. Как раз с оленями кочевали, в Носовую завернули, а там уж знают! Сейчас спирт этот, НЗ это сейчас в магазин забросили — и пошло! Это в шестьдесятом было...

Проводник даже заерзал от сладких воспоминаний.

— Ну, это...— хозяин сморщился.— Не уважаю я, когда так-то пьют... Они, понимаешь (он повернулся к нам), в тундре месяцами живут, а потом как дорвутся, пьют до того, что уж и ползать не могут. Право слово! Нет, я бы им вообще спирту не продавал. Не уважаю я так-то пить.

— Ну, а про факторию-то,— напомнил я.

— Дак что ж про факторию? Отправились это, значит, мы на эту самую Дресвянку втроем. Батя меня пустил, собачонка с нами, мне двенадцать лет, а сыну Артемия, Петькой звали, тому лет тринадцать, постарше меня был. Это я вам все к тому, чтобы понятней было, как там зимой жить. Хотя так-то сказать, кто там не зимовал, все равно не поймет... Страшно! В бурю, в пургу страшно, а когда тихо, еще того хуже. Снег белеет, а ты один в тундре!

И тут возник некто за моим плечом, в глухом свете северного леса, и задышал мне холодом в затылок, и глухо зашептал:

— Небеса и земля погружены в вечный покой. Нигде не одного признака жизни, ни одного воспоминания о ней. Ум ни над чем не работает, ни на чем не отдыхает. Бесконечные созвездия не могут уронить ни одной радостной искорки в эту

мертвую атмосферу. Холодные безжизненные звезды ничего не говорят сердцу. Глаза устают смотреть на них и снова обращаются к земле, ухо чутко прислушивается, не нарушит ли хоть малейший шум это подавляющее молчание,— но нет, не раздается ни одного человеческого шага, ни одного живого голоса. Не слышно даже слабого крика птиц, даже легкого шелеста снастей, колеблемых ветром. В этой беспредельной пустоте я слышу только биение собственного сердца; кровь, бьющая в моих артериях, утомляет меня своими сильными ударами. Молчание перестает быть отрицательным понятием, оно наделяется положительными качествами. Я его слышу и вижу, и чувствую. Страшным призраком встает оно передо мною, возвещая конец всему существующему, наполняя мою душу чувством смерти. Я не могу больше выносить этого. Я сбегаю со скалы, я начинаю ходить, сильно стуча сапогами, заставляя скрипеть снег, чтобы прогнать этот призрак смерти...

Хозяин почему-то прислушивался — слышал? Проводник наш вдруг клюнул носом, очнулся, посмеялся немного и стал по-собачьи ворочаться вокруг себя, укладываться.

— Давай, давай,— приговаривал он.— Это мне все знакомо, я там, в Амдерме, бывал, везде, это ты верно говоришь, вот им, московским, это в диковинку, а нам... Слушаю, слушаю, давай, давай...

А сам уж улегся, ямку во мху утоптал, сучки какие-то из-под себя повыгреб, глаза прикрыл.

— Давай, давай, слушаю...

— Заморился,—сказал хозяин.— Ну вот, а Арте-

мию — тому тогда лет сорок было, молодой. Взяли мы чунки, санки такие, узенькие и низкие...

— Вроде нарт?

— Не-е, нарты — те высокие, а эти низенькие, узенькие. А батя наказывал мне там кое-что взять, на фактории, пороху там, дроби, соли и всякого припасу. Ну, лямку через плечо, надеты на нас малицы были, но малички такие пробивные, одна мездра. Километров двадцать прошли, а идти томно, день короткий, темный, слева тундра, холмы такие плоские, снег, справа море, припай уж возле берега, торосы, куда ни поглядишь, одно и то же, скучно было идти. Разговаривали между собой маленько, да и то нечасто, друг за другом шли, неспособно было говорить, да уже и переговорено все было, когда вместе жили.

И вот прошли это, значит, километров двадцать, смотрим — что такое? Смотрим, погода захужела. Сделали привал, покушали немного, слушаем тундру, как она погуливать начинает. А уж и стемнело почти совсем. Так все в глазах что-то змеится, ползет, переливается, и уж понизу вроде как туман бежит, а это снег, пурга! Мы скорей идем и уже давно сбились бы, да только справа нам все море кажет, темнеет, вот так и идем — справа море, слева тундра. Вскоре и пурга настоящая началась, так завыло, замело, не знамо, где небо, где земля.

Дошли мы до речки Дресвянки, а фактория стояла отступя от моря, на этой самой речке. Завернули в глубь земли, в тундру. Идем, идем, а фактории все нету. Заблудились мы, одним словом, решили ночевать. Речка небольшая была, берега низкие, снегом все перемело, не понять — по речке идем или уж давно сбились, тундру меряем. А я маленький тогда был, шибко забоялся и Петька забоялся, идем, плачем. Только Артемий дер-

жится, а сам тоже в сомнение впал, помирать-то кому охота?

Вырыли мы тогда яму, легли прямо в снег. Маличка у меня, я уж говорил, совсем никакая, холодно, дует. Подремлем, потом все проснемся, из ямы своей выстанем, начинаем другую яму копать.

— Зачем другую-то?

— А все нам кажется, что, может, в другом месте потише будет. Вот так-то рыли, рыли, устали совсем, сморились, сон нас взял. Не помню, как и заснул совсем, а проснулся, чую тяжесть на себе, ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Закричал я тогда. Петька проснулся, тоже заорал, отца распихал, Артемий выстал и раскопал нас. А ветер так и рвет, на пять метров никуда не видно. Видим мы, плохо наше дело, нельзя нам под снегом спасаться, стали соображать. А так дуло, что снег вокруг следов обметало, след это, значит, наружу вылезал. Стали мы ходить все вместе, следы руками да ногами щупать, думаем, может, какие следы на факторию найдем, ходят же вокруг нас люди, ездят... Ходим, щупаем, только все нам наши следы попадаются, вдруг Петька как заорет: «Волк!» А это была бочка! Потом — шага два прошли,—вешала! Это жерди такие, на столбы положены,— сети сушить. Стали мы дальше искать, глядим — сугроб, а из сугроба труба торчит, из трубы дым и искры. И тепло дует. Вот она, фактория! Залезли мы на сугроб, стали орать в трубу, хозяев звать. Хозяева нас услыхали, начали снизу раскапываться, а мы им и помочь не можем, лопаты у нас нет, понимаешь, какая вещь. Ну, хозяева скоро все ж таки откопались, свет снизу блеснул, залезли мы, как в траншею, и в дом попали. А потом, понимаешь, шесть дней мы там жили. Как ни послушаем — гудит наверху, нельзя выйти. Шесть дней!

Я представил себе эти шесть дней в духоте, в сне до одурения, в сумрачном свете коптилки, а наверху — пляшущие космы снега, потом вспомнил все белые ночи, какие я видел, в какие не спал, неясно думая о чем-то, вообразил и тот далекий берег, где жил когда-то наш хозяин, и сказал, слабо надеясь на поэзию:

— Зато летом, наверно, хорошо было?

— Как тебе сказать...— подумавши, ответил хозяин.— Там и летом несладко. И спать не спишь, и комаров в тундре — никуда не пойдешь, и цинга приступает. Да вот тогда же после той зимы, мы там чуть все не померли... Сколько время-то?

— Двенадцать,— сказал приятель, блеснув своими швейцарскими.

— А-а... Через час пойдем, не ране. Тогда слушайте дальше. Зимовали мы неплохо, семья у нас большая была, не скучали. Продуктов питания, припасов всяких тоже хватало. Да промысел-то, видишь ты, не совсем хорош был. Шестьдесят девять песцов всего взяли. Батя-то зачем остался зимовать? Думал на песце хорошо заработать, чтобы это, значит, года на три вперед обеспечить нас, а весной — и домой подаваться. В тех местах тогда хорошие промыслы были. Сейчас-то не знаю, теперь, слыхал я, мало песца стало, распугали. А тогда в иную зиму поболе трехсот штук один промышленник добывал.

Сигарета у него погасла, он ее стал раскуривать опять от уголька, и, пока раскуривал, видно, мысль какая-то пришла ему в голову, постороннее соображение, потому что, затянувшись, он вдруг быстро и другим совсем голосом сказал:

— Вообще-то жить там можно, да и привычные мы были. Ведь у нас в Куе-то то же самое, и тундра, и пуржит зимой, и тоже летом солнце все, а зимой тьма. Да,

видишь ты, у нас-то все же деревня, поселение, народ там всякий, братья, сваты, в гости ездят, праздники там разные, весело... И на семгу артельно собирались, и всяко работали вместе же, общество, одним словом, понимаешь ты. А там, на этой Горелке-то, там, братцы, ни в кую сторону никого, и ненцев не слыхать, откочевали.

— А сюда-то почему забрался? — спросил я.— Ведь и тут одиноко.

— Что ты! Тут много народу ездит. Летом из Архангельска приезжают на охоту, рыбки половить, научные работники всякие. И зимой... Лошадь у меня, зимой на станцию поедешь, лошадь оставишь, в город съездиешь, там очумеешь — и назад. Да и попривык я теперь-то, считай, всю жизнь в одиночку жил.

А тогда... Первое ведь зимовье наше было. Ну вот, думал батя разбогатеть на песце, да не по евоно вышло. Песца мало добыл, с чем в деревню ворочаться? Вот батя и говорит как-то матери. «А! — говорит.— Не остаться ли нам на летний промысел семги? Уж летом заработаем, тогда и домой». И порешили родители мои летовать.

Весна приходит, распутица началась, лед должен скоро на Печоре пойти, припай от берега тоже скоро должен был отойти. А у бати на фактории Черной карбас был, он туда его еще осенью согнал, думал, не понадобится больше. Вот он это, значит, дождался распутицы да по обтаявшему и ушел на факторию, а нам наказал ждать. Решил он на фактории припасов всяких на лето авансом попросить да назад уж в карбасе прибыть. И вот он ушел, а мы его ждать стали.

— Много же вас было?

— А вот считай: мать! Она тогда молодая была, все-

го ей тридцать годов сполнилось, рано замуж вышла. Потом я. Мне двенадцать было. Потом два брата, девять и семь лет. И еще девчонки две — одной пять, другой два годика.

А весна в тот год плохая приключилась, затяжная. Никак не теплеет, птица не летит, а батя нам ружье оставил и патроны, чтобы птицей кормились. Из припасов же у нас вот чего было. Муки гнилой мешок, зелена вся, и хлеб из нее худой выходил. Потом овсянки немного и рыбы соленой полбочки.

Ждем мы батю нашего неделю, другую, а у нас уже цинга началась, опухать стали, и зубы у всех кровоточат и шатаются. До того доходило, что можно было зуб свободно из рота вынуть и назад вставить.

Птицы налетело видимо-невидимо, а взять ее трудно было. Возле нашего дома они не садились, а были там небольшие такие озерки, от нас километра три. Вот мы с братом, которому девять лет, Генкой звали, и идем, бывало, на те озерки. Ружье возьмем, патронов десяток и пойдем. А слабые совсем, качаемся, десять раз отдыхать садимся, пока дойдем. Придем, а что делать, не знаем. Птица еще на гнезда не села, осторожная, держится посередке, от берега далеко. А кругом тундра, ни кустика, спрятаться некуда. Птица, которая у берега кормится, как нас увидит, так к середке озерца отплывает и сидит, поглядывает на нас. А мы — на нее.

И вот мы ползаем, ползаем, и так хитрим, и этак, а самое большее три штуки убивали за день. А чаще всего две, а то и одну. Бывало, что и пустые назад придем. А идем назад, от боли ревем в голос, ноги-то совсем пропадали у нас, с язвами шли. Домой вернемся, ляжем на лавку, мать нам ноги растирает, отваром из березовых почек поит.

Июнь прошел, в первых числах июля теплый ветер из тундры подул, два дня дул, и весь лед от берега в океан ушел. Море очистилось, стали мы отца ждать. Уж из избы не выходим, лежим кто где. Голову подымешь, на море поглядишь — пусто. И опять лежишь. Бредить стали, никто ничего не соображает, день за окном или ночь. Солнце-то уже все время светило. Задремлешь, солнце в избе, проснешься — опять солнце, только в другое окошко светит. А все батю ждем...

Пошел раз брат до ветру, слышим — кричит. В окно поглядели, видим, бежит назад. Только и не бежит вовсе, а так — еле ногами перебирает и кричит: «Батя едет! Батя едет!»

Мать заплакала, все заревели в голос, кое-как стали подыматься, друг дружку поддерживаем, вышли за порог, глядим на восток, солнце сияет, видим, лодка вдали чернеет, карбас отцовский. К берегу приползли, на плавник легли и ждем. Вот час проходит, другой, только, думаем, чего бы это карбас так медленно идет? Еще час прошел, и вдруг видим мы, что карбас пустой плывет. Течение его тянет вдоль берега. И близко так карбас этот от нас прошел, метрах в тридцати, страшный такой, пустой... Карбас плывет, а перед глазами у меня все зыблется, зыблется...

Приволоклись мы домой, легли кто где и лежим молча. Потом мать как заголосит! Причитать над нами начала, как над покойниками, прощаться стала, всем по чистой рубахе достала — это на смерть, значит. А потом мы по лавкам и на полу легли и заснули уже последним сном, умирать стали. Только вдруг слышим шум в избе, стук, трясет нас кто-то, а мы и проснуться не можем. А это батя наш приплыл, еле добудился нас.

— А как же карбас-то пустой? — спросил я.

— А это чужой чей-то мимо нас пронесло, похожий на наш...

Хозяин встал, потянулся, поглядел на восток, на верхушки сосен, которые теперь бронзовели уже от утренней розовости, и пнул нашего проводника.

— А? Чево? — поднял тот голову.

Шапка у него свалилась, он сел, нашарил ее, нахлобучил, потер глаза.

— Пора?

— Надо идить, в самое время на месте будем.

Мы затоптали костер, сполоснули чайник снежной водой, положили кружки, сахар и оставшийся хлеб в котомку, хозяин закинул ее за спину, и мы пошли на восток от тропы, которая еле угадывалась, пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти.

Неяркая, зеленовато-желтая заря переместилась уже к северо-востоку, небеса были глубоки и чисты, но мох под ногами — темен. Темны были и громоздящиеся друг на друга стволы, надо было перелезать их, страшно было споткнуться, затрещать, и мы все глядели напряженно под ноги, тогда как хотелось смотреть вверх.

Мы уже порядочно отошли от тропы в сторону тока, и чем дальше, тем шли осторожнее, как вдруг хозяин наш закашлялся. Как подбитый, повалился он тут же на землю, успев одновременно стащить с головы шапку. Уткнувшись лицом в шапку, он долго глухо кашлял, перхал, и лопатки его под телогрейкой сотрясались.

Наконец он поднял голову, чтобы отдышаться.

— Ухи отрежь...— сипло, невнятно попросил он, протягивая проводнику свою шапку.

— Чего? — не понял проводник.

— Ухи... Ухи, говорю, отрежь! Слушать мешают...

— А-а! — проводник как будто обрадовался, что может что-то сделать, быстро вытащил нож из ножен и с удовольствием отрезал уши от шапки.

Поднявшись, хозяин наш на подгибающихся ногах, будто падая, поспешил на поляну и замер, приложив совки ладоней к ушам и вытянув шею. Приятель мой качнулся несколько вправо и тоже замер. Я оглянулся — мне показалось сначала, что проводник наш оправляется, но это он так слушал — присев на корточки.

Мы оттопыривали уши, затаивали дыхание, рты наши были раскрыты. Хотелось закурить, но курить мы не осмеливались. Свет усиливался с каждой минутой, мох седел и зеленел внизу, небо будто удалялось от нас, а сосновые ветви все чернели, и уже различимы были все хвоинки... Шорох одежды слышался резко, когда кто-нибудь из нас переменял положение, тетерева проснулись и токовали вдали со всех сторон, журчали и булькали непрерывно, и хоть в нашем бору держалась еще тень, мне воображались розовеющие березы по краям болот и тетерева на березах, раздувшиеся, готовые слететь вниз для драки, переступающие своими роговыми лапками — и вздрагивающие, гнущиеся под их тяжестью ветки.

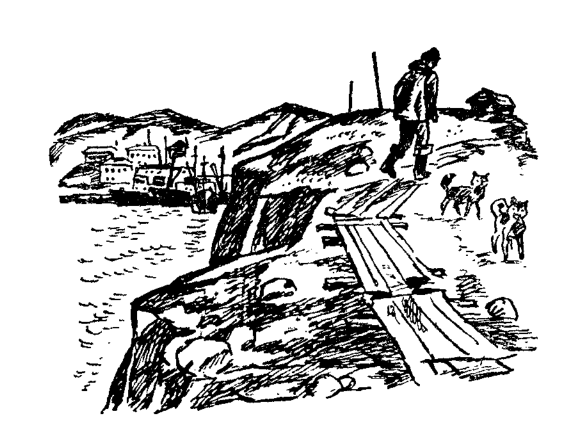
И глухари проснулись уже, мы это знали, но ни один еще не шевельнулся, ни один не развернул веером свой хвост, не вытянул шею...

Неужели, думал я, сейчас все произойдет, и я услышу и увижу то, о чем с таким упоением читал в зимние, голодные, военные вечера? Неужели сейчас он цокнет,

как ногтем по табакерке, вслушается, снова цокнет, потом еще и еще, чаще и чаще и засвиристит, заскиркает, тряся своей бородой, а я, спотыкаясь о коряги, стану скакать на это скирканье? Неужели бывает, что, когда долго кричишь, тебя кто-то и услышит — человек ли, судьба ли?..

А было это на севере, в пустыне, в мае, в счастливую пору.

1966—1972 гг.



БЕЛЫЕ НОЧИ

Белые ночи нас замучили.

Не спишь пятую ночь, пятнадцатую, двадцатую — то охота, то разговоры, дымок костра в лесу между сосен, в неживом свете, или пьешь чай в избе на берегу озера, глядишь за окно... Вот пройдет ночной дождь с громом, небо на севере то очистится, потом опять бугрится там гряда облаков, а облака седые, и верхним белесо-отчетливым краем на фоне более дальних и темных туч напомнят вдруг горы Кавказа. И гром опять прогромыхивает, за окном пахнет мокро и сладко тем особенным запахом, который не встречается больше нигде, кроме как на севере. Вроде бы земляникой, хоть земляники и в помине нет, опилками, песком, болотными кочками.

Теперь мы летим из Архангельска в Нарьян-Мар. Аэродромы везде раскисли, больших самолетов не пускают, и летим мы поэтому на «Антоне». Тесно в нем, возле рубки в проходе целая гора чемоданов в веревочной сетке. Прямо на веревках лицом вниз спит мой приятель, и я дремлю и все куда-то проваливаюсь. И все примостились кто как мог, спят.

Час проходит за часом... Кто-то сказал: «Мезень», я поглядел, ничего не видно в блеске, в голубизне горизонта, опять задремал. Потом проснулся, опять глянул, летчики включили автопилот, сидят, покуривают, разговаривают, в самолете холодно, внизу на марсиански красной и желтой тундровой поверхности пошли пятна снега — чем дальше к северу, тем все гуще. Толкнул приятеля, он проснулся, лицо измятое, все в рубцах от веревок, тоже мутно поглядел, улыбнулся и опять упал головой на веревки.

Пошли облака, а мы забирали все выше и потом долго летели, как над снежным необозримым полем, и по буграм облаков в радужном ореоле прыгала, неслась тень нашего самолета. И облака прошли, а земля была все такая же — красно-бурое, вперемешку со снегом, ни одного селения, ни чума, ничего, но люди в самолете что-то стали узнавать, зашевелились, оживились. «Нарьян-Мар!» — прокричали нам, но еще ничего не было, а показалось все в проливах, в завитках и петлях логовище Печоры, а потом в водяном блеске, на маленьких сверху островках вроде бы прямо в воде, отраженный в ней показался и Нарьян-Мар, покатился вправо и вверх, а мы стали проваливаться и долго потом тянули над самой водой к кромке аэродрома, наконец, колеса стукнулись, задребезжало, загремело, и мы шибко покатили по полю.

И вот Нарьян-Мар — север, сизость домов, желтиз-

на песка между домами, деревянные тротуары, зелень тундрового кочкарника, блеск воды кругом и речной ветер. Город разбросан, волен, пустынен, прохожих мало, и странно это, потому что, хоть и вечер, все светло и хороводом только кружатся все по одним и тем же улицам велосипедисты. Времени уже одиннадцать, и солнце, наконец, касается горизонта, светит параллельными земле розовыми безрадостными снопами и не хочет уходить.

А мы в гостинице. Вот покурили. Потом чаю попили. Потом легли, и как хотелось спать днем, какими одуревшими были мы в Архангельске, а тут опять не спится.

Приятель читает газеты, шуршит. Потом бросает газеты, вспоминает вдруг Кубу, где он побывал. Ах, Куба!

Я слушаю, прикрыв глаза от ночного света, и как-то не верится, что есть где-то настоящие ночи. Что-то такое мне представляется неясное, жаркое, огненное, какие-то ораторы под палящим солнцем, воздетые вверх девичьи руки с автоматами, переходы по горам и сухой шум каменных осыпей из-под ботинок, шелест тростников, ночное небо в звездах, чужие запахи и эти дивные слова: «Патриа о муэрте!»... Ах, Куба! Революция, жар и клятвы, веселье и смерть, вино и кровь, и надо всем вспышками ослепительные дни и черногустые ночи!

Открыв глаза, гляжу за окно. Свет все еще дрожит на крышах домов, внизу все раздаются шаги по дереву. Печора вдали все светлеет.

Опять ночь — какая это?— кажется, двадцатая по счету. Мы в свитерах, в штормовках, в брезентовых плащах сверху, и все равно холодно, поворачиваемся спиной к ветру. Погода испортилась, ночная сумрачная

Печора вокруг нас, мы на моторке скоро бежим кверху, навстречу нам идет истончившийся, уже последний лед.

Нас везет охотинспектор — он-то знает север, надел на себя что только можно, и шапку зимнюю натянул, и от этого кургуз, неповоротлив. Начало охоты, и инспектор едет поглядеть как и что, а мы с ним.

Что за река, что за обилие воды! Еще с самолета запутаться можно было во всех этих шарах и висках, во всех их сплетениях, а здесь и подавно. А сколько птиц сидит на воде, течением их сносит все на север, туда, куда им надо,— к океану. Какие просторы кругом, какая тишина! Твердая песчаная земля, вся испещренная озерами, березы, как кустарник, и в этом кустарнике еще плотен и глубок снег.

— Поехали в деревню?— предлагает инспектор, когда сети были расставлены и мы уж настрелялись и все почти мимо, и промерзли совсем, посинели.

— Давай, давай! — кричим мы сразу.— Даешь деревню!

— Дело хозяйское,— соглашается инспектор и правит куда-то вроде бы на север, во тьму, туда, где на горизонте видны черные холмы в белых пятнах снега и черная туча, провисшая лохмами дождя.

Чем ближе мы подходим к берегу, тем беспокойнее. И мнится — не Печора это и не к деревне мы правим, а вроде бы к Груманту, бог знает где и когда, и страшен, и черен желанный берег морякам.

А когда пристали к берегу, сошли, инспектор сказал:

— Вот, ребята, вы и в Малоземельской тундре.

— Ну, ну! — сказали мы.— Чайку бы!

— Дело хозяйское, а чай будет,— ответил инспектор.

И сразу объявились, сбежались ездовые собаки, другие были привязаны, хрипло, неохотно полаяли и тут же замолчали, а собаки все толстые, в войлоком свалявшейся шерсти.

Избы разбросаны там и сям по холмам. И пошли мы, окруженные собаками, и пришли в дом, и тут уж самовар был, и разговоры, и свежепросольного сига на стол поставили. А сиг этот только сегодня выловлен был, и пах сырой рыбой, кровью, чуть солоноват только, но вкусен — а за окном тундра, нарты везде, на одних нартах сети навалены, на других — лодки, и такие все разговоры — про рыбу, да про охоту, да про зимы, про озера, про тундру, про ненцев, про полярное сияние...

Хозяин угощал нас и про Шпицберген рассказывал. Что полгода там ночь, и что жизнь такая: вычтут из зарплаты и бери, ешь, пей, сколько хочешь, а спиртного, боже упаси — нет совсем, не дают, зато чего другого — завались, и что два года он там отработал и 35 тысяч на книжке у него стало, и что шахты прекрасные, по последнему слову техники.

Очень мы хвалили сига, и хозяин сперва сомневался и все спрашивал, может, мы раньше так-то едали, а то, кто непривычен, то не ест сырого. Потом мы ушли, горячо так попрощались и пошли. Спустились по песку вниз, сели, отпихнулись, стали выгребать на глубокое — тогда вдруг между холмами раздался крик, слабый, тонкий, далекий в ночных песчаных холмах.

— Чего-о?— заорал в ответ наш инспектор и ухо оттопырил, слушая, но не понял, и тогда мы завернули назад и поплыли в заливе навстречу крику. И увидели маленькую фигурку, бегом спускавшуюся к воде. Наш хозяин чего-то нас кликал. Он тоже сел в лодку и стал выгребать нам навстречу, и через минут пять мы со-

шлись, встретились, стукнулись бортами. И тогда хозяин, запыхавшись, смущенно выговорил, и пока говорил, совал нам что-то в газете.

— Извините, вот забыл совсем, вот забыл, не серчайте,— говорил он.

— Да что такое?

— Да вот надумался я, как-то вы будете, ведь ночь, чего поймаете, нет ли, а это вот вам на дорогу, сижка-то, понравился-то что вам... Сразу-то и в ум не взял дать, так вот ворочать вас пришлось, извините...

Отпихнулся и поплыл назад. А мы завели мотор и пошли в свою сторону. Но я все глядел назад. И видел, как хозяин наш причалил, как его собаки окружили и как стал он, не оглядываясь, подниматься в холмы и следом за ним шли собаки.

...Третий час ночи. Мы выбираем сети. Я слегка подгребаю то одним, то другим веслом, мой приятель с инспектором, раскорячившись, нагнувшись, копошатся за бортом. Вот белеет что-то, все ближе, трепещет — сиг! Вот опять белеет, бьется — щука. Сиг, щука, сорога.

А то есть рыба зельдь, не сельдь, а зельдь, говорит инспектор, и еще есть рыба нельма. Ух, какая рыба! А жалко, рано мы приехали, пока на Печоре пусто, вот через месяц-два пойдут перекрытия, семга пойдет, лучшая в мире семга!

Три часа ночи. На дне лодки бьются сиги, бьется сорога, плывет мимо лед, ноздристый, игольчатый, позванивает, трется. Запускаем мотор и долго плывем к какой-то избушке на каком-то берегу— жечь костер, варить уху. А когда высадились, потоптались, стали собирать дрова — пошли через нас утки и дальше, глубже по берегу на озерах заговорили,— забыли мы тогда про уху, схватили опять ружья.

Странно все-таки — ночь, снег в кустах, твердая земля. Мелькнуло впереди, подскочило, топнуло — заяц! Шагов сто прошли — еще заяц, потом еще... Утки постоянно тянут через нас. В озерах плавают ондатры, деловито копошатся, влезают на коряги, не боятся. И зайцы не боятся — отбегут шагов на пятьдесят и сядут столбиком, смотрят, слушают.

Мы стреляем, горячимся, мимо да мимо, зато дух захватит, когда после выстрела от стайки отделится вдруг селезень и, полусложив крылья, как сокол сапсан, камнем дугой вниз — «туп»! И даже подскочит от земли!

А инспектор патроны экономит, заметит утку на воде, падает на живот и долго ползет, пока не улетит утка. Один раз вдруг грянул в кустах выстрел, ну, подумали, наконец-то! Побежали, инспектор потный, довольный и шапку снял. «Убил! — говорит.— Вот она!» Стали доставать, четыре жерди связали, инспектор шарф свой пустил на это дело, достали что-то странное, остроклювое, красно-бурое на груди.

— Тьфу!— сказал инспектор.— Гагара. Мясо рыбой пахнет. А все ничего, собаке отдам.

А потом у костра сидели, и уже ничего не хотелось, только смотреть да слушать. Великая река все-таки Печора!

И еще одна ночь — двадцать первая. На этот раз плывем мы на катере на север, долго плывем, потому что катеру надо то туда, то сюда груз доставить, и мы кружим по проливам, выехали из Нарьян-Мара в три, а в деревню, в последнюю, самую северную на нашем пути, приехали в полночь.

Устроить нас взялся Гена, одессит, он на Печоре уж много лет и все знает. Стучим в одну избу — нет ответа. Стучим в другую — тоже нет. Ходим и стучим.

И вдруг видим: идет по улице рыбак— далеко виден на плоской улице. Идет, песенку поет. Увидал Гену, засмеялся.

— А! — говорит.— Гена! Ко мне?

— Да нет, я на катере, а вот где бы устроить товарищей? Журналисты, понимаешь, такие, понимаешь, писатели, а?

— А ну! — сказал рыбак и размахнулся.— Ну! Отмахни! Руку, говорю, отмахни! Во! А ну!

И хлопнул нас что есть силы по рукам.

— По-морскому!

— Ну вот и все, привет! — сказал Гена.

— А ты? Или не зайдешь?

— Та я с катером, вот назад пойдем — тогда.

— А, ну ладно! Ну — ко мне!

И побежал впереди нас. В меховых тапках, волосы на обе стороны, лицо рябовато, нижняя челюсть вперед, желтоглаз и бешен — у!

Привел нас в избу и заорал:

— Женка! Вставай! Ко мне приехали... Знаешь, кто ко мне приехала, уважила? Вставай! Ученая степень приехала! Ясно? Живо давай самовар!

— Какой тебе самовар!— молниеносно ответила ему жена.

— Деревенщина! — закричал хозяин.— Говорят — ученая степень, живо самовар!

И началась кутерьма. С руганью, недовольная поднялась хозяйка, захныкали, завозились во сне ребятишки, хозяин топотал по избе, брякал об стол вилки, ложки, ножи, а мы уж и деваться куда не знали от такого гостеприимства, ходили за хозяйкой, заглядывали ей в сонное хмурое лицо, извинялись, как могли.

— А, да ничего, все равно уж дак! — сказала она

быстро и вдруг улыбнулась мгновенно и стала прелестна...

Как ни мгновенна была ее улыбка, хозяин заметил, приободрился, замелькал тут и сям — и мы только глаза таращили и вздрагивали.

— Спички?— переспрашивал он и карабкался на печь, и скатывался оттуда с сотней коробков спичек.— А папиросы есть?— И на стол вываливались десятки пачек «Севера».— Женка, где полушубки?— И вот уже топотал он по чердаку, грохотал оттуда и кидал в раскрытую дверь из сеней полушубки.— Рукавицы надо, холодно! — спохватывался он и выворачивал ящики комода, рылся там, все раскидывал, находил совершенно новые перчатки, шлепал их что есть силы об стол.

— Я не какой-нибудь! — кричал он, садился к столу и сдвигал все в сторону, сваливал на пол.— Я бригадир, я народ люблю. Ребята! Ученая степень! Вот у тебя очки, так? Мы рыбу ловим, изучайте, так? Все ясно, другой не поймет, а я все пойму. Теперь так, теперь куда вас направить? Вот у нас островок есть — где бумага, карандаш есть? Женка, где карандаш?

— У нас есть! — торопимся мы.

— Так, давай сюда. Теперь глядите! Я вам свой мотор дам, лодку дам, туда приедете, только завтра чтоб к трем были тут, завтра у нас работа!

— Да мы утром вернемся,— говорим мы.

— Дело ваше, мотор у вас, и все! Так. Где бумага, ага... Так глядите...

Он что-то чертит, приговаривает:

— Вот тут у нас шар, вот сюда, вот тут знак, на него надо идить... И все. И там пролеты. Утки у нас голубань, чернеть, так?— Но карандаш выделывает у него такие загогулины, что он сам потом несколько мгно-

вений оторопело смотрит на чертеж и решительно переворачивает листок.

— Нет, я сейчас по-другому нарисую...

В сенях топот, хозяйка, ставившая там самовар, что-то возмущенно быстро говорит, но дверь распахивается, в комнату вваливаются двое или трое.

И парень, молодой такой парень с толстыми губами, наивным беспомощным взглядом, оттопырив губы, несколько минут смотрит на нас, на наши ружья.

— Охотники?— спрашивает и вздыхает.— И как вы энто охотитесь дак? А я никак... Пять ружей сменил... Женка заела, а стрелю — и мимо... Не умею. Не постигну, женка говорит — разор, а я что могу?

Говорит и руками разводит, смотрит на нас с восторженным удивлением, а мы его успокаиваем: как же, мол, все постигнуть можно.

— Нет, чего говорить — неспособный я... Вот и рыбу ловить, все ловят, а я дак сеть запутаю, порву, и все толку нет.

Он машет рукой и даже отворачивается.

— На что же живешь тогда?— спрашиваем мы изумленно.

— А кто е знает, на што! Женка кормит...

Рыбаки не выдерживают, хохочут, парень переводит взгляд с них на нас, махнув рукой, выходит совершенно расстроенный.

И тут рыбаки наперебой объясняют нам, что парень этот — лучший охотник и рыбак прекрасный, бригадир...

Тут наш хозяин срывается и тоже выбегает, а через десять минут они с парнем возвращаются, ставят на стол спирт, воду, тут и самовар, и сиг сырой, и масло, и сахар, и печенье — и все снимают полушубки, садятся вокруг стола...

— Мы завтра на озера уходим, двадцать дней рыбу ловим — так? Там не пьем, там не положено, там работа, так? А сейчас свободное время... Так? И все!

Но мы сидим недолго. Хозяин опять срывается, выбегает, кричит нам с улицы.

Мы натягиваем полушубки, выходим, мотор хозяина висит на изгороди.

— У меня мотор...— Он наматывает на мотор кожаный шнур, дергает — мотор не заводится. Он снова дергает — опять только чавканье. Хозяин весь горбится, весь наливается яростной кровью, делается похож на большую кошку, он проделывает с мотором все, что обычно проделывается всеми обладателями моторов в мире в таких случаях, он передвигает так и сяк опережение, подсасывает в карбюратор бензину, отвинчивает пробку, заглядывает в бак, снова дергает, потом мчится в дом за инструментом, возвращается, вывинчивает свечу, проверяет на искрение, опять собирает и дергает, дергает, дергает...

Наконец он плюет, вытирает рукавом испачканные бензином губы.

— Сволочь, а не мотор! — кричит и вдруг бежит куда-то, в какую-то избу, будит там всех, через пять минут появляется из-за угла с мотором на плече и, покачиваясь, бегом, радостно крикнув: «За мной!» — устремляется к протоке.

А там, на протоке, полно лодок больших и маленьких, хозяин подлетает к какой-то, лезет в нее, чуть не вывертывается, падает на корму, успевает в момент падения попасть зажимами мотора на кормовую доску, закрепляет мотор, откидывается, упирается ногами, дергает, мотор жужжит, дымит, за кормой бурлит, лодка лезет на берег, а хозяин яростно-довольный

стукает мотору по морде кулаком, потом глушит, дергает, опять кипение винта, опять он его стукает, потом убегает, возвращается с канистрой бензина, мы забираемся в лодку, хозяин нас отпихивает от берега, смеется, машет нам. Мы заводим мотор, едем по протоке, выворачиваем на Печору и тут только постепенно приходим в себя. Что за народ! Что за сила!

А на другой день при ярком солнце вся протока вдоль деревни трещит моторами, множество лодок, заваленных сетями, множество народу копошится на берегу и в лодках, бегают в избы и обратно на берег ребятишки и женки, все носят чего-то, и хозяин наш тут же. Только теперь он деловой. Наконец все садятся, прощаются, отталкиваются от берега, моторы разноголосо трещат и жужжат, и целая флотилия уходит, как уходила и в прошлом, и в позапрошлом году, и раньше,— уходит на двадцать дней на озера, а нам как-то сразу грустно становится, пусто, потому что пришел наш срок и надо домой... И деревня пустеет, стихает, собаки успокаиваются, разбегаются, никого нигде нет.

То было все солнце, солнце, целый май солнце, и вот пришел июнь — и вдруг с севера пошли тучи, заревел ветер, хлынул холод. Все лужи, повсюду взблескивавшие в тундре, замерзли, из дому страшно было выходить. Приятель мой и не выходил. Он как-то сдал за последнее время, спал почти все время, просыпался, глядел в окно, потом хмуро пил компот, разбавленный кипятком, писал что-то, курил и опять валился спать, длинные ноги его жалко торчали из-под полушубка.

Завтра нам было уезжать, и я не стерпел все-таки, пошел один в безмолвие тундры, надел зимнюю шапку,

рукавицы, закинул ружье за спину, отвернул голяшки у сапог и пошел.

Я шел по берегу Печоры. Противоположный далекий берег был черно-бел, неприютен. На Печоре сидели стаи уток. Сколько им всем надо было пролететь, чтобы добраться сюда, сколько же по ним стреляли по всей земле, сколько их не долетело, а теперь вот и я — наверное, последний охотник на их пути. Дальше океан, дальше уж они и не полетят, дальше некуда, и охотников нет — разве только полярники на зимовках...

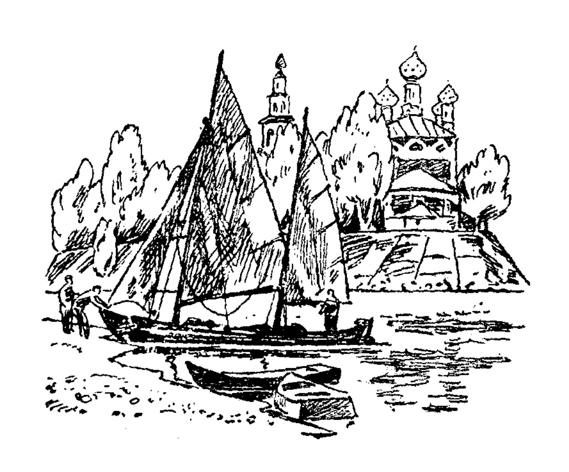
Я шел то по земле, то по снегу, то по затопленной тропинке, и лед звенел, ломался у меня под сапогами. Утки летели над водой и все в одну сторону, на север, зайцы мелькали в кустах, какие-то зверьки молниеносно выглядывали и тут же исчезали, я даже и не знал, что это — ласки ли, горностаи ли... В одном месте берег был плоск, во время ледохода массы льдин налезли сюда, поднялись дыбом, улеглись сахарными плитами, все в метр толщины, все в трещинах, и я шел по ним, как в торосах.

Удивительно это — белые ночи! Разные они — текучие, переменчивые. Небо чисто — серебристый свет рассеян везде. Стоят в небе два-три облачка, розовеют, и вот уже что-то разливается всюду золотистое...

И вот я вышел на какой-то мыс, слева блеснуло тускло, справа была Печора, идти дальше было некуда, я остановился в кустах, и вдруг мне показались тонкие протяжные крики, будто колокола, они все повторялись, усиливались — впереди за мысом на громадном стекле воды полно было уток, и там же, между черных точек, как белейшие снежные льдины, сидели лебеди и кричали.

На другую ночь мы уехали на катере связи. Дул штормовой ветер, и хоть Печора не море, а и тут шла волна, пушечно била в нос катеру, взлетала вверх, заливала рубку, палубу, снасти, замерзала. И когда мы приехали утром в Нарьян-Мар, спрыгнули с катера на причал, оглянулись, то был наш катер, как «Фрам»,— весь во льду, в сосульках, весь белый, а капитан и матросы стояли на палубе, забыв уже о нас, говорили о своих каких-то делах, были все в черных полушубках, в шапках, в сапогах и валенках — и это июнь-то!..

1963 г.



НОЧЬ НА «ВЕГЕ»

— А ты знаешь,— говорил Руслан, меланхолически глядя на кружку с пивом,— смертельный момент был тогда на Рыбинке, когда мы фок рубили... Смертельный момент! Мы с Лешкой потом говорили: это было смертельно...

— Ну да!— все еще не верил я.

— Я тебе говорю! Запросто могло нас положить. Запросто, я тебе говорю. А положило бы... и все!

Мы сидели в кафе в Великом Устюге, в летнем кафе, на крытой веранде в парке. Между деревьями виднелись колокольни старых церквей, где-то внизу, у причала, стояла наша «Вега», и все мысли наши были о ней. Сырой холодный ветер гонял бумажки по дощатой веранде. Дождь перестал еще утром, но небо было

мрачно, и мы знали, что он опять пойдет. Он шел вчера, и позавчера, и все две недели с той самой ночи на Рыбинском море.

Под дождем прошли мы всю Шексну, и каналы, и Кубенское озеро, и шлюз Знаменитый, и часть Сухоны, день за днем, без передышки, а дойдя до деревни Усть-Вологодской, не выдержали, пристали, нашли пустующий дом, влезли и стали отогреваться возле дымящей печки.

А на другой день, когда копошились мы возле несчастной своей «Веги», вытаскивая мокрые вещи и вычерпывая воду, подошел к нам старик, поглядел на шлюпку и забормотал:

— Вега!.. Гм... Вега...

Старику этому было семьдесят девять лет, я к нему заходил уже по соседству. Бабка топила ему с утра баню, а он сидел за столом. На столе в торжественном одиночестве стояла бутылка порториканского рома. Старик вожделел даже до кряхтенья, но терпел:

— После бани,— сказал,— выпью!

— С чаем?— спросил я, вспомнив «пуншик», который пьют все на Белом море.

Старик заколебался, потом твердо:

— Нет, так! Я ее так, оно горячее пойдет...

И вот он уж в бане помылся, стал чистый: рубаху надел, валенки с новыми галошами, и уж, наверно, горячо у него все пошло, вышел он к нам и озадачился:

— Гм... Вега! Плохая название... Непонятно.

— Что ты, отец! Нормальное название. Есть такая звезда — Вега, яркая такая звезда...

— А-а! Звезда! Понятно, понятно... Нет, плохая название!

А как мы спали в этой Усть-Вологодской! Кто где —

на полу, на продавленном коротком диванчике, в коридоре, в сенях... Я спал на твердой как камень кровати под рваным марлевым пологом, комары меня терзали, при малейшем движении пыль, как снег, хлопьями сыпалась на лицо...

Но не об этом вспоминали мы в кафе в Великом Устюге.

Ночевали мы в ту ночь недалеко от Пошехонской губы. Вечером — так отдаленно от иных миров, на берегу какого-то безымянного залива, возле разбросанных по темному косогору темных, спящих изб, под выступившими звездами,— вечером жарко трещал наш костер, и он был как солнце для нас, а мы — восемь человек — как планеты вокруг него.

А утром, когда, перетаскав все вещи в «Вегу», встали мы на корме и на носу, и навалились на багры, чтобы отпихнуться от берега, так сиротливо дымили оставленные нами головешки, что хотелось долго смотреть на уходящую землю, на деревню, широко и красиво раскинувшуюся вдоль залива.

Сколько разлук было в моей жизни! И вот еще одна, и тоже горькая — ведь будет же помниться потом мне это утро и как мы уходили, выбираясь из залива между темными пнями затопленных, росших здесь когда-то деревьев на простор Рыбинского моря.

Мотор, как всегда, не заводился, и хоть вышли мы не поздно, но уже установился жаркий штиль, небо на юге побелело, а на горизонте сзади все чернел буй, мимо которого ходили мы вчера крутыми галсами при встречном ветре и от которого никак не могли уйти.

Была в таком походе, как наш, одна беда: нужно идти все вперед и вперед, путь долгий, до Архангельска, времени у нас меньше месяца, и мы спешили — дальше, дальше... Но как же грустно было расставаться

с деревнями, с заливчиками, где мы ночевали, как думалось каждый раз: «Вот бы пожить здесь! Немного! Неделю!»

Позавчера вечером пришли мы в Пошехонье, и, пока тянул нас буксир по Рыбинскому морю, пока входили мы в Пошехонскую губу, и садилось, сплющиваясь, солнце, и волна, если смотреть на закат, была мрачна: рваная какая-то, беспорядочная, и нас поминутно заливало от быстрого хода,— мы так радовались: увидим Пошехонье!

А пришли в темноте, на другой день, едва только взяли бензину, едва пробежали по городу, и ушли — навсегда, наверное! —и в памяти остались какие-то дома, то каменные, старинные, безо всякого стиля, то поновее, в стиле русского барокко с фризами, виньетками, арочками и лепкой по карнизам и балконам, то деревянные, с резьбой по наличникам, и запахи пыли, травки-муравки, огородов, выгребных уборных и старого дерева.

А в центре — асфальт, торговые ряды, автобусная станция, кафе, почта, банк, собор, наполовину снесенный. И тут же базар с очередью возле пивного ларька, разговоры в очереди о рыбалке, о том, как вялить рыбу...

Так все не удается нигде нам остановиться, пожить, хоть бы оглядеться. Вот и позавчера тоже, еще до Пошехонья, вышли мы, наконец, из Волги в Рыбинское море и приткнулись к какому-то островку недалеко от Коприна. Островок был — за пятнадцать минут обойдешь! — песчаный, поросший мелким сосняком, прелестный, необитаемый и так остро вдруг напомнил нам балтийское побережье своими соснами и песчаными пляжами.

Следы чаек на песке, выброшенные прибоем коря-

ги, плавник, пара уток с мелким биением крыльев, поднимающаяся из-за косы, вздрогнувшее сердце... Мы брели среди длинного заката, потом за поворотом мелькнуло что-то красное, подошли ближе, пробрались кустами — две палатки. А возле палаток раскладной стол, такие же стулья, сидят за столом четверо, пьют чай, сдвинув на край стола пустые сковородки. На шнуре между соснами вялится рыба, лодка-казанка вытащена на берег...

Как же позавидовали мы, проходя мимо, покою, неспешности этих четверых, их одинокому мирному житью здесь. Им купаться, ловить рыбу, а нам завтра с утра опять в путь.

Ночью на острове было так тепло, так нежно ходил между сосен ветерок, что не было никакой возможности спать под телогрейкой, но и скинуть ее нельзя было: комары (сколько их там было, штук пять?) все-таки звенели над ухом. В костер на ночь набросали корней, и дым, который волнами слегка наносило на меня — то нанесет, то отпустит,— возвышенно пах ладаном.

Лежа на спине, по привычке бродя взглядом от созвездия к созвездию, я вдруг как бы укололся о спутник. Он блистал так ярко, как блистает и переливается только Венера в апреле, когда стоишь на тяге, лицом к уже глухому, коричневому закату, слушаешь далекие, слабые, как короткие вздохи, как удары сердца, выстрелы и ждешь появления вальдшнепов.

Спутник летел быстро, перечеркивая созвездия, и вечный свет звезд как-то слабел, будто удалялся от его присутствия. За каких-нибудь десять минут он прочертил весь небосклон и погас за горизонтом.

— Нет, нет,— говорил я себе,— что же это такое! Это невозможно, завтра утром бросать все это и ухо-

дить. Вот на следующий год... байдарка, неторопливость, пожить недельку там, недельку тут...

Вот всегда мы все откладываем свою жизнь на следующий год. И мне пришел на память тоже обидный для меня час в море Лаптевых, когда съехали мы со зверобойной шхуны на берег половить омуля на какой-то речонке в тундре. Хорошо было ехать в ледяной прохладе, под солнцем, глядеть на далекую зелено-серую еще тундру...

Был июль, но в море плавали льды, и шхуна наша на горизонте миражом стояла в воздухе. Раза четыре закидывали мы с карбаса невод, но каждый раз попадалось по нескольку камбалок, а омуля не было. В море было прохладно, на берегу — жарко. Жара и работа разморили нас. Пошли мы было на озеро пострелять уток, но едва отошли от берега — такие тучи комаров накинулись на нас, что мы и про охоту забыли. Вернулись мы к карбасу, погоревали и решили пойти попить чаю к промысловику, жившему в избушке в километре от реки.

И пришли, сели, и только успел я оглядеться, только успел узнать, что хозяин живет тут один вот уже двенадцать лет, зимой ловит капканами песцов, летом охотится, рыбачит, как вдруг прибежали с улицы матросы, закричали: «Белуха пошла!» — и всех как ветром выдуло из избушки.

Так и не поговорили, так и не узнал я жизнь того человека, не породнился с ним. И опять была разлука...

Вчера, выйдя уже из Пошехонской губы, подняли мы паруса, но ветер был встречный, пришлось ходить крутыми галсами, и черный буй, который мы прошли, все маячил то с левого, то с правого борта — вперед мы почти не продвигались.

Давным-давно заметили мы на горизонте лодку,

разглядели в бинокль и двух людей в ней, которые по очереди пропадали, сливались с лодкой, будто били поклоны друг другу. Долго мы гадали, что бы это значило, пока не догадались, что это рыбаки осматривают сеть и нагибаются по очереди за борт.

Не меньше часа прошло, пока удалось нам подойти к ним вплотную и купить рыбы. Вечером хлебали мы уху, но штук пять хороших лещей и судаков у нас еще оставалось, решили мы их завялить, сложили в ведро, засыпали солью, и вот сегодня рыба наша пустила уже сок, и теперь в шлюпке пахло, как в рыбацком карбасе.

Кому как, а для меня нет на свете прекрасней, я бы даже сказал, торжественней запаха, чем запах свежезасоленной рыбы. Для меня это даже как бы и не рыбой пахнет, а всем остальным, что связано с ней,— палубой сейнера, скажем, сетями, водорослями, морем, смелостью и силой рыбаков, уютом кубриков — мало ли чем!

Впервые почувствовал я эту радость и напряженность в Пертоминске на Белом море. Сошел с парохода, пошел со своим рюкзаком по причалу и остановился. Навстречу мне к пароходным сходням катили бочки с беломорской сельдью, большой склад был растворен, и из его гулкой прохладной темноты и глубины било запахом рыбы. И сразу этим запахом как бы задышали дикие берега Унской губы, песчаные дюны — угорья, как называют их поморы,— и весь Север с его Белым морем, переходящим в бесконечный свирепохолодный и синий океан.

От парового сипения лебедки на пароходе, от стуков бочек о деревянный настил причала еще полнее была тишина белой ночи. Я оглянулся: Унская губа расширялась, переходя в море. Чернильные облака на-

верху были — как бы это сказать?— в параллельных горизонту зебровидных размывах, сквозь которые проглядывало чистое небо. Полоса неба над головой была бесцветно-голубой, потом шли полосы синие, зеленые, склонялись к оранжевому и у самого горизонта были клюквенного цвета.

И море, как небо, в пятнах и полосах, сначала пепельное, чем дальше, тем все румяней, и вдали на всем красном, розовом, желтом — черный силуэт карбаса с человеком в корме...

Мотор наш, наконец, заработал, командир закричал:

— В корму! Все в корму!

Путаясь в шкотах, наступая на рюкзаки, мы полезли в корму, чтобы осадить винт поглубже, и так сидели минут десять чуть не друг на друге. Потом мотор снова заглох.

— Ребята, давайте на весла...— распорядился командир.

Мы полезли по банкам, стали доставать весла, вставлять в уключины, толкая вальками друг друга в спины.

И опять:

— И-и-и р-раз! И-и-и два! И-и-и раз...

Рыбинское море не веселило нас. Сначала в Переборах, а потом в Пошехонье, на спасательной станции, чего нам только не наговорили! Со всеми подробностями рассказали, как погибла одна яхта и все утонули, хоть и разыскивали их на вертолете. Говорили нам также о плавучих моховых островах, на которых растет лишь кустарник среди булькающих топей. И про берега, что представляют собой частокол затопленных когда-то деревьев, сгнивших, рухнувших и теперь только на вершок торчащих из воды. В тихую погоду нель-

зя пристать, а в шторм и подавно... Наслушавшись всего этого, мы даже поспорили — могут ли сохраниться под водой дома? Неприятно нам было воображать, что, может быть, прямо по курсу у нас стоит в сумрачной глубине изба с трубой, и мы можем об эту трубу стукнуться!

Мотор наш то заводился, то глох, мы то брались за весла, то валились без сил — безветрие, жара нас усыпляли. Кто мог, тот и спал уже, подмостив под голову рюкзаки. Горизонт на западе и севере стал затягиваться мглой. Странно, за весь день видели мы только один пароход, гораздо мористее нас — мачты показались и долго, незаметно, как часовая стрелка, передвигались по горизонту, и дымок над мачтами стоял вертикально.

Какая му́ка все-таки эти старые моторы! И не только для тех, кто с ними возится, каждую минуту продувая карбюратор, разбирая и собирая помпу, прожигая свечу, но и для всех остальных. Когда мотор задыхается, сбрасывает обороты, хлопает, то и мы как бы работаем вместе с ним, а когда мотор все-таки глохнет, в наступившей тишине ощущаешь вдруг, что совершенно измучен.

Так с одиннадцати утра и до пяти дня мы то гребли, то бросались в корму, когда мотор заводился, и успели пройти за это время километров пятнадцать-двадцать. А ветер между тем подступал к нам с юго-востока, но мы пока не знали этого.

Ветер нагнал нас около пяти часов. Злой, измученный командир наш оживился, стал сразу деятельным и добрым и закричал:

— Эй, там! Просыпайся! Ставим паруса!

Но прежде чем мы поставили паруса, я хочу рассказать в двух словах о нашей «Веге» и ее команде.

Грех было бы не упомянуть поименно всех славных ребят, которые мерзли, мокли и работали на протяжении полутора тысяч километров.

Все-таки много нас было, как я теперь думаю, много! Восемь человек в десятивесельной шлюпке среди свернутых парусов, бочек с бензином, канистр с маслом, среди мачт, весел, багров, кранцев, топоров, ящиков с продуктами, ведер, бидонов, бочонков с водой, среди всех этих гафелей, гиков, шкотов, фалов, винтов, трех моторов — и чего еще? Среди рюкзаков, спальных мешков, надувных матрацев, резиновых сапог, кружек и мисок, фотоаппаратов и биноклей, канатов, в которых беспрестанно рылись, перекладывая с места на место, восемь человек команды!

Боюсь, что вы не запомните, кто был кто, но вот как нас звали: Толя, Коля, Боря, Витя, Слава, Руслан, Леша и я. Ребята все были славные, молодые, энтузиасты парусного спорта, большинство из них не раз ходили под парусами, а человека три (и я в том числе) были новички. Боря нас всех кормил и поил.

Слава, Витя и Коля сидели на моторе.

Остальные были матросы, а Леша и Руслан — командиры. Это они появились однажды, как рок, два человека, отыскали мою дачу, и Чиф их пропустил, не залаял. Я не слыхал, во всяком случае, и вышел к ним с ленцой, не подозревая, чем обернется для меня их визит.

Поздоровавшись, они быстро огляделн меня, и один назвался Русланом, а другой Алексеем, Лешей... Простоватое такое было у Леши лицо, мужицкое, русское, самое русское у нашего будущего командира.

Сели на веранде, и, как сейчас помню, чудесный был конец июньского дня, солнце шло уж к закату, но во всем вокруг была уверенность, что еще долго будут

сиять небеса, что и сумерки, когда наступят, будут теплы и светлы, что и в двенадцать часов ночи у нас в Абрамцеве северная часть неба еще будет светиться зеленовато... И оттого, что день такой долгий, а ночи коротки, так спокойно было нам и так все располагало к разговору.

И заговорили мы (вернее, заговорил Леша) про шлюпку «Вега», про то, как поплывет эта «Вега» под туго дрожащими и гудящими парусами по каналу, потом по Волге, по Рыбинскому морю, по Шексне, через Кубенское озеро в Сухону, а там уже по Северной Двине до Архангельска, все удаляясь, превращаясь в нестерпимо сверкающую точку в дали пространства и времени. И станут отражаться, повисать вниз головой в водах многих Мышкино, Калязин, Углич, Тотьма, Нюксеница и какие-нибудь там Никола Мокрый, Пёсья Деньга, Ноземские Исады, Нарезмы, Шиченьга, Дресвяник, Ярыга... От одних названий весело мне стало!

— Руслан, покажи! — добивая меня, тихо молвил Леша.

Руслан вынул из портфеля фотографию и показал.— «Вегу». Шлюпку с двумя чуть заведенными назад мачтами. Она сфотографирована была у причала и казалась несчастной без людей. Без нас.

Мы вышли из дому и, обстоятельно обсуждая подробности, будто уже плывя на «Веге», пошли между лесов и полей. Вдали, наверху,— мы шли как раз низом, переходя по шоссе овраг,— кубически стекленело кафе. Низкое солнце, как в призме, радужно переливалось в его гранях.

— Вы бывали на севере?— спросил я.

— Нет, нет! — цепенея от будущего наслаждения, враз отвечали мои гости.— Никто не был! Никогда!

Север звал нас к себе...

А вот как ставились паруса на «Веге».

После крика командира все зашевелилось, начали распутывать ванты, шкоты, фалы и прочее.

Вот приподняли немного переднюю мачту, вот попали нижним концом ее, окованным железом, в гнездо внизу, в киле, вот, подпирая плечами, кряхтя и ухая, поставили ее вертикально, вдвинули в выемку в передней банке и захватили скобой.

Все это со стороны, наверное, было похоже на то, как рабочие ставят телеграфный столб: подымают его с земли, подпирают плечами, задирают все круче, круче, ссовывают нижний конец в яму, засыпают и утаптывают.

Потом мы стали натягивать ванты: «Ну! Еще! Давай еще! Ну-ну-ну-ну! Хоро-ош...» И так до четырех раз, потому что вант — четыре.

Установив одну мачту, принялись мы за вторую, и с ней проделали то же, что и с первой, и настала очередь ставить паруса, их было у нас три: грот, фок и стаксель. Возни с ними хватило нам еще минут на сорок — то костыль гафеля не шел до конца, то что-нибудь заедало... А ветром нас уже заметно несло даже и без парусов.

Наконец, паруса поставили, закрепили, распутали, натянули шкоты, сняли и запихнули под ноги в корму немощный наш мотор, поставили руль, Леша сел за руль, поерзал, чтобы было поудобнее, закричал:

— Фок! Фок, потрави шкоты! Грот! Возьми на себя!

И мы побежали.

Я не моряк, но так получилось, что за двенадцать лет прошел добрый десяток тысяч миль на самых разных судах — от карбасов и мотоботов до тральщиков

и зверобойных шхун. И случались прекрасные плавания, когда неделю и больше море не шелохнется, а белые, тугие облака с утра до вечера стоят, кажется, на одном месте.

И все-таки в самом легком плавании устаешь. Устаешь от беспрерывного, круглосуточного, кругломесячного гула двигателя, от вибрации корпуса, палубы, койки, супа в тарелке, и чая в стакане, от вибрации собственного тела.

Другое дело паруса! Да еще попутный ветер! Тогда в движении судна есть что-то от полета. Мчишься почти вровень с ветром, паруса туго натянуты, напряженные мачты поскрипывают и выгибаются слегка вперед, волна с бесконечно закручивающимся гребнем долго шелестит сзади, медленно приближается, подходит под корму, шлюпка приподымается, потом оседает, следует удовлетворенное «у-ух!» где-то у нее под пузом, шлюпка слегка сваливается налево, ты налегаешь на руль, выправляя по курсу, и тут же под кормой начинает петь, журчать, как бы ручеек по камушкам, шлюпка делает носом медленный, плавный мах направо, а ты опять бросаешь руль, чтобы ее ветром и волной повело опять налево... Это как вдох и выдох.

Еще в Пошехонье капитан «Дельфина» — буксирного катера, который притащил нас накануне,— вычертил нам схематическую карту от буя к бую, пока, как приписал он внизу, не наступит речная обстановка на подходе к Череповцу.

Ветер задул крепкий, хороший, и по всему было видно, что надолго, и командир наш решил не ночевать нигде, а идти всю ночь, чтобы утром подойти к Череповцу. А пройти нам надо было километров полтораста.

Поломки мотора, противный ветер на Волге поря-

дочно выбили нас из графика, мы опаздывали уже, и потому никто не стал возражать. Решено было спать в шлюпке.

Работы нам не было никакой, только Коля лег на носу с биноклем и примерно раз в полчаса кричал оттуда:

— Вижу буй!

— Какой?! — вопрошал его с кормы Леша.

— Красный! — после некоторого молчания вопил Коля.

Командир разворачивал карту-схему: очередным буем должен был быть именно красный. Все шло превосходно.

Руслан сидел на шкотах стакселя.

Еще двое примостились между банками и прилегли даже у шкотов грота и фока.

Леша, обложившись картами и биноклем, восседал на корме, как на троне.

Остальные стали помаленьку надувать матрацы, разворачивать спальные мешки и копались в рюкзаках, приготовляясь спать.

Так прошли мы часа четыре, солнце давно село, заметно стемнело, северо-запад был широк и желт, далеко впереди видна была туча с провисающими наискось туманными кисеями дождя.

Правый берег скрылся часа на три, потом опять показался. Левый берег был не виден. На буях загорелись огни. Все вокруг стало зыбко, сумрачно, только заметно побелевшие барашки резко светились в темноте, и шлюпку нашу уже сильнее приподымало сзади, будто подпихивало мощной ладонью, и каждая волна рассыпалась уже с продолжительным шумом под ее боками. Ветер усиливался.

Как-то никому не спалось, лежали, покуривали...

Потом решили поужинать, достали банки со сгущенкой, каждый отломил себе хлеба, зачерпнул из бидона кружку воды. Жевали, поглядывали за борт, на волны.

Навстречу нам попался большой теплоход. Он шел на юго-восток, во тьму, весь озаренный огнями. Народ на нем попрятался по каютам, волна с гулом била в нос, взлетала выше палубы, и мы — такие крошечные перед ним,— глядя на вздымающиеся столбы брызг у его носа, вдруг поняли, какая уже началась здоровая волна.

С теплоходом мы разошлись мгновенно. Через десять минут многочисленные его огни слились на черном востоке в маленькое жемчужное пятнышко. Но и сквозь упругий шум ветра и шипенье обгонявших нас волн нам все слышался звук теплоходного двигателя.

Далеко передается звук по воде! Помню, однажды осенью ночевал я на берегу Белого моря в пустой промысловой избушке. На море стоял полный штиль, кругом было такое безлюдье, такая темнота, что, казалось, только мой костер, на котором я кипятил чай, да звезды наверху — одни светили на земле.

Потом вспыхнуло полярное сияние. Дрожащие столбы вставали на севере так отчетливо, что отражались в море. Тотчас пришел мне на ум один знакомый мужик. Его два раза уносило на льдине во время зверобойного промысла. Повествуя о своих бедах, не раз упоминал он и про «сполохи».

— Какие они? Расскажи! — Я тогда не видал еще полярного сияния.

— А страшные! — только и говорил он.

Жутко и мне стало глядеть на этот живо передвигавшийся по небу мертвый свет.

Тогда-то и услыхал я вдруг близкий, как мне показалось, шум проходящего мимо судна. Я огляделся — нигде не было ни огонька! Странным мне это показалось — не мог же корабль (и, судя по шуму двигателей, большой корабль) идти возле берега, погасив все свои ходовые огни...

В смущении пошел я в избушку. Лег на твердые нары, положив под голову рюкзак. Корабельный шум усилился, я даже различал сдвоенное подводное лопотанье винтов, разноголосое пенье дизелей. Не вытерпев, я опять вышел. По-прежнему нигде не было ни огонька. Полярное сияние погасло. Захватив с собой бинокль, я стал взбираться на обрыв. Лезть было высоко, темно, и не меньше получаса прошло, пока очутился я наверху, на овеваемой тихим ветром моховой площадке.

Глубоко внизу загадочным глазом рдел мой потухающий костер. А прямо передо мной и даже как будто несколько выше светилось на горизонте туманное пятнышко. Я посмотрел в бинокль и увидел во тьме дрожащие, крохотные, как звезды в Млечном Пути, огоньки — на горизонте шел лесовоз.

Вот, значит, кто так шумел! Не меньше пятнадцати километров было до этого лесовоза. Правда, стояла такая тишина...

Тут мы вспомнили, что и нам пора зажечь ходовой огонь. Была у нас такая длинная эбонитовая трубка с крохотной лампочкой на конце, был и аккумулятор. Командир полез в середину шлюпки искать все это электрохозяйство, зачертыхался, команда, прикорнувшая было, зашевелилась — темные тени принялись рыться под банками, звякать бидонами, кружками,— а я сел на руль и стал править на далекий красный огонек буя. Ветер и волна сваливали «Вегу» налево, че-

рез равномерные промежутки я осаживал ее направо, мачты временами закрывали огонек буя, и я вытягивал голову за борт, чтобы опять его увидеть.

Наконец, лампочку с аккумулятором нашли, укрепили на носу, зажгли — слабый огонек засветился перед нами. От нас его закрывал пузырем надувшийся стаксель, и через полотнище стакселя дрожало только круглое желтое пятнышко — как свечка, которую зажгли мы Николаю-угоднику, покровителю моряков.

Коля по-прежнему лежал на носу с биноклем и время от времени покрикивал оттуда:

— Вижу буй!

— Какой огонь?

— Белый!

Минут через десять буй становился виден без бинокля. Еще через полчаса мы уже проходили мимо. Видно было, как он высоко вздымался и опадал на волне. В бинокль можно было разглядеть и номер.

— Двадцать первый! — кричал Коля.

А через полчаса:

— Двадцать второй!

Все шло нормально, и становилось даже скучновато. Мы опять принялись укладываться спать... Но спать нам не пришлось...

Это началось часов в двенадцать ночи. Я пробрался в эту минуту к Руслану, по-прежнему сидевшему на шкотах стакселя, и мы с ним занялись прикуриванием. Спички гасли, и я было полез под банку в затишье, но в этот момент наверху громко хлопнуло, и «Вега» дернулась, будто ее ударили в корму.

Не знаю, что тому было причиной — то ли ветер переменился, или Леша зазевался на минуту,— но фок

наш заполоскало, повело на правую сторону, крепко рвануло, и парус взял ветер с правого борта. Грот тоже было заколебался, но Леша успел выправить ход, и грот вернулся на свое место.

— Грот, потравить шкоты! — закричал Леша.

Теперь ветер дул нам прямо в корму, паруса стояли перпендикулярно бортам, на правую и на левую стороны. Мы помчались. Мы шли так называемой «бабочкой». Гики парусов упирались в ванты. Мачты потрескивали.

— Как идем! Как идем, а?— восторгался на корме командир.

Его давно уже прохватывали ветер и брызги, и он надел телогрейку и завернулся по пояс в брезент.

Поглядев некоторое время на мчавшуюся мимо пену, мы с Русланом снова занялись прикуриванием. Все в шлюпке скрипело, ныло, кряхтело. Новичок на паруснике, я скоро перестал на это обращать внимание. Так ли все трещало, когда прихватил нас на зверобойной шхуне шторм возле острова Колгуева!

Но Витя, наш моторист, который чуть ли не в первый раз сидел без дела, стал беспокоиться. Перебравшись через банки, он потрогал гик фока.

— Ты чего?— спросили мы.

— Винты могут лопнуть! — крикнул он нам с Русланом.

— Рубить фок надо...— слишком поспешно, как мне показалось, согласился Руслан.

— Эй, командир! Леша! — закричал тогда Витя.— Фок рубить надо!

— А?

— Фок, говорю... рубить! — надрывался Витя.

— Ничего! — разобрав, дерзко отвечал командир.— Ветер хорош! Нельзя упускать такой ветер!

Тогда Витя перебрался в корму, и они там с командиром долго что-то кричали друг другу. Наконец Леша махнул рукой и привстал...

Для того чтобы срубить, то есть убрать, спустить, парус в сильный ветер, шлюпку нужно было развернуть и поставить против ветра, ослабить шкоты парусов. Тогда паруса сами собой примут свободное положение вдоль ветра, и их легко можно будет спустить.

Итак, Леша привстал.

— Приготовиться рубить фок!

Человека три быстро полезли в нос отвязывать фалы, перекинутые на верхушке мачты через блоки и державшие гафель.

— Трави шкоты!

И тотчас стал круто разворачивать «Вегу» вправо. Он, как я теперь думаю, все-таки не дотянул, не получился у него полный поворот, чтобы стать носом против волны. Или, может, не хватило инерции самой «Веге». Не знаю. Знаю только, что шлюпка стала к волне и ветру правым бортом. Мы пригнулись к банкам, гик просвистел над нашими головами, парус хлопнул и заполоскался слева.

— Эй, там, трави га-а-фельгардель! — надрывался наш Леша.

Я вскочил на среднюю банку, задрал голову. Мне надо было поймать гафель, когда тот начнет падать. Стаксель на носу смяло, скрутило, бросив налево,— Руслан не успел освободить шкоты, натянутые с правого борта.

— Ста-а-а-ксель! — закричал испуганно Леша.— Выправляй! В нем все спасе-е-е-ние!

Тут я забеспокоился. «Раз уж речь пошла о спасении...» — подумал я... Но думать было некогда, про-

клятый гафель ходуном ходил над головой. Наконец мне удалось схватить его. Тут же потянул я его вниз, одновременно грудью, животом, ногами гася, сбивая парус.

— Стаксель на левый борт! — крикнул командир.

На носу суетились. Крохотная лампочка, вынырнувшая из-за парусины стакселя, казалась яркой, хотелось прищуриться. Мельком глянул я направо: надвигавшаяся волна показалась мне высотой с мачту, где-то высоко шипел закручивающийся гребень. Хоть я и знал обманчивость таких волн, знал, что шлюпка обязательно взберется на нее,— волна на первый взгляд должна была потопить нас.

«Вега» взобралась на волну и рухнула вниз, потом опять взобралась. Стаксель наконец был выброшен за левую скулу и взял ветер.

— Грот, подобрать шкоты! — крикнул командир, наваливаясь одновременно на руль. «Вега» стала забирать влево, выправляться, стала кормой к ветру и волне и снова шибко помчалась, будто по-прежнему на двух парусах.

Но что-то новое родилось в воздухе, и мы сначала не могли понять, что случилось, пока не догадались — ветер из крепкого, но ровного превратился в шквальный.

Командир крепился, крепился, потом не выдержал, велел срубить и грот, чтобы дальше идти на одном стакселе. Опять все сгрудились возле мачты, опять «Вега» развернулась против волны... На этот раз все вышло удачнее и проще, и через минуту мы снова бежали прежним курсом, теперь уже заметно медленнее.

Заморосил дождик, стало холодно, противно. Тьма все не рассеивалась. Приблизился и завиднелся левый

берег, теперь мы бежали как бы по широкой реке. Мы надеялись, что волна тут станет поменьше. Не тут-то было: шквалистый ветер мчался как раз вдоль фарватера.

Как ни сыро, ни холодно нам было, все шло хорошо, пока впереди аккуратно появлялись буи. Но вот перед нами открылось по крайней мере десятка два красных огней, разбросанных по черному пространству, и мы растерялись. Нам помнилось, что танкер, который обогнал нас часа полтора назад, и далеко ушел вперед, и долго виднелся в темноте своими огнями на корме, пока не пропал совсем,— помнилось нам, будто бы взял он левее, перед тем как пропасть.

И мы решили идти левее всех этих красных огней. Вот когда мы потужили, что нет у нас карты. Хоть якорь бросай и жди рассвета!

Нам повезло сначала: фарватера мы не потеряли. Но потом всех охватило беспокойство. Впереди справа зачернелось что-то громадное, похожее на док или на раскоряченный портовый кран, очутившийся почему-то среди воды. Сколько мы ни вглядывались в бинокли, никак не угадать было, что же это такое. Но в этом большом и темном чудилось нам что-то зловещее. Рядом с ним слева часто мигал кровавый огонь.

Мы глядели, глядели и угадали наконец затопленную церковь, вернее, то, что от нее осталось. Колокольни не было, на месте паперти и алтаря страшно светлели арочные проемы. Мы стали забирать влево от нее, от мерцающего знака и вдруг услышали характерный непрерывный пенистый шум, и в ту же секунду Коля, по-прежнему лежавший на носу, закричал:

— Мель!

— Руби стаксель! — мгновенно отозвался Леша, но было уже поздно, под нами раздался противный скрежещущий звук, мы все подались вперед, как в резко затормозившем автобусе. «Вега» остановилась, развернулась боком...

— Все за борт! Отталкиваться от мели! — закричал Леша, бросив руль и шаря почему-то в ящиках под банкой. Я еще не понял, чего он там шарит, а ребята попрыгали уже за борт. Я замешкался — очень уж не хотелось мне прыгать одетым в воду. На борту остались трое. Коля держал фал спущенного стакселя, Леша все шарил в ящике, а я все раздумывал: прыгать или обойдется?

— Юра, становись к стакселю, Коля, давай за борт!

Сзади бабахнуло, через секунду лопнуло в высоте, и нас озарило багровым светом. «Терпим бедствие!» — вот что означают такие красные ракеты. Вот оно что... Вон, значит, чего шарил наш Леша в ящике — искал ракетницу с ракетами!

Опять Леша выстрелил. Коля, передав мне фал, прыгнул за борт и тут же подпер борт «Веги» плечом. Меня окатило волной раз, потом другой... «Зря не прыгнул!» — мельком подумал я, толкаясь багром. А Леша все стрелял, мне даже завидно стало. Я люблю всякую пиротехнику.

А хороша была все-таки минута! Нас тащило вдоль мели, по ее краю в сторону церкви. Красный знак мерцал. Казалось, там что-то мотается перед огнем, закрывая его на секунду и снова открывая. Вокруг каменных опор церкви шумел прибой. Стрелял с кормы Леша, лопались ракеты, озаряя лица ребят за бортом, и отмель, и елочки на ней. Чайки, спавшие на отмели, проснулись, летали над нами и стеклянно кри-

чали. Ветер был так силен, что ракеты, лопнув, не опускались вниз, а летели по ветру, как искры от костра.

«Вега» наконец перестала царапать килем. Еще метр навстречу волнам и глубине, еще, еще...

— Все на борт! Давай стаксель!

Фал сначала пошел легко. Но едва до половины поднялся стаксель, как фал заело. Руслан выхватил у меня фал, тут же упустил его... Фал взвился кверху, вытянулся горизонтально на одном уровне с верхушкой мачты.

— Багор! Где багор? — кричали мы.

Нашли багор, стали крюком ловить извивающийся наверху фал, поймали, опять начали поднимать стаксель — фал соскочил с блока и не подавался. Нас опять ударило о мель. Опять все прыгнули за борт, а Слава и еще кто-то между тем принялись заводить запасной стаксель.

Второй раз отошли от мели. Светало, шел третий час. Запасной стаксель тянул плохо, «Вега» не слушалась руля. Мы налегли на весла, радуясь возможности согреться, заметили невдалеке от какого-то острова стоящие на якорях два больших танкера и стали выгребать к ним.

Было совсем светло, когда подошли мы к танкеру, спрятались от волны у него за кормой, пришвартовались, перебрались на палубу...

Как прекрасно было наше переодевание в теплом сухом салоне! Как прекрасно было машинное отделение с горячими трубами, с гулом дизеля, гоняющего генератор! И какой гостеприимной была команда этого танкера по имени «Дон», как счастливо зазвенел на камбузе звоночек, означавший, что вода в титане закипела.

А какой был чай и сушеная рыба, которую принесли матросы, и широкий копченый лещ, которого достал Боря из своего мокрого рюкзака, и две бутылки водки, разлитые на всех с точностью до грамма, и горячая тушенка на двух больших сковородках, и как тянуло лечь прямо на линолеумовый пол, засунуть голову под стул и заснуть, и какой на улице хлестал дождь, какие пузыри вскакивали и лопались на длинной железной палубе!

До Череповца не дошли мы всего двадцати километров.

Последнее, что я слышал, засыпая на полу салона, были голоса Руслана и Леши.

— А смертельный был момент...

— Смертельный — это ты, старик, прав...

Я подумал сперва, что они про мель говорят. А и в самом деле, как полетели бы ребрышки нашей «Веги», иди мы под всеми парусами!

Нет, не об этом они говорили.

— Положить могло бы запросто!

— Могло, это ты прав...

— А ты не растерялся...

И другие голоса:

— Верно! Не растерялся Лешка! Молодец, командор!

— А смертельный момент был! — с удовольствием повторял Руслан.

Ах, вот они о чем толковали — о минуте, когда рубили мы фок. Вот они, оказывается, о чем... И я стал думать сквозь сон, что бы было, если бы нас действительно положило, как посыпались бы на нас канистры, и моторы, и бочки, багры и весла, как накрыло бы нас парусами.

Проснулись мы через два часа, еле добудившись друг друга. Было шесть часов утра. Дождь все моросил, по небу мчались низкие облака, но ветер заметно приутих. Мы забрались под мокрый, тяжелый, как доска, брезент на нашей «Веге», поставили мотор, завели кое-как и пошли под дождем к Череповцу.

С этой самой ночи переломилась погода по всей России, пошли холода, дожди нас залили окончательно, и июль стал как октябрь.

Но это уже скучная материя.

1969 г.



И РОДИЛСЯ Я НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

(ТЫКО ВЫЛКА)[1]

> И я восславлю Тыко Вылку!
> Пускай он ложку или вилку
> держать как надо не умел —
> зато он кисть держал как надо,
> зато себя держал как надо!
> Вот редкость — гордость он имел!
>
> Евг. Евтушенко

Гордость — не то слово, конечно... Вылка не был горд, он был добросердечен и храбр, он был Учитель. Он учил не только ненцев, но и русских, он говорил: не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь трудна, но и прекрасна, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно!

---

[1] Тыко — ненецкое имя Вылки. Русское его имя — Илья Константинович.

Невелика, может быть, мудрость в его поучениях, но необходимо помнить, что говорил он это не в ресторанах под сакраментальное «прошу наполнить бокалы!» и не в уютных гостиных, не обеспеченным людям, которым не так много храбрости нужно было, чтобы жить,— говорил он это своему бедному народу, в заваленных по крышу снегом избушках, в чумах, долгими полярными ночами, под визг и вой метелей — и многих своим участием, своим словом спасал не только от отчаяния, но и от смерти.

Он не только учил мужеству, он всю жизнь деятельно творил добро. В юности он заботился о своих престарелых родителях. Потом пришлось ему взять на себя заботу о прокормлении и воспитании многочисленной семьи погибшего брата. А всю вторую половину жизни он заботился — в качестве председателя островного Совета,— уже о сотнях людей. Каждый год ездил он в Архангельск, проводя месяцы в неустанных трудах, доставая для охотников продовольствие, катера, боеприпасы, утварь—и в неустанных заботах о сохранении поголовья зверя и птицы — единственного источника жизни на Новой Земле.

Он не издавал книг с описаниями своих полярных путешествий, не ездил по городам Европы с лекциями. Известность его во время жизни на Новой Земле была ограниченной. Всего несколько сот ненцев и русских знали его лично, говорили с ним, слушали его поучения. Но те, кто его знал, любили его безмерно.

Живи он не там, а в каком-нибудь ином месте, кто знает, не имели бы мы теперь в его лице еще одного святого? Или национального гения, какого норвежцы имеют в лице Фритьофа Нансена?

Гляжу на его картины, на его чистые, как бы несме-

лые краски, на его бесхитростные сюжеты... Жизнь, остановленная на полотне кистью Вылки, так не похожа на нашу жизнь! Ледники, на которых, по словам В. Русанова, выживают лишь немногие виды бактерий, заливы, окруженные скалами, выброшенный на берег плавник, чумы, тихие, задумчивые ненцы вокруг костра, прекрасно переданная округлость белых медведей, кровь на снегу возле разделываемого тюленя, мистическое полярное сияние и тут же лампочка на столбе — такой милый человеческий свет, мешающийся с космическим светом, перебивающий его! Картины Вылки — как привет друга, долетевший к нам из другого мира, из других времен.

Кто научил Вылку рисовать?! Архангельский журналист В. Личутин пишет, что Вылка будто бы не был учеником художника А. Борисова, зимовавшего в Маточкином Шаре в 1900—1901 годах. Но если не Борисов, тогда кто же? Кто дал Вылке краски, картон, холсты, бумагу, кисти? Если даже Борисов и не учил Вылку живописи специально, то очень может быть, что любознательный, одаренный ненецкий мальчик (Вылке было тогда 14 лет) сопровождал Борисова, когда тот ходил на этюды, бывал у него в доме, наблюдал за его работой и пытался самостоятельно что-то нарисовать? И, может быть, Борисов, уезжая, подарил Вылке остатки красок и прочее?

Во всяком случае, как пишет В. Пасецкий в своей книге «Владимир Русанов», члены небольшой русской экспедиции, побывавшей на Новой Земле в 1905 году, были поражены этюдами молодого ненца и подарили ему краски и компас и «с тех пор съемка Новой Земли стала главным делом жизни этого замечательного ненца».

Но, может быть, Вылка действительно самоучка?

Личутин приводит, например, следующие слова Тыко Вылки: «Однажды, это было в августе, я сидел у берега Карского моря. По небу тучи, облака ходят. Был закат солнца. Горы на воде отражаются. Куски льда плывут по течению. Я подумал: *если бы я умел рисовать, срисовал бы эти горы.* (Подчеркнуто мною.— *Ю. К.)* Пошел в чум, взял бумагу, карандаш и начал рисовать. Три дня работал, кое-что написал».

Тут все недостоверно. Откуда бы взяться в чуме бумаге и карандашам? И потом эти художнические, профессиональные слова: «работал», «написал». Работа для Тыко Вылки в те годы состояла в другом: в многодневных, тяжелейших поездках на нартах или на лыжах, в расстановке капканов, в охоте, в разведении и поддержании огня, в устройстве чумов...

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Вылки и стал бы он столичным профессиональным художником, или богемой, или никем вообще, если бы не случилось рокового несчастья с его братом и Вылка не остался бы на Новой Земле навсегда.

А судьба его могла сложиться иначе: в 1910 году он уже жил в Москве, учился живописи у известных художников В. Переплетчикова и А. Архипова, выставлялся, о нем много писали.

«Осенью 1910 года, как-то утром,— вспоминает В. Переплетчиков,— пришли ко мне два незнакомых человека: один высокий, блондин, свежий, энергичный, живой, другой низенький, коренастый, с лицом монгольского типа. Это были: начальник новоземельской экспедиции, обошедшей летом 1910 года северный остров Новой Земли, Владимир Александрович Русанов, другой — самоед Тыко Вылка.

Тыко Вылка приехал в Москву учиться живописи. Он никогда не видел города, и вся его прежняя жизнь

проходила среди северных ледяных пустынь Новой Земли.

Пока мы разговариваем с Русановым, обсуждаем план жизни и обучения Тыко Вылки в Москве, он самым благовоспитанным образом пьет чай; его манера держать себя совсем не показывает, что это дикарь. Одет он в пиджак, от него пахнет новыми сапогами, и только когда он ходит, то стучит по полу ногами, как лошадь на театральной сцене. Ему приходилось в своей жизни больше ходить по камням, по снегу, по ледникам, чем по полу...»

Как бы там ни было, в жизни Вылки должна была произойти большая перемена. Его не могли не заметить, ему не могли не помочь стать самобытным профессиональным художником или профессиональным же полярным исследователем — слишком талантлив, слишком заметен, слишком уж редкостное явление был он по тем временам.

Уже газеты печатают его биографию, уже его награждают и отмечают: «В 1909 году Вылка участвовал в экспедиционном отряде В. А. Русанова, исследовавшего северный остров Новой Земли от Крестовой губы до полуострова Адмиралтейства.

В 1910 г. Вылка входил в состав экспедиции Русанова, обогнувшей впервые под русским флагом северную оконечность Новой Земли.

За экспедицию 1910 г. Вылка высочайше награжден нагрудной золотой медалью на Анненской ленте.

В 1910 г. бывший архангельский губернатор И. В. Сосновский, принимавший в судьбе Тыко Вылки самое живое участие, имел счастье поднести Государю Императору альбом картин Вылки. Его Величество всемилостивейше пожаловал Вылке пятизарядный штуцер системы Винчестер и 1000 патронов».

Проучившись зиму 1910/11 года в Москве, Вылка собирался опять ехать учиться...

Но тогда новоземельские ненцы, возможно, никогда бы не узнали Вылку-учителя, Вылку — председателя островного Совета.

Архангельский писатель К. Коковин подарил мне фотографию, на которой он снят вместе с Тыко Вылкой и С. Писаховым. У Вылки на этой фотографии круглое лицо, пухлые веки, старческие уже брови, широкий нос. Он в старомодных очках, и видно, что очки не к лицу, неудобны ему, режут переносицу.

Известна фотография и молодого Вылки. Там он большеглазый, с жесткой, густой щеткой усов, с густыми, черными, жесткими же волосами. Скулы почти не выдаются, глаза блестят, губы прекрасно вылепленные, несколько даже негритянские, лицо полно энергии. Лицо мужественного человека.

«Ежегодно подвигался он на собаках все дальше и дальше к северу,— писал о Вылке Русанов,— терпел лишения, голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалою, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А самоед без собак в ледяной пустыне — то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылко своей жизнью для того только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники открыты в таинственной, манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылко чертил карты во время самых сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твердой как сталь».

В 1964 году на зверобойной шхуне «Моряна» я собрался идти в Карское море на промысел белухи. Как забилось, как заныло мое сердце, когда я узнал, что шхуна наша зайдет на Новую Землю!

За Каниным Носом началась качка. Волна была не слишком крупная — баллов в шесть-семь, но «Моряну» нашу валяло усердно, и с боку набок, и с носа на корму. Все дерево шхуны, все ее шпангоуты, переборки, балки, палуба — все скрипело и трещало, двигатель однообразно-напряженно гудел, винт клокотал за кормой, и все кругом было наполнено разнообразными звуками — свистел ветер в мачтах и вантах, бухали в скулы волны, шипела проносящаяся по палубе вода — и я, сидя ли в каюте, стоя ли на ходовом мостике или в рубке, все чаще ловил себя на том, что вслушиваюсь в эти скрипы, гудение и шипение и уже различаю в них отдельные согласные хоры и даже отчетливо слышу мелодию и голоса поющих как бы с закрытыми ртами — мощно и постоянно.

А по ночам, глядя на малиновый солнечный круг на переборке (низкое солнце светило в иллюминатор), на раскачивающуюся на вешалке одежду, я вспоминал картины Тыко Вылки, которые видел в Архангельске, и старался представить себе Новую Землю. Мне почему-то воображалась тишина, прозрачные ручьи, водопады, лед, тундровые озера, дымок от костра, летящие вверху, освещенные ночным солнцем гуси... И старые каменистые могилы с истлевшими, повалившимися крестами, развалившиеся избушки — слабые следы жизни полярных исследователей на этом диком острове.

Как же жил там долгие годы неведомый мне Тыко Вылка, как находил он поэзию на этой бедной земле, в этом поистине ужасающем вертепе ледяной стужи и мрака?

Первый лед нам встретился при подходе к семьдесят первой параллели. Он появился на северо-востоке, и дал знать о себе сначала странной окраской неба, а потом едва уловимой белой полоской на горизонте. Через полдня на нас уже надвигались и окружали со всех сторон первые льдины. Они были небольшие сперва и походили издали на стаю лебедей. Подводная часть льдин, когда мы проходили близко, просвечивала сквозь воду необычайной голубизны. А какие фигуры можно было увидеть над водой! Одни льдины были похожи на гриб атомного взрыва, каким его изображают на плакатах, другие — на притаившегося белого медведя, третьи были как застывшие кучевые облака. Качка совершенно прекратилась, и вода в разводьях стала как стекло. На дальних льдинах спали между торосами морские зайцы. То и дело по сторонам высовывались нерпы, глядели на нас во все глаза, а когда, наглядевшись, ныряли — медленные круги расходились по воде.

То ли еще будет на Новой Земле, думал я, какая там рыба в реках, сколько дичи, может быть, увидим диких северных оленей или белых медведей...

Но до Новой Земли мы так и не дошли тогда. Чем ближе подходили мы к берегу, тем гуще и крупнее становились ледяные поля. Черные морские утки бесконечными цепочками тянули в разных направлениях над этими полями. В губе «Саханиха» шхуна наша уже с трудом пробиралась узкими разводьями, пока наконец в километре от берега не уперлась в сплошной паковый лед.

Нам открылись черные скалы в прожилках ледников, с робкими зелеными пятнами травы на южных склонах. Когда заглушили мотор, настала такая тишина, лед был так первозданно бел, а скалы вдали так зловещи и безжизненны, что я как бы провалился на

минуту в доисторические времена и мне показалось, что жизнь на земле еще не начиналась. Двое суток простояли мы в ожидании — не начнется ли подвижка льда, не погонит ли его от берега... Потом как-то сразу подступил туман, и это было тем более дико, что небо по-прежнему сияло голубизной, берег скрылся, мы повернули и пошли в Карское море.

Целый месяц потом стояли мы в заливе, километрах в пяти от тундрового берега, и почти каждый день с мачты, из бочки раздавался радостный вопль вахтенного матроса: «Белуха идет!» — и раздавался топот по палубе, мгновенно спускались на воду катера и начиналась охота на белуху, азартная, дивная, но и отвратительная все-таки...

В безбрежном океане воды, неба и льдов маленькая наша шхуна была единственным организованным, созданным льдами существом среди доисторического мира. Никогда не забуду, как меня отвезли на охоту на дальнюю льдину и уехали, и все смолкло, и я остался один. Такое вдруг беззащитное одиночество полоснуло меня по сердцу, что я даже в азарте охоты нет-нет да оглядывался, чтобы увидеть крошечную точку шхуны на горизонте, как бы висящую в воздухе.

Но однажды на одном из тундровых холмов, среди пятен снега, появились два чума, и по вечерам, в тихую погоду, в бинокль хорошо было видно, как струятся над ними дымки. Несколько дней мы собирались к ненцам в гости, наконец, собрались, спустили катер и поехали.

Лохматые собаки яростно встретили нас и, побрехав, с удовольствием помахивая хвостами, побежали впереди, как бы показывая нам дорогу. Несколько больных оленей лежали возле чумов. Там и сям разбросаны были нарты, какие-то тюки, рваная оленья

упряжь, и вялилась на кольях рыба. Кое-как залатанные ветхие чумы испускали дым изо всех своих щелей. При виде нас поднялись с нарт два ненца, до сих пор сидевшие неподвижно, подошли поздороваться, попросили закурить. Долго разглядывали нас красными щелками глаз. Потом один из них, откашлявшись, спросил с надеждой:

— Шпирту привезли?

— Шпирту? Зачем тебе шпирт, нету у нас шпирта! — быстро, с неудовольствием сказал ему наш стармех Илья Николаевич.

— А-а...— протянул ненец и пошел к нартам.

Я попробовал заглянуть в дымное чрево одного из чумов. Там, спасаясь от комаров, молча сидели ненецкие женки. Лиц их я разглядеть не смог.

Я отошел немного и присел на теплый мох. Комары облаком висели надо мной. Нестерпимое летнее солнце заливало тундру светом. На дальних холмах то расширялось, то сжималось бурое пятно — там паслись олени. Блестели озера. С океана едва слышно потягивало ледяным ветерком. Тишина, покой... На сотни километров ни в ту, ни в другую сторону не было ни становища, ни какого-нибудь поселения. Разве вот такие чумы да редкие фактории...

И опять мне пришел на ум Тыко Вылка и его жизнь, его юность, его дела — не здесь, а севернее, на Новой Земле, шестьдесят лет назад!

Один современный журналист сердится на дореволюционных рецензентов, которые, оценивая картины Тыко Вылки, называли его «дикарем», «выдающимся самоедом», «уникальным явлением». И, как бы отвергая эти давнишние, покрытые уже пылью восторженные оценки, журналист пишет: «Лишь те, кто хорошо знал

и любил Илью Константиновича, говорят о нем без удивления, с теплотой и уважением».

Насчет «теплоты и уважения» я согласен, но почему «без удивления»? Как раз удивление, изумление — вот первые чувства, которые испытываешь, знакомясь с жизнью Тыко Вылки. Что же касается «дикаря», то и в этом слове я не вижу ничего оскорбительного для представителя тогдашних ненцев. И думаю, что человек, написавший это слово, отнюдь не хотел унизить Тыко Вылку. Это слово всего-навсего констатация факта, ибо кем же, как не дикарями (не в смысле низменности инстинктов, а в смысле социальном!), были тогдашние ненцы? Отношение царского правительства к окраинным народностям достаточно известно. А в данном случае вообще никакого отношения не было: так как Новая Земля в начале XX столетия России не принадлежала. Все добытое на острове вывозили норвежцы за бесценок, за спирт. «Печальная картина на русской земле,— писал Русанов,— там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы».

Нет, передовое русское общество горячо приветствовало талант Тыко Вылки. Его сразу и по достоинству оценили не только как художника, но и как человека. «Вылко несомненно талантливый человек,— писал о нем В. Переплетчиков,—он талантлив вообще». Одним из первых русских, который узнал Вылку, полюбил его и подружился с ним, и неизмеримо много для него сделал, был знаменитый полярный путешественник Владимир Александрович Русанов.

Тыко Вылка родился в 1886 году, значит, в 1907 году, когда В. Русанов впервые приехал на Новую Землю, Вылке исполнилось двадцать один год.

Девятого июля, пишет В. Пасецкий, Русанов высадился в Поморской губе у западного входа в пролив Маточкин Шар. Здесь находилось небольшое поселение ненцев, среди которых Русанов надеялся найти проводника. Через несколько дней, прощально гудя, пароход покинул берега Новой Земли, и Русанов остался один. Теперь его уделом до конца дней стал Север. Он поселился в пустующем доме художника А. Борисова и прежде всего начал знакомиться с жизнью ненцев.

Зимой ненцы промышляли оленей на юго-восточном берегу Новой Земли. Становища свои они покидали в январе. Уложив снаряжение и имущество на нарты, запряженные собаками, они шли пешком до тех пор, пока не попадали в богатые охотничьи угодья. Мужчины охотились, женщины вели хозяйство. Пищу приготовляли на кострах, разведенных прямо в чумах.

Кроме оленей, ненцы били морских зайцев, тюленей и моржей и ловили в капканы песцов. На морского зверя начинали охотиться в конце сентября, разъезжая по заливам на карбасах и стреляя показавшихся из воды зверей. Попутно били белых медведей. Весной и летом ненцы промышляли гусей, чаек, гаг, чистиков, лебедей...

Русанову посчастливилось: он познакомился, а затем и подружился с Тыко Вылкой, который оказал ему неоценимые услуги в исследовании Новой Земли.

Первое путешествие, проводником в котором был Тыко Вылка, Русанов совершил по проливу Маточкин Шар до Карского моря. «Пользующиеся такой известностью у туристов норвежские фиорды,— писал Русанов,— тусклы и бледны по сравнению с удивительным разнообразием и оригинальной яркостью форм, цветов и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива!»

В этой первой поездке на карбасе по Маточкину Шару Тыко Вылка обнаруживает такие познания в топографии Новой Земли, что очень скоро из простого проводника превращается в полноправного участника всех последующих экспедиций Русанова.

Уже через год по пути в губу Крестовую Русанов специально заходит в Маточкин Шар, чтобы взять на пароход Тыко Вылку.

Еще через год — в 1910 году — В. Русанов предпринимает на судне «Дмитрий Солунский» путешествие вокруг Северного острова Новой Земли. После Саввы Лошкина (XVIII в.) он был первым русским, обошедшим Новую Землю с севера. И опять рядом с ним был его друг Тыко Вылка.

Во время остановки у северной оконечности острова Русанов предпринял поход в глубь острова. Вместе с ним пошел Вылка. Они попали в места совершенно безжизненные. «Они бродили по голой равнине с редкими ручьями и озерами,— пишет В. Пасецкий со слов Русанова.— Не было ни уток, ни гусей, которые южнее встречались тысячами. Только маленькие кулички иногда стремительно проносились над водой, нарушая тревожным писком чуткую тишину пустынного края. Растительности не было никакой. Тут нельзя было увидеть даже новоземельской ивы, которая встречалась в Архангельской губе и в Незнаемом заливе. Глаза не могли отыскать ни одного цветочка. Мхи и те встречались редко и всегда прятались между камнями. Оленьих следов не было видно, зато много встречалось медвежьих...»

Экспедицией была составлена новая карта Северного острова, более точная и подробная, чем существовавшие до того времени. Было открыто несколько новых неизвестных ранее островов, проливов, заливов

и бухт. Многие из них уже ранее были нанесены на карту Тыко Вылкой.

«Во всех тех случаях, когда оказывалось возможным проверить на месте разницу между существующими картами и чертежами Вылки, результаты говорили не в пользу карт, а в пользу чертежей Вылки»,— писал Русанов.

Закончив путешествие, тридцатого августа Русанов решает наконец привести в исполнение давно занимавший его план. В этот день он записывает в дневнике: «Вечер я пробыл у самоедов, пили чай, беседовали и окончательно решили, что Илья Вылка, сопровождавший нас в экспедиции, поедет со мной учиться в город».

По прибытии в Архангельск Русанов устраивает выставку картин Вылки. Выставка привлекла многочисленных посетителей. По единодушному мнению знатоков живописи молодой ненец обладал недюжинным и самобытным талантом.

Затем вместе с Русановым Вылка едет в Москву и поступает учиться живописи к В. Переплетчикову. Русанов находит Вылке бесплатных учителей русского языка, арифметики, географии и топографической съемки.

«Он читает книгу природы так же, как мы с вами читаем книги и газеты; в экспедициях он незаменим как помощник и проводник; это живая карта Новой Земли. Человек он смелый, отважный, решительный; отличный охотник — бьет гуся пулей на лету»,— так характеризует Вылку Русанов своим друзьям.

Тыко Вылка в восторге от Москвы. Новые его друзья не только учат его живописи, географии и прочему — они наперебой показывают ему Москву, возят в театры, в музеи, на концерты...

«Люди хорошие в Москве,— говорил он Переплет-

чикову,— очень хорошие, добрые! Ты мне как отец был, заботился, и хозяйка, где я жил в комнате, заботилась, и учителя заботились, и учительницы заботились. К Москве теперь привык, все знаю, как на Новой Земле. Театр люблю, музыку люблю, кинематограф люблю».

Можно себе представить, какие разговоры были у него с Русановым на следующий год, когда они опять вместе,— в четвертый раз отправились в новое путешествие, теперь уже вокруг Южного острова Новой Земли. И легко вообразить, как считал Вылка дни и оставшиеся до конца путешествия мили, потому что осенью он должен был опять ехать в Москву продолжать образование.

Но роковое событие оборвало все его планы. Вернувшись на Маточкин Шар, он узнал, что погиб его брат. Слишком близко положил к огню заряженную винтовку, костер разгорелся, винтовка раскалилась, грянул выстрел... После брата осталась молодая жена и шестеро детей. По ненецким обычаям, Тыко Вылка должен был жениться на вдове.

В сентябре Вылка прощался с Русановым, уезжавшим домой, и не знал, что прощается навсегда, не знал, что Русанов через два года погибнет в Карском море.

Не знал он также, что царский винчестер — этот символический императорский подарок,— на долгие годы станет для него единственным источником существования. Не знал, что и золотая Анненская медаль тоже сослужит ему службу —он ее обменяет потом в голодный год у норвежского шкипера на несколько килограммов масла...

В этом году меня опять потянуло на север, и я поехал туда весной, в апреле. А приехав в Архангельск,

вспомнил о Тыко Вылке, и мне захотелось найти людей, которые хорошо его знали. Сначала мне не везло: один встречался с Вылкой мельком, другой все позабыл, то есть детали, разговоры... Я уже начал приходить в уныние, как вдруг блеснула мне и удача: я познакомился с Андреем Александровичем Миллером.

В апреле в Архангельске начинаются уже белые ночи, светает в четыре утра, а закаты протяжны, и свет к вечеру убывает неохотно. Мы с Миллером шли в гости к моему другу Михаилу Слуцкому[1], шли по набережной, в городе давно уж сошел весь снег, и асфальт уж был сух, но ледяное поле Двины неподвижно простиралось слева от нас — до ледохода было далеко.

Андрей Миллер, серьезный, приятный человек, долгое время плававший старшим механиком на судах Тралфлота,— с детства жил на Новой Земле и знал Вылку в 1934 году. Подробностей первых встреч с Вылкой он не помнит. Слабо помнит только, что приезжал какой-то добрый ненец на собаках и привозил детям подарки.

Зато события следующего года, когда Миллеру исполнилось семь лет, на всю жизнь врезались ему в память, потому что, по его же словам, жизнью своей он обязан Тыко Вылке.

Жили они — отец, мать и четверо детей,— в охотничьей избушке на Северном острове, на берегу залива Чекина. Там же жил и одинокий охотник Иван Тимофеевич Филатов. В избушке у Миллеров мебели никакой не было, стол, нары да оленьи шкуры. В избушке же в холодной половине за стенкой жили и собаки.

Однажды мать полоскала белье в проруби, простуди-

---

[1] Хочу принести особую благодарность архангельскому врачу М. Слуцкому за помощь в сборе материалов к этому очерку.— *Ю. К.*

лась и слегла. Встревоженный отец решил послать Филатова на мыс Выходной, где находилась полярная станция и был врач по фамилии Синявский. Филатов уехал, а мать между тем вскоре потеряла сознание и через несколько дней скончалась.

Оставшись один с маленькими детьми, отец впал в отчаянье. Он пил спирт, рыдал и скоро ему стало казаться, что и он, и дети должны неминуемо погибнуть. За стеной была полярная ночь, завывала пурга, сбившись в кучу на нарах, дети тихо плакали. Чтобы не видеть, как один за другим умирают его дети, отец решил кончить дело разом и принес из кладовки большой бидон с керосином, собираясь разлить его по избушке, сжечь детей и погибнуть в огне самому. По-видимому, он помешался от горя и от беспросветной полярной ночи.

Филатов между тем заблудился. Он ехал на мыс Выходной шесть дней и в конце концов упал со скалы вместе с собаками. Кое-как добравшись все-таки до Выходного, он встретил там Тыко Вылку, который объезжал в это время все новоземельские охотничьи избушки и фактории. Узнав, что у Миллера болеет жена, Вылка тотчас собрался в дорогу. Врача на полярной станции не оказалось, он уехал к больному. Наказав Филатову дождаться и привезти врача, Вылка на шести собаках отправился к заливу Чекина. (Больше шести собак у Вылки в упряжке не бывало.) По-прежнему бушевала пурга (танзей), и избушку Миллера так занесло, что, приехав к заливу Чекина, Вылка не мог ее найти. Уложив собак, Вылка принялся тыкать хореем в снег на том месте, где, он знал, стояла избушка. Нащупав хореем крышу и разгребя снег, Вылка начал отдирать доски на крыше. Миллер, услыхав, что крышу кто-то ломает, узнав голос Вылки, который звал его по

имени, в свою очередь выломал две-три доски на потолке и помог Вылке влезть в избушку.

Увидев плачущих детей, бидон с керосином, всмотревшись в сумасшедшее лицо Миллера, Вылка сразу все понял, всплеснул руками и забегал по избе.

— Саса (Саша), ты сто задумал! — кричал он с сильным ненецким акцентом.— Жить надо, терпеть надо, детей спасать надо!

Тыко Вылка был круглолиц, одет в малицу, подпоясан широким ремнем, на боку болталась связка медвежьих клыков. Он суетился, взволнованно бегал по избе, заложив руки за спину, и то ругал Миллера, то сострадал ему, жалел покойную Евлампию, которая, окоченев, лежала тут же, в холодной, нетопленной много дней избушке. Вылка принес хлеба и мяса и дал детям, потом заставил вылезти наружу отца, вылез сам, и они принялись откапывать избушку из-под снега. Очистив от снега трубу, затопили печь, стали варить обед. Вылка пел грустные ненецкие песни и все говорил Миллеру, что тот не имеет права предаваться отчаянию, что он новоземелец, мужчина.

Жил Вылка в избушке до приезда Филатова с врачом, а когда те приехали — тотчас отправился за 160 километров на факторию Пахтусова и приказал заведующему Ивану Лодыгину обеспечить семью Миллера продуктами.

Мать решено было похоронить в июне, когда на Новой Земле появляются проталины. Семь месяцев пролежала покойница в избушке, в холодном чулане. (Каково им было жить все это время, постоянно сознавая, что за стенкой в темноте и холоде лежит мать!) А летом сделали гроб, поставили на нарты, на гроб посадили детей и повезли к огромному камню-скале. Земля еще не оттаяла, динамита, чтобы взрывом вырыть мо-

гилу, не было, гроб положили на землю и заложили камнями.

В августе в залив Чекина пришла на вельботах топографическая экспедиция. Вместе с экспедицией приехала из Мезени бабушка. Она преодолела огромные трудности, чтобы навестить могилу дочери и забрать с собой детей.

Миллер скоро уехал с экспедицией проводником. Дождавшись его отъезда, бабушка с детьми пошла на могилу дочери. Бабушка была в длинном сарафане, дети держались за подол, и так все вместе они дошли до могилы. Пришел Филатов, снял шапку. Плача и причитая, бабушка принялась откладывать с могилы камни, пока не открылся гроб. Крышку гроба бабушка снять сама не могла и стала просить Филатова. После долгих колебаний Филатов открыл гроб. На лице у матери был синий платок, на груди красиво лежали бусы, ноги обуты были в меховые лепты (сапоги). Приподняв платок с лица дочери, бабушка долго вглядывалась в почти не изменившиеся родные черты и опять плакала. Она привезла из Мезени мешочек с землей. Прочитала над дочерью заупокойные молитвы, предала ее земле, потом гробовую крышку опять поставили на место, гроб заложили камнями — теперь уж навсегда...

Много мужества, повторяю, нужно было иметь, чтобы жить на Новой Земле и не только исполнять свой прямой мужской долг: охотиться, кормить детей и себя, и жену свою, но еще находить силы для того, чтобы заботиться о других, постоянно объезжать все становища и избушки, не пропуская ни одной, и каждому приходить на помощь.

Ежедневный риск, ежеминутная готовность встретить смерть — разве этого не с избытком хватит на долю любого человека, решившегося прожить таким об-

разом хотя бы один год, не говоря уже о всей жизни?

Трогательное, всего в несколько страничек, жизнеописание Тыко Вылки поражает простотой изложения, но еще более — простотой отношения к опасностям.

«Я только на Карской стороне промышлял. Однажды мы трое поехали оленей отыскать. Мы не могли найти. Ходили на высоких горах. Мы вернулись домой. Был туман Я сказал братьям: «Давай поедем вот здесь. Ближе будет». Мы едем. Вдруг высокая скала. Я соскочил и упал на землю. Собаки упали. До смерти я так испугался. Уж думал: я теперь жив не буду. Едва вижу. Два брата тоже упали. Видел: мой кнут (длинная палка) прямо на меня идет концом. Думал, меня убьет. Мы остановились внизу. Снег был мягкий. Мы стали на ноги. Поехали снова...»

«В январе однажды я ходил по воде, Ледовитым океаном. Убил одну нерпу. Ветер сильный был. Я вернулся домой. Мне не удалось до дома доехать. Думаю — на берег попаду. Подошел к берегу. Соскочил на берег. В тот момент волна поднялась. Я упал в воду. Лодку понесло по морю. Кое-как вышел на берег. Весь промок. Видел товарищей. Я крикнул. Они не слышали. Я пошел к ним. Сказал: «Я лодку упустил». Я взял их лодку и пошел свою лодку искать. Ветер сильный. Не мог найти. Лодка течет. Я испугался. Думал: ветер сильный будет — на берег не попасть. Поехал на берег. Морская волна была большая. Хотел пристать к берегу. Подошел — берег высокий. В тот момент я не видал большую волну. Волна хлестнула мою лодочку. Перевернула. Я в воду упал. Лодка на меня упала. Я попал под лодку. Думаю: теперь живым не буду. У меня ружье было привязано к лодке. Другая волна хлестнула меня. Выкинула на берег с лодкой. Я стал на ноги. Весь мокрый. Лодку вытащил на гору и поехал домой».

«В мае однажды я придумал на охоту на 60 верст ехать. Птиц чаек стрелять, яйца собирать. И поехал туда вечером. Подошел. Стал стрелять чаек, убил десяток. Одна упала под гору. Я пустился доставать чайку. И пошел. У меня в руках была длинная палка, чтобы придерживала: снег был твердый, днем было тепло, ночью мороз. Вдруг я упал. Так катился,— никакого ума не было. Уж думаю — теперь не жив. Отец найдет собак. У меня был длинный кинжал. В последний момент придумал кинжал вынуть. Я вынул. Изо всех сил в снег ударил. До черенка вошел в снег. Я остановился. Отдыхал тут. Потом я стал кругом смотреть: уж до ног волна хватает. Чуть в море не провалился! Ползком пополз наверх и пошел домой...»

Как просто, какими немногими обыденными словами рассказано о десятках случаев смертельной опасности! Вылка писал обо всем так, как, наверное, рассказывал об этом же своим соплеменникам, греясь у огня, после того как смерть в очередной раз дохнула ему в лицо. В самом деле, зачем живописать и без того всем известное? «Убил одного медведя по пути. Собак покормил. День был ясный. Мне одному скучно было. Морозы 50 или 45 градусов. Три дня я ехал домой. У меня градусник лопнул от мороза».

Наглядевшись на дочь и еще раз предав ее земле, бабушка забрала всех детей Миллера сначала в Мезень, а потом привезла их в Архангельск. Они приехали на последнем пароходе в конце сентября, а пароходы тогда ходили всего два раза в год. Троих детей бабушка определила в детский дом, а сама с Андреем уже по зимней дороге на лошадях вернулась в Мезень. На всю жизнь запомнилась Андрею эта зимняя дорога и как но-

чевали они в деревнях, как многолюдно, весело ему казалось в маленьких поморских деревушках после одиночества, заброшенности на Новой Земле.

Проучившись два года в Мезени, Андрей вернулся к отцу на Новую Землю и стал жить в губе Белушьей, где была тогда школа и где жил Вылка.

Вылка преподавал в школе рисование. Но разве только рисование! Перед Вылкой в классе сидело два десятка детей,— ненцев и русских,— два десятка маленьких граждан острова, на котором он родился, провел всю жизнь и председателем которого был теперь. Мог ли он не учить их всему тому доброму, что сам носил в своей душе.

— Любите землю,— говорил он,— это наша советская земля! Любите, не обижайте друг друга. Никогда не плачьте, знайте: суровая земля слабых не любит. А живете вы теперь лучше, чем жил я в детстве. О нас с вами заботится весь народ. Но и мы должны думать о народе и делать все так, чтобы все говорили: хорошо!

Он рисовал нарты, собак, ненцев, корабли, охотничьи сценки. Рисовал мелом на доске. Рисовал промысловые избы, выезды охотников...

Поучая, он всегда держал указательный палец торчком. На всю жизнь запомнился Андрею этот узловатый, короткий и толстый палец.

Тыко Вылка знал родителей всех своих учеников, и для каждого ребенка был праздник, когда Вылка начинал рассказывать о его отце. Зато и не было большего укора для какого-нибудь озорника, если Вылка принимался выговаривать:

— Если уцицься плохо будес, сказу отцу. Твой оцец герой труда, хоросо промысляет, а ты сто, уроков не знаес?

В то время началось массовое освоение Севера, и Вылка горячо принимал к сердцу успехи наших полярников. Возле школы чернела на снегу копия палатки папанинцев, в классе на стене висела большая карта северного полушария, и Вылка собственноручно отмечал на ней дрейф первой нашей станции «Северный полюс».

Больше всех других праздничных дней Вылка любил праздник 1 Мая. Для него это был не только советский, пролетарский праздник — это был радостный день весны на Новой Земле, день подведения зимних итогов. Тьма отступала, и солнце все неохотнее склонялось к горизонту. Впереди были самые прекрасные на Севере летние дни, приход парохода, встречи с дорогими людьми...

И не было бóльшего удовольствия для Вылки, чем готовиться к маевке. За несколько дней до праздника чуть не со всего острова съезжались к островному Совету охотники. Вылка обязательно разговаривал с каждым, радовался зимней удаче или горевал вместе с охотником, если у того случилось зимой несчастье или неудача. Музыкальных инструментов на Новой Земле не было, но был барабан. И вот, возглавляемые отрядом пионеров, под громкий треск барабана все охотники острова шли к «Знаку» (так местное население называло морской створ). Там уже готова была трибуна, обитая кумачом, на трибуну поднимался Вылка... Надо ли говорить, как слушали его люди, в течение долгой зимы не видавшие человеческого лица, не слыхавшие ничьего голоса, кроме как своих близких!

А Вылка рассказывал о великом строительстве, идущем по всей стране, о переменах, которые скоро настанут и на Новой Земле, и слезы навертывались ему на глаза. Вспоминал ли он в такие минуты незабвен-

ного своего друга Русанова, думал ли о том времени, когда никому во всем мире не было ровно никакого дела до того, как живут ненцы, есть ли у них продовольствие и школа, и больница?

Зато после митинга, если на острове было все хорошо, Вылка любил повеселиться. Пел ненецкие песни своего сочинения. Выпить добрую чарку любил: «Чарка елый саво!» (чарка очень хорошо!) К каждому охотнику непременно заходил в гости, и сам любил угостить, любил смотреть, как люди едят. Ел он всю жизнь очень много, справедливо полагая, что без сытной еды человеку на Севере не прожить. Мог съесть в один присест (обурдать) целую холку оленя.

Уже в 1946 или 1947 году, вспоминает Миллер, Тыко Вылка был в Москве на приеме у Калинина. Ему удалось выхлопотать большую партию всевозможных машин и снаряжения для Новой Земли, и вернулся назад он очень довольный. Рассказывая новоземельцам о Москве, он всякий раз весело вспоминал, как ел в ресторане котлетку, съел — и ничего не почувствовал.

— На столе нет котлетки... и брюхе нет котлетки — говорил он, заливаясь добродушным смехом.

Говорят, что однажды на приеме Калинин назвал Вылку Президентом Новой Земли. Сказано это было, конечно, в шутку, однако с легкой руки журналистов, любящих «броские» слова, этот титул так и укрепился за Вылкой. Даже и теперь, стоит только упомянуть имя Вылки в Архангельске, как тотчас в ответ услышишь: «А-а!.. Как же! Президент Новой Земли!»

Между тем «президент» слово несколько официальное, холодноватое. Президент — лицо, высоко стоящее над обществом, лицо труднодоступное.

Вылка же был прост и доступен. Вся жизнь его про-

ходила на людях, он охотился, ел и спал вместе с ними, он хоронил их и принимал новорожденных. По-человечески он оставался всю жизнь прежним Тыко Вылкой, не меняя ни привычек своих, ни пристрастий. Очень ярко характеризуют Вылку-человека воспоминания недавно умершего Василия Дмитриевича Заборского.

— В 1922 году я был молодым боцманом и плавал на судне «Ярославна». Пароход это был небольшой, водоизмещением всего в две тысячи тонн, но по тогдашним временам это был гигант. Мы в то время делали регулярные рейсы на Новую Землю.

В первый же мой рейс к нам на пароход сел Тыко Вылка, который сопровождал с Новой Земли первую партию пушнины.

Потом вместо «Ярославны» на Новую стал ходить «Русанов». Не было случая, чтобы Вылка не отправлялся в Архангельск. Летом ехал в Архангельск, сдавал там пушнину, добывал снаряжение на зимний период и осенью, в сентябре, возвращался назад. Всю зиму он объезжал фактории и становища, промысловые избушки, собирал какие-то гербарии, коллекции, я уж теперь не помню, какие, помогал всем, учил детишек в школе, а летом обязательно встречал нас.

На борт часто брал гагачьи яйца, сам очень любил и всю команду угощал. К пушнине относился, как к драгоценности. Говорил, легче машину построить, чем добыть трех песцов.

На судне у нас всегда теснота была — собаки, грузы разные, народу много, зимовщики домой возвращались... Словом, другой раз и на палубе места не было. Но какая бы теснота ни была, Вылке всегда отводили отдельную каюту. Это стало уже традицией, так и говорили: каюта Вылки. Мы его все очень уважали. За что? Лич-

но я его только на пароходе видел, в деле не видел, но его все любили, уважали, все зимовщики, промысловики, только и слышишь: Вылка сказал, Вылка обещал...

На пароходе он обычно целыми днями рисовал. Мы уже так и знали — как только Новая Земля скроется за горизонтом и все на палубе угомонятся, так Вылка сейчас же к себе в каюту, приготавливает там все свое хозяйство, всякие краски, картон — и затих. Значит, рисует. А то, слышно, песню свою запоет. Он любил петь. Но в каюте рисовал только в плохую погоду, а в хорошую — на верхнем мостике или на полубаке. Картины свои очень берег, любил всем показывать. Бывало, все спрашивал: «Хоросо?»

Плохие черты? Не знаю. Говорю, что помню: мы его все, и русские, и ненцы, очень любили, гордились им. Был справедливый, никого не обижал, все знали — раз решил, значит, решил правильно. Пожалуй, только двое на него сердились, как сейчас помню, по фамилии Журавлев и Лазарев, русские промысловики. Вылка их ущемлял при отводе мест для промысла. Ну, да они вечно охотились не на своих местах и вели себя грубо, нахально.

Вот не знаю, удалось ли ему, а был тогда у Вылки стратегический план переселить всех промысловиков на восточную сторону, как мы говорим, на Карскую сторону, там зверя было больше. Он, бывало, все об этом с нами толковал, очень увлекающийся человек был.

Как жил? По-своему жил. Там, на Новой, специально для него построили хороший дом с печкой, уютный, я там много бывал. Первым рейсом приходим, захожу — печка сломана, он ее разрушил, на деревянном полу самодельный очаг из кирпичей, топится по-черному.

Дыму — как на пожаре. Вылка и все вокруг закопченное, как колбаса. Кстати, о еде... Ел очень много. Оленину, рыбу. Два-три килограмма мяса — как один бутерброд.

Курил постоянно, не помню его без папироски. Но не только курил, а еще и жевал табак. Не плиточный, не тот табак, что для жевания, а обычный, из папирос. Не вру! Меня угощал, но чаще жевал махорку. Жует и плюется.

Очень был радушный хозяин. Отказываться от угощения или там от выпивки и думать не смей — обижался по-настоящему.

Прекрасный охотник был. Думаю, лучший охотник из тогдашних промысловиков. Я уж не говорю о том, что он лучше всех нас стрелял. Главное — он все знал, чувствовал про зверя. Ребята поговаривали иной раз между собой — уж не колдует ли? — так знал, где зверю должно быть. Это у него, наверное, в крови было, природное.

Характер? Очень дружелюбный, мирный. Еще он был смелый — ничего не боялся, смерти не боялся. Но бывало, что и вспыливал, кричал, сердился, когда видел несправедливость или узнавал о плохом поступке. Но только это с него быстро сходило, злобы в нем не было. И умный был, много знал, испытал очень много. Повторяю, мы его очень уважали.

Про картины не знаю. Помню, они нравились нам, все очень похоже рисовал — льды, собак, чумы... Но я тогда его картины делом не считал, я про Вылку знал: охотник, хозяин Новой Земли, ну а на пароходе он вроде как бы отдыхал, почему не порисовать? Да и от него никогда не слышал, чтобы он о себе сказал: я художник! Может быть, от скромности? Да нет, навряд ли он думал о себе, как о художнике...

Все-таки думал, всю жизнь думал о себе, как о большом художнике, только никому не говорил, природная его скромность не позволяла ему выговорить тех слов, которые так часто и так легко выбалтывает наш язык.

В старости, в минуты печали говорил:

— Вот бы еще картин пять написать... А потом и догонять пойду...

— Кого догонять, Илья Константинович?

— Русанова...

Последние годы, отслужив в армии, Андрей Миллер встречался с Вылкой уже в Архангельске. В первый раз он встретил Вылку в краеведческом музее. Вылка вглядался в него из-под руки — эта привычка смотреть из-под руки даже в комнате осталось у него с тех пор, когда глаза его слепил солнечный снег или блеск моря. Вылка узнал Миллера мгновенно.

— Мой питомес! — с удовольствием выговорил он.

Он знал всех новоземельцев в лицо, никогда ни с кем не путал. Он любил ходить по городу — от Вологодской до Поморской пешком, не любил ни трамваев, ни такси. Ходил большей частью один... О чем думал он в эти свои одинокие прогулки, что вспоминал?

Говорил:

— Живу хорошо, но сумно.

Жил он в деревянном доме вместе с женой Марьей Савватьевной. Тут уже порядки были другие, время его ценилось, и когда он работал, к нему не пускали. А работал он много. Теперь ему не нужно было уезжать в многодневные изнурительные путешествия, не нужно было охотиться, чтобы добыть себе пропитание, не нужно было навещать заброшенных в ледяной пустыне промысловиков...

Зато в свободное время гостям бывал всегда рад. Держа руки за спину, выбегал мелким шагом в прихо-

жую смотреть: кто пришел? На вопрос «Как поживаете, Илья Константинович?» отвечал неизменно:

— Хоросо. Сейсас пису. Рисую.

Все стены его мастерской были увешаны картинами. Берега Новой Земли Вылка знал так хорошо, так подробно, а память его была столь остра, что ему теперь не нужна была натура — он писал по памяти, и старые новоземельцы сразу узнавали места, изображенные им.

Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал мужественно готовиться к смерти. Он собрал, вымыл и сложил свои кисти. Пел старинные ненецкие песни, которых уже никто, кроме него, не помнил. Ходил в гости к друзьям, прощался.

— Просяйте! — кротко говорил он и низко кланялся.

— Далеко ли собрались, Илья Константинович?

— Да пока в больнису. А потом наверно дальсе.

И добавлял:

— Пойду искать Русанова. И опять мы с ним будем идти в холодных льдах...

Говорил еще старым друзьям:

— Будьте новоземельцами, будьте крепкими, как Север!

Андрей Миллер вспоминает:

— Когда я узнал в сентябре 1960 года о смерти Вылки, мне даже нехорошо стало. Никак не думал, что это так на меня подействует. Ведь я ему жизнью обязан! Пошел на похороны, как положено. У нас, новоземельцев, есть земляческий обычай: собираться всем вместе, если кто из наших умрет. Когда Вылка умер, у меня были срочные дела, но я все бросил, поехал хоронить. Это было для меня важнее всего. Вынос тела был из городской больницы. Состоялась панихида. Он в гробу

лежал маленький и как бы круглый такой, не подберу слова... Мы спросили, а где его ордена и медали? Марья Савватьевна говорит: «Ой, забыли! Срочно надо ехать домой!» Поехали за орденами... Мы все плакали. Моросил сентябрьский кислый дождь. Мы вынесли Вылку, понесли гроб на руках до Главной улицы, с полкилометра. Потом гроб положили на машину. Я шел и вспоминал все, что сделал мне Вылка, такая тоска была, как будто отца хоронил!

В 1911 году в Москве, зимой, сидя в теплой мастерской В. Переплетчикова, молодой Вылка записал нетвердой в русской грамоте рукой: «Тому назад 35 лет мой отец, Константин Вылка через Карские ворота перешел на Новую Землю своим карбасом со своим родным племянником. У моего отца мать была; глаза ничего не видели. Отец был холостой. Он был бедный. Поселился на Новой Земле и женился. И родился я на Новой Земле».

1972 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Юрий Павлович Казаков

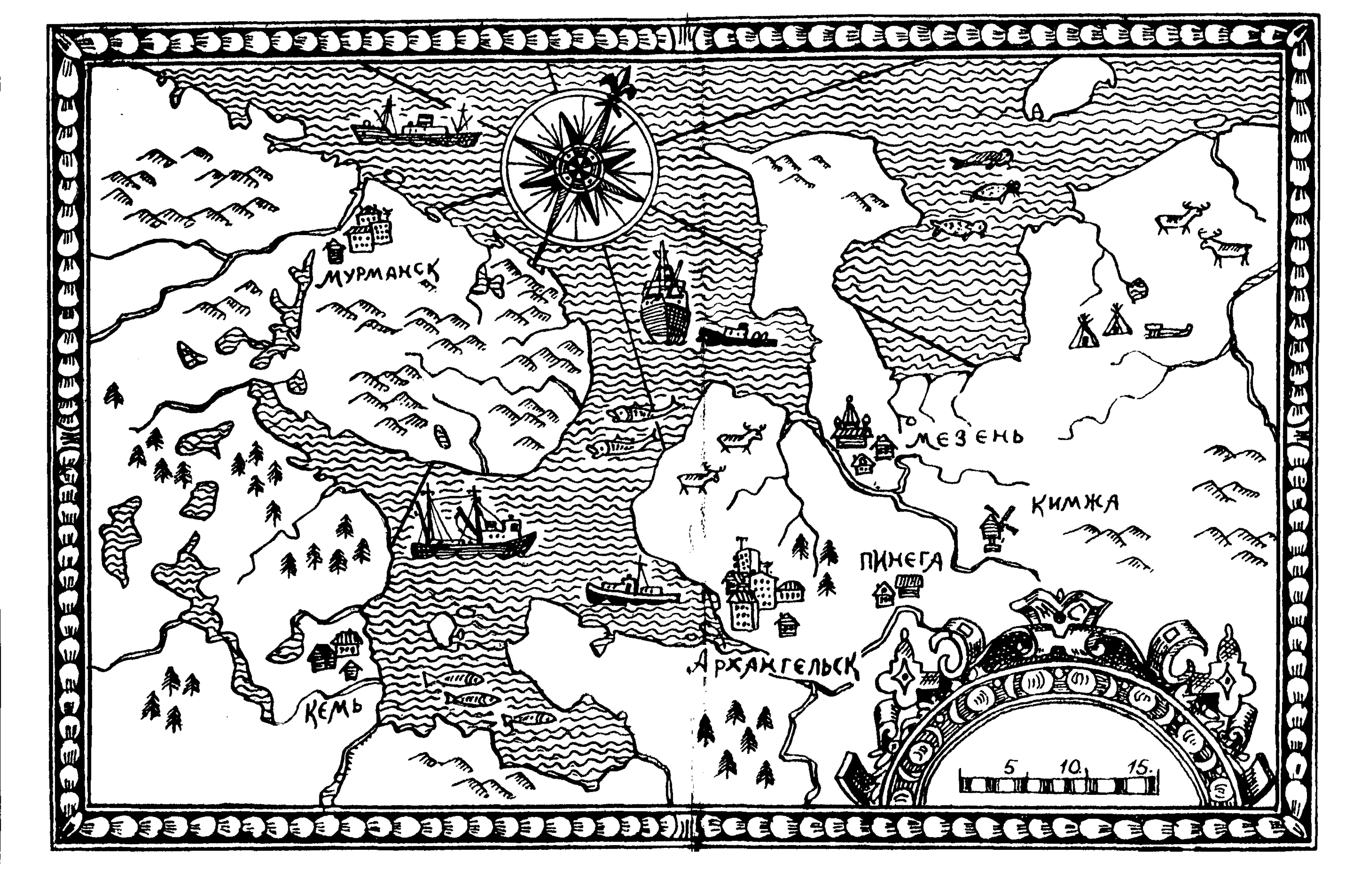
СЕВЕРНЫЙ ДНЕВНИК

Редактор **А. Д. Сконечная.** Художник **М. Н. Соколов.** Художественный редактор **Н. Л. Юсфина.** Технические редакторы **Т. С. Маринина, И. И. Капитонова.** *Корректор* **М. Е. Барабанова.**

Сдано в набор 3/I-73 г. Подп. к печ. 25/VI-73 г. Формат бум. 70×108 1/32. Физ. печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 16,10. Уч.-изд. л. 14,76. Изд. инд. ХД-231. А07970. Тираж 50 000 экз. Цена 60 коп. в переплете. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 1055.


МУРМАНСК
МЕЗЕНЬ
КИМЖА
ПИНЕГА
АРХАНГЕЛЬСК
КЕМЬ
5
10.
15.